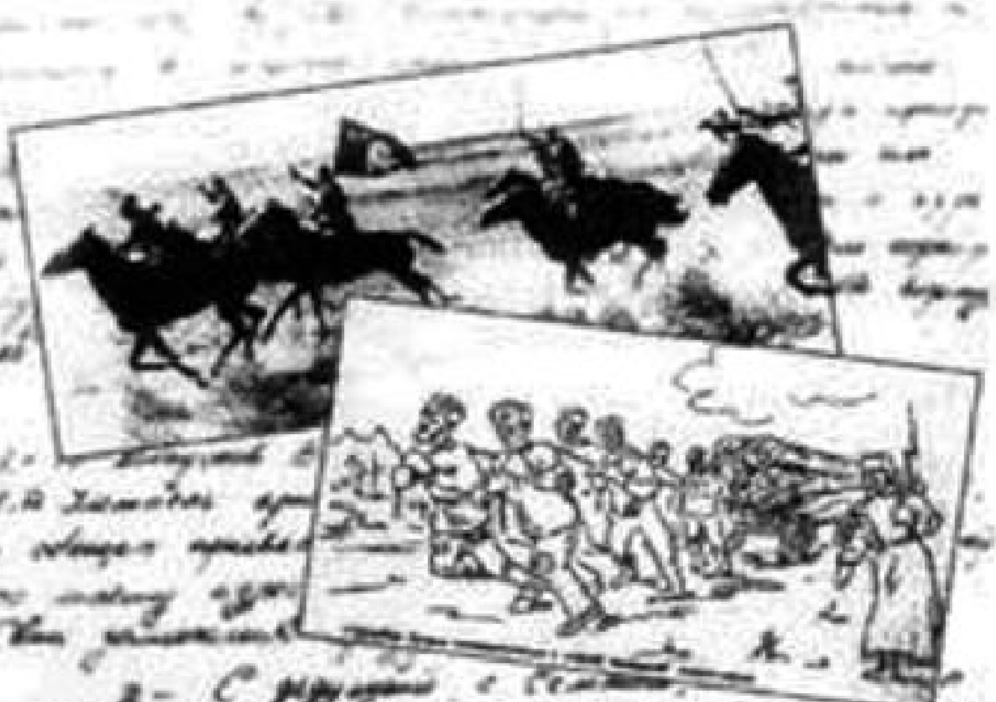
Николай Краснов

НЕЗАБЫВАЕМОЕ




SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания Н. Н. Краснова-младшего. Материалы по трагедии казачества накануне, во время и по окончании 2-й мировой войны.

Для автора «Незабываемого» — донского казака, офицера армии Югославии — советско-германская война 1941-45 гг. стала продолжением гражданской, продолжением борьбы за свободную Россию.

Воспоминания Николая Краснова-младшего посвящены событиям, до сих пор остающимся малоизвестными современному российскому читателю — предательской выдаче англичанами по окончании 2-й мировой войны в СССР на расправу десятков тысяч казаков.

Автор — единственный из семьи Красновых, кто сумел пройти все ужасы ГУЛАГа и вырваться в свободный мир. Помогло выжить обещание, которое он дал в 1945 году своему деду: рассказать, миру правду о предательстве «союзников», о трагической участи преданных, о том, во имя чего взяли казаки оружие.

В России книга издается впервые. Для российского читателя составитель посчитал необходимым дополнить издание материалами о причинах, толкнувшие огромное число казаков на вооруженную борьбу с Красной армией в составе германского Вермахта, об истории формирования казачьих частей, а также кратким описанием жизни Н.Н.Краснова после освобождения (на основании его переписки с кубанским атаманом В.Г. Науменко).

Издатели сердечно благодарят тех, без кого это издание не состоялось бы: за финансовую поддержку — ветерана 5-ю Донского полка 15 ККК Николая Семеновича Тимофеева, ООО «Буроввик» (Москва) и его руководителей — Александра Всеволодовича Никольского и Евгения Анатольевича Хохлова; за предоставленные фотоматериалы — Товарищество ветеранов 15 ККК (ФРГ) и его представителя в Москве — В.В. Акунова; Михаила Леонидовича Васильева (Франция) — сына донского генерала, выданного в Лиенце н погибшего в ГУЛАГе: а также Наталию Вячеславовну Назаренко-Науменко (США) дочь кубанского атамана; редакционную коллегию и авторов газеты «Станица» (Москва).

- Предисловие
  - ○

    - Расказачивание: 1917–1941 гг
    - Казаки в Вермахте
- От издательства
- Предисловие к 1-му изданию
- Ко 2-му изданию
- Отрывки из никогда не написанного дневника
- В Лиенце
- Юденбург и дальше
- Лефортово военная московская тюрьма
- Бутырка
- Советский суд и Красная Пресень
- Эшелон Москва — Мариинск
- Сиблаг МВД
- МГБ спец-лагеря для фашистов
- Встречи. Мысли. Разговоры
- С 1954 года
- «Воля»
- В степях Средней Азии
- Путь обратно
- Заключение
- После освобождения

Предисловие

Лиенц, Клагенфурт, Толмеццо, Юденбург. Названия этих небольших австрийских городков в Тирольских Альпах в 1945 году навсегда вошли в многовековую историю казачества одной из самых трагических страниц. Если не самой трагической!

Насильственная выдача англичанами казаков — воинов, стариков, женщин, детей — на расправу советским палачам во многом ставила итоговую точку этой истории.

Совместными усилиями СССР и «великих держав» была пресечена последняя организованная попытка возрождения казачества, предпринятая настоящими казаками и их прежними атаманами.

По разным оценкам, всего в течение примерно месяца из лагерей Казачьего Стана и частей 15-го Казачьего кавалерийского корпуса было передано в советскую зону оккупации от 35 до 50 тысяч казаков, в том числе немало эмигрантов — участников первого этапа Гражданской войны (1917-20 гг.), граждан целого ряда европейских стран.

Выдача казаков, проведенная англичанами как настоящая военная операция, с участием бронетехники, сопровождалась необъяснимой жестокостью по отношению к безоружным людям, в том числе женщинам и детям, надругательством над православными святынями казаков, разграблением казачьего имущества — и многочисленными жертвами.

Чудом избежавшие выдачи казаки оставили огромное количество свидетельств происходившего. За границей выходили сборники воспоминаний, посвященные той трагедии, а суд над графом Н.Толстым, посмевшим в своей книге «Жертвы Ялты» обвинить руководство Британской империи в предательстве и геноциде по отношению к выдаваемым в СССР русским беженцам, освещала вся мировая печать. Однако даже на этом фоне огромный интерес представляют впервые изданные в 1957 году воспоминания подъесаула Николая Николаевича Краснова — младшего — внучатого племянника Донского Атамана, известного писателя Петра Николаевича Краснова.

В книге Н.Краснова «Незабываемое» рассказывается о выдаче казаков и их пребывании в советских тюрьмах и лагерях. То, о чем в конце 40-х -50-х годах в русской эмиграции могли лишь догадываться, впервые рассказал этот очевидец, сумевший выжить в системе ГУЛАГа и вырваться в свободный мир. Николай Краснов с момента выезда 28 мая 1945 года всех казачьих офицеров на т. н. «конференцию» (задуманный англичанами

обман, позволивший единовременно обезглавить казаков, передав их вождей в руки СМЕРШа) находился при группе казачьих атаманов и генералов — П.Н. Краснове, С.Н. Краснове (его дядя). А.Г. Шкуро и др. Он стал последним из выживших казаков, кто смог впоследствии рассказать на Западе, как держались в те дни казачьи генералы, о чем думали. А само написание воспоминаний стало для Николая Краснова выполнением обещания, данного любимому «деду» — П.Н.Краснову — во время их последнего свидания в Лефортовской тюрьме осенью 1945 года.

Николай Краснов происходил из известного казачьего рода, давшего Дону и России немало известных офицеров, генералов, деятелей науки и культуры. Его отец — Николай Николаевич — старший (также переданный в СССР и погибший в концлагере Потьма в 1947 году) — казак станицы Урюпинской, полковник Генерального штаба Русской императорской армии. После переворота 1917 года в составе Донской армии сражался с большевиками; в 1919 году с семьей был эвакуирован из Крыма. В эмиграции жил в Югославии, приняв гражданство этой страны.

С началом советско-германской войны Н.Н. Краснов-старший вступил в ряды Русского корпуса, созданного для защиты русских эмигрантов от нападений титовских партизан, а с началом формирования казачьих соединений германского Вермахта перевелся в Казачий Стан, где преподавал в юнкерском училище.

Николай Краснов-младший родился в Москве в 1918 году, где в то время служил его отец. Ребенком оказался с родителями в эмиграции. Окончил военно-инженерное училище, служил в югославской армии в чине подпоручика. Состоял в югославской патриотической антикоммунистической организации «Льотичев Збор» (кстати, в 45-м году «льотичевцев», подобно казакам, англичане передавали в руки их идейных врагов — коммунистов — титовцев.).

После нападения на Югославию Германии сражался в рядах югославской армии с немцами, попал в плен. В 1941 году добровольцем отправился на Восточный фронт воевать с Красной армией — с сентября по апрель 1943 года он состоял в составе полка особого назначения «Брандербург-800» (занимавшегося, среди всего прочего, выполнением разведывательно-диверсионных заданий). Н.Краснов был ранен, за отличия по службе несколько раз награжден. Осенью 1943 года он переведен сначала в Русский корпус, а затем в Казачий Стан — в штаб его походного атамана Т.И. Доманова.

В самом конце 1955 года после освобождения из СССР Николай Краснов-младший выехал к своей кузине в Швецию, где и приступил к написанию воспоминаний (об этом периоде его

жизни более подробно рассказывается в очерке П. Стрелянова).

Несмотря на все старания, Н.Краснову не удалось перебраться в США, где жила его мать. С женой — Лилией Федоровной Вербицкой — Николай Краснов поселился в Аргентине. Здесь он был избран атаманом местной казачьей станицы, носившей имя П.Н. Краснова.

В Буэнос-Айресе Николай Николаевич стал одним из организаторов Русского театра, основателем Общества друзей Русского театра. Кроме «Незабываемого», он написал также сборник очерков «Власовцы в Советском Союзе». Готовился издать книги своего деда, в том числе еще ни разу не печатавшиеся. Однако подвело подорванное в ГУЛАГе здоровье: 22 ноября 1959 года Николай Николаевич скончался в Буэнос-Айресе, совсем немного не дожив до выхода в США второго издания своих воспоминаний.

На страницах своих воспоминаний Н. Краснов рассказывает, как участвовал в лагерных театральных постановках, играл, в том числе, героев пьес Островского. Этот опыт пригодился и в далекой Аргентине — не раз он выходил на сцену Русского театра. На сцене этой он прямо и скончался — играя роль в спектакле по пьесе Островского «На бойком месте».

Впрочем, в эмигрантской прессе в те годы неоднократно указывалось на некие обстоятельства его смерти, которые будто бы указывали на причастность к ней советских спецслужб. Но никто, по существу, прояснением этого вопроса не занимался.

Николай Николаевич Краснов-младший был погребен на кладбище в Сан-Мартине.

В нынешней России имя Н.Н. Краснова-младшего, в отличие от его знаменитого деда, до сих пор малоизвестно. Книга «Незабываемое» переиздается впервые. Надеемся, что она послужит делу восстановления правды и доброго имени десятков тысяч русских казаков — остававшихся до конца верных своей родине.

Не против России они воевали — их врагом был ненавистный советский режим, уничтоживший области казачьих войск и казачьи вольности, режим, который уничтожил и обрек на вымирание от голода миллионы россиян. И вынужденным сотрудничеством с Германией в 1941 году для многих в СССР лишь возобновилась Гражданская война.

Собственно воспоминания Н.Краснова в этом сборнике предваряются двумя материалами, последовательно освещающими время с 1917 по 1941 год — период, на который пришлись самые страшные волны т. н. раскаказачивания («Расказачивание: 1917–1941 гг.») — а также историю создания

казачьих формирований Вермахта («Казаки в Вермахте»). Без знания описываемых здесь событий современному российскому читателю все еще трудно понять причины, сделавшие казаков «союзниками» нацистской Германии и приведшие к трагедии мая-июня 1945 года.

Сегодня мы можем только повторить за казаками-эмигрантами, ежегодно собирающимися в Лиенце, чтобы вспомнить погибших: пусть не суждено нам отомстить за наших братьев, отцов, матерей, дедов. Но мы можем — во имя их светлой памяти — обещать ничего и никому не забыть! То же завещать своим детям. Доколе будут живы потомки казаков — будут живы в них память и мечты погибших при выдаче, в сталинских застенках и лагерях.

Расказачивание: 1917–1941 гг

Для наименования советско-германской войны 1941-45 годов коммунисты (до катастрофы 41-го года считавшие, что у них нет Отечества) приспособили позаимствованное из 1914-го года название — Великая Отечественная. Однако к тому времени непрекращающийся все годы советской власти массовый террор против населения собственной страны уже сделал неизбежным то, чего прежде в России представить было невозможным. Целые подразделения Красной армии складывали оружие перед наступающим противником, а многие населенные пункты встречали завоевателей хлебом-солью. Более того — огромное число бывших советских граждан с оружие в руках приняло участие в боевых действиях на стороне Германии. По разным подсчетам, их насчитывалось от одного до полутора миллионов человек! Это при том, что вожди нацистской Германии долгое время противились созданию чисто российских подразделений и провозглашению русскими патриотами своих антикоммунистического правительства и вооруженных сил.

Одной из наиболее активных, последовательных и организованных антибольшевицких сил при этом, как и на первом этапе гражданской войны, стали казаки. Причиной этого стала, в том числе, политика советского руководства, направленной на физическое и духовное уничтожение казачества.

* * *

Репрессии, обобщенно и емко называемые «расказачивание», задуманы были революционерами задолго до 1917 года. И вовсе не в мифическом подавлении «народных выступлений» дело (казаков советские историки обычно «путали» с конной жандармерией). Консерватизм взглядов, зажиточность, свободолюбие, любовь к родной земле, грамотность казаков неизбежно делали их врагом большевиков.

В России до 17-го года довольно компактно жило более 6 млн. казаков. Идеологи «мировой революции» объявили их «опорой самодержавия», «контрреволюционным сословием». Один из таких «теоретиков», И. Рейнгольд, писал Ленину: «Казаков, по крайней мере, огромную их часть, надо рано или поздно истребить, просто уничтожить физически, но тут нужен огромный такт, величайшая осторожность и заигрывание с казачеством: ни на минуту нельзя забывать, что мы имеем дело с воинственным

народом, у которого каждая станица — вооруженный лагерь, каждый хутор — крепость».

Первые карательные акции были организованы большевиками сразу после октябрьского переворота — силами «интернационалистов» (особенно латышей, мадьяр, китайцев), «революционных матросов», горцев Кавказа, иногороднего (т. е. неказачьего) населения казачьих областей. А уж затем это насилие вызвало участие казаков (до того пытавшихся соблюдать подобие нейтралитета в общероссийской сваре) в Белом движении.

Террор достиг первого пика еще в ходе Гражданской войны — оформившись известной директивой Оргбюро ЦК ВКП (б)24 января 1919 г. (Оргбюро было создано для решения оперативных вопросов на заседании ЦК ВКП (б) 16.01.1918 г. в составе Я. Свердлов, Н.Крестинский, М.Владимирский). Речь шла о репрессиях против всего казачества. Тот подписанный Свердловым документ настолько важен в «юридическом» оформлении политики советской власти в отношении казачества, что стоит привести здесь его полный текст:

«Циркулярно, секретно.

Последние события на различных фронтах в казачьих районах — наши продвижения в глубь казачьих, поселений и разложение среди казачьих войск — заставляют нас дать указания партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении Советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлых «иногородних» к казакам в земельном, и во всех других отношениях.

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.

7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить нестоящие указания.

ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли.

Центральный Комитет РКП (б)».

Помимо массовых расстрелов, были организованы продотряды, отнимавшие продукты; станицы переименовывались в сёла, само название «казак» оказалось под запретом.

Директива Свердлова дополняясь и развивалась разного рода постановлениями. Так, «Проект административно-территориального раздела Уральской области» от 4 марта 1919 г. предписывал «поставить в порядок дня политику репрессий по отношению к казачеству, политику экономического и как подобного ему красного террора. С казачеством, как с обособленной группой населения, нужно покончить».

3 февраля 1919 г. появился секретный приказ председателя РВС Республики Троцкого, 5 февраля — приказ № 171 РВС Южного фронта «О расказачивании». Тогда же директива Донбюро ВКП (б) прямо предписывала:

а) физическое истребление по крайней мере 100 тысяч казаков, способных носить оружие, т. е. от 18 до 50 лет;

б) физическое уничтожение так называемых «верхов» станицы (атаманов, судей, учителей, священников), хотя бы и не принимающих участия в контрреволюционных действиях;

в) выселение значительной части казачьих семей за пределы Донской области;

г) переселение крестьян из малоземельных северных губерний на место ликвидированных станиц.

Мало того — Донбюро и Реввоенсовет требуют неукоснительного исполнения на местах своих директив, спуская по инстанциям документы подобного типа: «Ни от одного из комиссаров дивизии не было получено сведений о количестве расстрелянных. В тылу наших войск и впредь будут разгораться восстания, если не будут приняты меры, в корне пресекающие даже мысли о возможности такового. Эти меры: полное

уничтожение всех, поднявших оружие, расстрел на месте всех, имеющих оружие, и даже процентное уничтожение мужского населения». Подписал сей документ, между прочим, будущий страдалец И.Якир (тогда член РВС 8-й армии).

Как писал в приказе-воззвании в августе 1919 г. Ф.Миронов (сам своим сотрудничеством с большевиками увлекший на предательство и гибель тысячи казаков) — «Население стонало от насилий и надругательств. Нет хутора и станицы, которые не считали бы свои жертвы красного террора десятками и сотнями. Дон онемел от ужаса. Восстания в казачьих областях вызывались искусственно, чтобы под этим видом истребить казачество». Сам председатель Донбюро С.Сырцов, говоря о «расправе с казачеством», его «ликвидации», отмечал — «станицы обезлюдели». В некоторых было уничтожено до 80 % жителей. Только на Дону погибло от 800 тысяч до миллиона человек — около 35 % населения.

После оккупации красными юга России репрессии прокатились по областям Кубанского и Терского войск. При выселении терских станиц Калиновской, Ермоловской, Самашкинской, Романовской, Михайловской, Асиновской красные горцы убили 35 тысяч стариков, женщин и детей (и вселились в опустевшие станицы). За один лишь прием были вывезены на север и расстреляны 6 тысяч кубанских офицеров.

К концу 1920 году остатки Кубанской армии — преимущественно рядовые казаки, — сложив оружие, расходились по домам. Казалось бы, реальный шанс для большевиков добиться замирения. Однако советская 9-я армия лишь усиливала репрессии. В одном из ее отчетов учтены карательные акции за время с 1 по 20 сентября: «Ст. Кабардинская — обстреляна арт-огнем, сожжено 8 домов. Хутор Кубанский — обстрелян арт-огнем. Ст. Гурийская — обстрелян арт-огнем, взяты заложники. Хут. Чичибабаихут, Армянский — сожжены дотла. Ст. Бжедуховская — сожжены 60 домов. Ст. Чамлыкская — расстреляно 23 человека. Ст. Лабинская — 42 чел. Ст. Псебайская — 48 чел. Ст. Ханская — расстреляно 100 человек, конфисковано имущество и семьи бандитов отправляются в глубь России. Кроме того, расстреляно полками при занятии станиц, которым учета не велось.» И вывод штаба армии: «Желательно проведение в жизнь самых крутых репрессий и поголовного террора!» Ниже — зловещая приписка от руки: «Исполнено».

При т. н. «конфискациях» у казаков порой выгребались все имевшиеся вещи, вплоть до женского нижнего белья!

Одновременно развернута была кампания обоснования террора в большевицкой печати. Например, в феврале 1919 г.

газета «Известия Наркомвоена» (выходившая фактически под прямой редакцией Троцкого) писала: «У казачества нет заслуг перед русским народом и государством. У казачества есть заслуги лишь перед темными силами русизма. По своей боевой подготовке казачество не отличалось способностями к полезным боевым действиям. Особенно рельефно бросается в глаза дикий вид казака, его отсталость от приличной внешности культурного человека западной полосы. При исследовании психологической стороны этой массы приходится заметить сходство между психологией казачества и психологией некоторых представителей зоологического мира.»

Мало того, получается по мнению командования РККА, что казаки — «царские сатрапы», так они еще что-то навроде вредных насекомых, а раз так — к ногтю их! «Российский пролетариат не имеет никакого права применить к Дону великодушие. На всех их революционное пламя должно навести страх, ужас, и они, как евангельские свиньи, должны быть сброшены в Черное море!»

Вспоминая события тех лет, даже убежденный коммунист М.Шолохов пишет (письмо Горькому 6 июня 1931 г.): «Я нарисовал суровую действительность, предшествующую восстанию; причем сознательно упустил такие факты, как бессудный расстрел в Мигулинской станице 62 казаков-стариков или расстрелы в станицах Казанской и Шумилинской, где количество расстрелянных казаков (б. выборные хуторские атаманы, георгиевские кавалеры, вахмистры, почетные станичные судьи, попечители школ и проч. буржуазия и контрреволюция хуторского масштаба) в течение 6 дней достигло солидной цифры — 400 с лишним человек.»

Активное истребление шло до 1924 года, после чего наступило некоторое затишье. Конечно, аресты продолжались, приутихла лишь волна бессудных расправ. Советская власть, изображая «гражданский мир», добивалась возвращения эмигрантов (дабы окончательно ликвидировать угрозу с их стороны). Первое время «возвращенцев» не трогали.

К 1926 году на Дону оставалось не более 45 % прежнего казачьего населения, в других войсках — до 25 %, а в Уральском войске — лишь 10 % (оно чуть ли не целиком снялось с места, пытаясь уйти от безбожной власти). Было уничтожено и выброшено из страны много казаков старше 50 лет — хранителей традиций.

* * *

«Заигрывание» с казаками завершилось с окончанием НЭПа. Постепенно исчезали рискнувшие вернуться из эмиграции, остатки прежней интеллигенции и офицерства — все, кто, по мнению властей, еще мог возглавить сопротивление.

Весной 1928 г. советские газеты сообщили о раскрытии органами ОГПУ заговора «спецов» в Шахтинском районе Донбасса. Знаменитое «Шахтинское дело» открыло череду сталинских политических процессов. И нелишне тут будет указать на обстоятельство, обычно остающееся вне внимания исследователями. Город Шахты (до 1920 г. Александровск-Грушевский) — один из центров угольной промышленности на территории Области Войска Донского. На его шахтах рабочими и специалистами нижнего и среднего звена трудились многие казаки, вынужденные оставить родные станицы. И вряд ли выбор места показательного процесса против «вредителей» был случаен. Вслед за репрессиями против инженеров началась зачистка шахт и предприятий от «неблагонадежного» казачьего элемента. Казаков увольняли, лишали продовольственных карточек (что обрекало семьи многих на голодную смерть), арестовывали, высылали. Поднималась самая страшная волна расказачивания, окончательно накрывшая казачьи области Юга России.

В январе 1930 г. вышло постановление «О ликвидации кулачества как класса в пределах Северо-Кавказского края». Казаков выгоняли из куреней зимой, без продуктов и одежды, обрекая на гибель по дороге в места ссылок. Власть готовилась к восстанию в казачьих областях. Более того, явно провоцировала его — массовое выступление позволило бы вновь открыто истреблять казачество. Но восставать, в общем-то, было уже некому — ни оружия, ни вождей. Хотя были, конечно, и примеры сопротивления, в том числе и вооруженного (например, массовые волнения в феврале 1930 г. в селах и станицах Барашковское, Весело-Вознесенское, Константиновская, Новый Егорлык, Ново-Манычское), а для подавления их на Кубани использовалась даже авиация. Небольшие же группы казаков продолжали борьбу вплоть до прихода немцев в 1942 г. Однако в целом по Северо-Кавказскому краю (97 районов Дона, Кубани и Ставрополья) коллективизация завершилась без особых эксцессов. «Кулаки» и прочий «антисоветский элемент» арестованы и высланы (согласно сводке штаба СКВО, к 1 марта 1930 г. по Северному Кавказу было «изъято» 26261 чел., в большинстве своем казаков). Казалось бы, могло наступить очередное «затишье».

Однако объявленный в конце 30-го года «новый подъем колхозного движения» закончился повсеместными выходами из колхозов (с января по июль 1932 г. их число в РСФСР сократилось

на 1370,8 тыс.), требованиями возврата имущества. Чрезвычайные меры в заготовительной политике, бескормица, ухудшение ухода привели к значительному падежу скота; уборка зерна в 1931 г. по всему югу России затянулась до весны 32-го, а на Кубани наблюдался невиданно низкий урожай зерновых — от 1 до 3 ц.

7 августа 1932 г. был издан т. н. «закон о пяти колосках». За любую кражу госсобственности — расстрел или, в лучшем случае, 10 лет с конфискацией имущества. За несколько колосков, сорванных, чтобы накормить пухнущих от голода детей, отправляли в тюрьмы их матерей.

Направляемые в станицы уполномоченные, не имевшие представления о сельском хозяйстве, лишь усугубляли положение. В каждом встречном им виделся «контрреволюционный элемент». Однако, повторюсь, ничего случайного власть не предпринимала. Все было заранее продумано.

Осенью 32-го на Кубань прибыл «испытанный боец в борьбе за хлеб на юге России» корреспондент «Правды» Ставский, сразу определивший настроение казаков, как явно «контрреволюционное»: «Белогвардейская Вандея ответила на создание колхозов новыми методами контрреволюционной деятельности — террором. В сотне кубанских станиц были факты избиения и убийств наших беспартийных активистов. Наступил новый этап тактики врага, борьба против колхозов не только извне, как это было раньше, но и борьба изнутри».

В Новотатаровской Ставский обнаружил 80 казаков, вернувшихся из ссылки, и тут же донес: «Местные власти не принимают никаких мер против этих белогвардейцев. Саботаж (вот и прозвучало страшное слово, ставшее на десятилетия чуть ли не нарицательным для наименования этого периода времени), организованный кулацкими элементами Кубани. Классовый враг действует решительно и порой не без успеха». И — решительный вывод: «Стрелять надо контрреволюционеров-вредителей!»

* * *

Осенью 1932 — весной 1933 г. невиданный голод охватил Украину, Северный Кавказ, Поволжье, Казахстан, Западную Сибирь, юг Центрально-Черноземной области и Урала — территорию с населением около 50 млн. чел.

Систему «черных досок» (названных так по советской традиции — в отличие от красных досок почета) ввел член ЦК ВКП(б), секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) Б.П.

Шеболдаев. На «доску позора» заносились станицы, по мнению партии, не справившиеся с планом хлебосдачи.

3 ноября 1932 г. было издано постановление, обязывавшее единоличные хозяйства под страхом немедленной ответственности по ст. 61 УК (смертная казнь) работать со своим инвентарем и лошадьми на уборке колхозных полей. «В случае «саботажа», — разъясняла краевая партийная газета «Молот», — скот и перевозочные средства у них отбираются колхозами, а они привлекаются к ответственности в судебном и административном порядке».

Принудительные меры встречали пассивное сопротивление — людей вынуждали укрывать зерно для пропитания в т. н. «черных ямах». Местный актив кивал на «вредителей» (хотя совсем недавно юг России накрыли три волны раскулачивания и выселений). 4 ноября вышло новое постановление. По Северо-Кавказскому краю самыми «отстающими» признали районы Кубани: «Кубань организовала саботаж кулацкими контрреволюционными силами не только хлебозаготовок, но и сева». Крайком партии совместно с представителями ЦК (комиссия во главе с Л.М.Кагановичем — А.И.Микоян, М.Ф.Шкирятов, Г.Г.Ягода и др.) постановил: «За полный срыв планов по севу и хлебозаготовкам занести на черную доску станицы Новорождественскую, Медведовскую и Темиргеевскую. Немедленно прекратить в них подвоз товаров, прекратить всякую торговлю, прекратить все ассигнования и взыскать досрочно все долги. Кроме того, предупредить жителей станиц, что они будут в случае продолжения «саботажа» — выселены из пределов края и на их место будут присланы жители других краев».

В «позорно проваливших хлебозаготовки» районах (Невинномысский, Славянский, Усть-Лабинский, Брюховецийий, Кущевский, Павловский, Кропоткинский, Новоалександровокий и Лабинский) была прекращена всякая торговля. Из Ейского, Краснодарского, Курганинского, Кореновского, Отрадненского, Каневского, Тихорецкого, Армавирского, Тимашевского, Новопокровского районов также приказано было вывезти все товары, закрыв лавки.

На совещании партактива края комиссия ЦК потребовала любой ценой завершить хлебозаготовки к декабрю. По всему краю начались повальные обыски для «отобрания запасов хлеба у населения». Были созданы комсоды — комитеты содействия из наиболее оголтелых активистов. «Молот» сообщал: «Ежедневно активы коммунистов открывают во дворах спрятанный хлеб. Хлеб прячут в ямы, в стены, в печи, в гробы на кладбищах, в. самовары». Газета требовала: «Эх, тряхнуть бы станицу, целые

кварталы, целые улицы. Тряхнуть бы так, чтобы не приходили по ночам бежавшие из ссылки враги!.»

Окруженные войсками и активистами, станицы и хутора превращались в резервации с единственным выходом на кладбище, в ямы скотомогильников, глиняные карьеры. Вспоминает И.Д. Варивода, в то время секретарь комсомольской организации станицы Новодеревянковской: «Созвали комсомольцев и пошли искать по дворам хлеб. А какой саботаж? План хлебозаготовок был выполнен, все сдали. За день нашли в скирде один мешок пшеницы. Нашли. Вот это и было надо. С этого и началось. Станица была объявлена вне закона, сельсовет распущен, всем руководил комендант. Окружили кавалерией — ни зайти, ни выйти, а в самой станице на углах пехотинцы: кто выходил после 9 часов вечера — тех стреляли без разговору. Закрыли все магазины, из них все вывезли, до последнего гвоздя. Для политотдела был особый магазин, там они получали сахар, вино, крупы, колбасу. Три раза на день их кормили в столовой с белым хлебом. А таких, как я, активистов, тоже три раза на день кормили, хлеб давали, 500 г. — не белый, а пополам с макухой. Люди приходили к столовой, тут же падали, умирали.»

В.Ф.Задорожный из Незамаевской рассказал: «В конце 32-го года в станицу вошло латышское военное подразделение и отряды местных активистов. Станицу оцепили, никого не впускали и не выпускали. Особенно старались местные комсоды, среди которых выделялся Степан Бутник — он, обходя подворья, забирал не только съестное, но и имущество. У Задорожных ему приглянулась усадьба со всем хозяйством — он выгнал хозяев и поселился там.»

О свирепости комсодовцев рассказала и Т.И. Клименко. Под благовидным предлогом они сначала сами советовали укрывать зерно, затем, выследив, заявляли и указывали, где что припрятано. Прямо на подводах они развязывали узлы с барахлом и делили награбленное между собой. У кого сохранились коровы, всех заставляли вывозить покойников в 12 траншей, что вырыли на окраине станицы. В ямы сбрасывали и еще живых, поэтому там слышался постоянный стон, а наполненные ямы как бы пошевеливались от потуг пробующих выбраться. Были и случаи людоедства. По словам Таисии Ивановны, у ее напарницы по бригаде Василисы Бирюк девчата Мирошника поймали младшего братишку, убили и в горшках засолили мелкими кусочками. Станичники старались не выпускать детвору за ограды дворов. Убийц-людоедов называли «резунами». Сотни семей были отправлены в Сибирь и на Урал. Станица буквально опустела. Из 16 тысяч прежнего населения осталось около трех с половиной

тысяч. И сейчас в Незамаевской живет всего 3266 человек.

И снова вспоминает И. Варивода: «Голые, как попало набросанные на гарбы — кто висел через драбины головой, у кого руки висели до земли, кто одну или обе ноги задрал вверх — окоченелые, «враги народа» совершали последний путь на цэгэльню, на Бакай. Там был раньше кирпичный завод и глину брали из карьера. Бросали всех в братскую могилу, от младенцев до бородачей. Бросали и живых еще, но таких, что уже все равно дойдут, умрут. Ночью Зайцев, комендант, вызывал к себе председателей колхозов. Я под окно, подслушиваю. Вызовет председателей колхозов и спрашивает:

— У тебя сегодня сколько сдохло? — 70 человек. — Мало! У тебя? — 50 человек. — Мало!»

Писатель В.Левченко привел фрагменты переписки кубанцев с родственниками в эмиграции. Пишет в Югославию мать казака: «На самый Новый год пришли к нам активы и взяли последние три пуда кукурузы. А потом позвали меня в квартал и говорят: «Не хватает 4 килограмма, пополни сейчас же.» И я отдала им последнюю фасоль. Но этим не закончилось. Они наложили на меня еще 20 рублей штрафу и суют мне облигации, которых я уже имею и так на 80 рублей. На мое заявление, что мне не на что их взять, мне грубо ответили: «Не разговаривай, бабка! Ты должна все платить, так как у тебя сын за границей». Так что, милый сынок, придется умереть голодной смертью, так как уже много таких случаев. Харчи наши последние — одна кислая капуста, да и той уже нет. А о хлебе уже давно забыли, его едят только те, кто близок Советской власти, а нас каждого дня идут и грабят. В станице у нас нет мужчин, как старых, так и молодых — часть отправлена на север, часть побили, а часть бежала кто куда.»

Приписка от дочери: «Дорогой папа! Хожу в школу-семилетку, в пятый класс. Была бы уже в шестом, но меня оставили за то, что я не хожу в школу по праздникам. Но я за этим не беспокоюсь, так как школы хорошего ничего не дают, только агитация и богохульство. Всем ученикам выдали ботинки, а мне ничего не дали и говорят: «Ты не достойна советского дара, у тебя отец за границей». Но я тебя по-прежнему люблю и целую крепко. Твоя дочь Маша».

Детей ждала участь родителей. Вспоминает П.П.Литовка, живший в хуторе Албаши (ст. Новодеревянковская): «Весной 1933 года одни подростки-дети в поле трудились от зари до зари под неусыпным глазом бригадира. От голода и непосильного труда мы падали на пахотные глыбы и умирали на работе, возле дома, все меньше оставалось нас. У многих и родных уже нет в живых.»

В некоторых станицах — например, Ольгинской — ГПУ

арестовывало детей наравне со взрослыми.

А в то самое время, когда Кубань буквально вымирала, когда, как пишет советский историк Н.Я.Эйдельман, «по всей Кубани опухших от голода людей сгоняли в многотысячные эшелоны для отправки в северные лагеря, во многих пунктах той же Кубани на государственных элеваторах в буквальном смысле слова гнили сотни тысяч пудов хлеба.».

В декабре «Молот» пишет: «Мы очищаем Кубань от остатков кулачества, саботажников и тунеядцев. Остатки гибнущего класса озверело сопротивляются. Нам на Северном Кавказе приходится считаться с тем фактом, что недостаточна классовая бдительность, что предательство и измена в части сельских коммунистов позволили остаткам казачества, контрреволюционной атаманщине и белогвардейщине нанести заметный удар по организации труда, по производительности в колхозах. Мы ведем на Кубани борьбу, очищая ее от паразитов, нанося сокрушительные удары «партийным и беспартийным».

По мнению «Комсомольской правды», многие первичные колхозные организации, а нередко и районные, превратились на Кубани в «полностью кулацкие», секретари райкомов и председатели райисполкомов стали «саботажниками и перерожденцами». Их арестовывали и расстреливали; по краю было исключено из партии 26 тыс. чел. — 45 % коммунистов.

Еще письмо — брата брату: «Смертность такая в каждом городе, что хоронят не только без гробов (досок нет), а просто вырыта огромная яма, куда свозят опухших от голодной смерти и зарывают, в станицах трупы лежат в хатах, пока смердящий воздух не привлечет, наконец, чьего-либо внимания. Хлеба нет; в тех станицах, в которых есть рыба, люди сушат рыбные кости, мелют их, потом соединяют с водой, делают лепешки, и это заменяет как бы хлеб. Ни кошек, ни собак давно нет — все это съедено. Стали пропадать дети, их заманивают под тем или иным предлогом; их режут, делают из них холодные котлеты и продают, а топленый жир с них голодные покупают. Открыли несколько таких организаций. В колодце нашли кости с человеческими пальцами. В бывших склепах найдено засоленное человеческое мясо. На окраине нашли более 200 человеческих голов с золотыми зубами, где снимали с них коронки для Торгсина. В школе детям объявили, чтобы сами не ходили, а в сопровождении родителей. Исчезают взрослые, более или менее полные люди. В колхозах никто не хочет работать, все разбегаются, вот второй уже год поля остались неубранными, масса мышей и крыс, появилась чума в Ставропольской губернии. У нас тиф сыпной, сживем без всяких лекарств.»

Пытавшихся вырваться с охваченных голодом областей водворяли обратно. 22 января 1933 г. Сталин и Молотов предписали ОГПУ Украины и Северного Кавказа не допускать выезда крестьян — после того, как «будут отобраны контрреволюционные элементы, выдворять остальных на места их жительства». На начало марта было возвращено 219460 чел. Отмечались случаи немедленной расправы с людьми на местах, у железнодорожных станций.

* * *

С ноября 1932 по январь 1933 г. Северо-Кавказский крайком ВКП (б) занес на «черные доски» 15 станиц — 2 донские (Мешковская, Боковская) и 13 кубанских: Новорождественская, Темиргоевская, Медведовская, Полтавская, Незамаевская, Уманская, Ладожская, Урупская, Стародеревянковская, Новодеревянковская, Старокорсунская, Старощербиновская и Платнировская.

По краю только за 2,5 месяца с ноября 1932 г. брошено в тюрьмы 100 тыс. чел., выселено на Урал, в Сибирь и Северный край 38404 семей. Из станиц Полтавской, Медведовской и Урупской выселены все жители — 45639 чел. Уманская, Урупская и Полтавская были переименованы — в Ленинградскую, Советскую и Красноармейскую (в октябре 1994 г. глава администрации края Е.Харитонов возвратил Полтавской ее имя). На место выселяемых, убитых и умерших от голода селили порой тех самых, кто их уничтожал. Так, Полтавская — Красноармейская заселена семьями красноармейцев, Новорождественская — сотрудников НКВД.

Согласно справке ОГПУ 23.02.1933 г., самый сильный голод охватил 21 из 34 кубанских, 14 из 23 донских и 12 из 18 ставропольских районов (47 из 75 зерновых). Особо неблагополучны 11 кубанских районов (Армавирский, Ейский, Каневский, Краснодарский, Курганенский, Кореновский, Ново-Александровский, Ново-Покровский, Павловский, Старо-Минский, Тимашевский), Шовгеновский р-н Адыгейской АО и Курсавский Ставрополья.

Даже к сегодняшнему дню население репрессированных станиц не может восстановить хотя бы до половины своего прежнего уровня.

Всего, по подсчетам российских и зарубежных ученых, от голодомора 1932-33 гг. погибло не менее 7 млн. человек (некоторые считают, что число погибших было гораздо больше —

более 10 млн.). Власти пытались уничтожить и память о них. Места братских захоронений не обозначались, книги записей рождений и смертей уничтожались, а пытавшихся вести учет жертв расстреливали как врагов народа.

Карательные акции затронули не только станицы, занесенные на «черные доски». Одна только экспедиция особого назначения (латыши, мадьяры и китайцы — все кавалеры ордена Красного Знамени) в Тихорецкой за три дня расстреляла около 600 пожилых казаков. «Интернационалисты» выводили из тюрьмы, раздев догола, по 200 человек, и расстреливали из пулеметов.

Приехавший с Кубани словенец доктор Р. Трушнович рассказывал в Югославии про коллективизацию и голодомор: Зажиточных казаков отправляли в Архангельскую губернию. Из первого транспорта никто живым не остался, все были перебиты холодным оружием. Для проведения коллективизации было прислано 25000 рабочих от станков (двадцатипятитысячники). Объявлено: Всю тягловую силу, орудия производства и землю сдать в стансоветы. Все необходимое для жизни будете получать пайками. Отобранный инвентарь пропадал без надзора; лошади под присмотром назначенных конюхов (не хозяев) падали.

На место сосланных присылали красных партизан из Ставропольской губернии и центральной России. Жизнь окончательно ухудшилась; паек начали выдавать не подушно, а на рабочего, в результате даже дети принуждены были работать. Но голод все увеличивался. Умирали сотнями. Даже красные партизаны в течение месяца питались только сусликами. Большевики ни перед чем не останавливаются, вздумалось разводить хлопок — выкорчевали возле станицы Стеблиевской виноградники и, несмотря на предостережения казаков, все-таки посеяли хлопок, а потом косили, как траву. Казаков на Кубани осталось мало. Они одеты хуже всех, отчасти желая замаскировать себя и больше походить на пролетариев.

Удивительно ли, что именно из офицеров РККА, служивших в 1929-34 годах на Дону и Кубани и ставших свидетелями массового террора, многие позже вступили в казачьи формирования Вермахта и части РОА (назовем хотя бы будущего генерала и командира 5-го Донского полка И.Н.Кононова).

Не миновали казаков и волны арестов 1936-38 гг. (те, что накрыли многих большевиков, в том числе и изобретателей «черных досок»). В итоге к концу 30-х было физически истреблено около 70 % казаков. А сколько рассеяно по СССР и за рубежом, лишено памяти, родственных связей?

Г. Кокунько, редактор газеты «Станица» (Москва)

Казаки в Вермахте

К началу 2-й мировой войны основными центрами казачьей эмиграции были славянские государства — Болгарии, Югославии и Чехословакии. Несмотря на численное сокращение за 20 лет (за счет естественной убыли, перемещения в другие страны, главным образом во Францию и США, возвращения части казаков на родину), казаки оставались одной из самых крупных и политически активных групп Русского Зарубежья, сохраняя свой особый мир, войсковую организацию и традиции. Многие из них и в вынужденном изгнании продолжали считать себя единственными наследниками казачьих традиций — того мира, который фактически уничтожен находился на грани уничтожения в Советской России. Многие верили, что возрождение казачества может исходить только от них.

Большая часть казаков группировалась вокруг своих официальных лидеров — атаманов Донского, Кубанского, Терского и Астраханского войск за границей — генералов М.Н. Граббе, В.Г. Науменко, Г.А. Вдовенко и Н.В.Ляхова — связывая свое будущее с освобожденной от власти большевиков России. Значительно меньшая, но политически более активная часть казаков под влиянием групп ярко выраженной сепаратистской ориентации придерживалась идеи создания независимого казачьего государства. Своими союзниками самостийники считали украинцев и кавказских горцев, поскольку Украину и Северный Кавказ предполагалось целиком включить в состав будущей «Казакии». Врагом же, казачьей независимости, наряду с коммунистической диктатурой, считался русский народ — носитель «имперских амбиций».

Однако при всем антагонизме самостийников и «единонеделимцев», на первом плане для них оставалась непримиримость к большевизму, ставшая главным критерием их выбора в начавшейся между Германией и Советским Союзом войне. Так, самостийное «Казачье национально-освободительное движение» (КНОД) в день начала войны особой телеграммой в адрес германского правительства выразило «радостное чувство верности и преданности», предоставив все свои силы в распоряжение фюрера для борьбы против общего врага. В телеграмме выражалось также уверенность в том, что «победоносная германская армия обеспечит восстановление казачьей государственности». Используя искренние чувства многих тысяч простых казаков, которым начавшаяся война казалась предзнаменованием скорого возвращения на родину,

самостийные группировки приступили к формированию казачьих частей для борьбы с большевиками.

Представители законной власти в своих меморандумах подтверждали, что «войсковые атаманы являются не только носителями действительной власти над эмигрантским казачеством, но все время поддерживают тайную связь с казачьим населением оставленных территорий», и по возвращении на родину «вступят в управление при полной поддержке всего оставшегося казачьего населения», а «сохраненный и обновленный ими за границей административный аппарат немедленно начнет отправлять свои обязанности и быстро восстановит порядок и нормальное течение гражданской и экономической жизни».

Однако воинственный пыл казачьей эмиграции был быстро погашен германскими властями, не желавшими делить казавшуюся уже близкой победу с кем бы то ни было. Привлечение эмигрантов к участию в войне против СССР было признано нежелательным, поскольку «принесло бы мало реальной помощи германской армии и в то же время дало бы пищу для без того уже активной советской пропаганды, убеждающей русский народ, что с германскими войсками идут реакционеры, золотопогонники, помещики и т. п.». «Новую Россию» при этом будут строить те, кто «своею кровью смывают яд и отраву большевизма» — то есть немцы. Всякие отдельные выступления, декларации, заявления, как «вызывающие недоумение и недовольство» у германских властей и сеющие смуту в среде эмигрантов, приказано было прекратить.

Германское руководство, от которого, по словам генерала П.Н.Краснова, теперь зависело будущее России, не видело для себя выгоды ни в сохранении «единой и неделимой», ни в существовании на ее месте новых независимых государственных образований. И если сначала Министерство по делам оккупированных восточных территорий планировало выделить населенную донскими казаками территорию между Доном и Волгой в качестве особого полуавтономного района, то вскоре оно отказалось от этой идеи. Опираясь в своей «восточной политике» на идею размежевание населения СССР по национальному признаку, германское руководство решило земли донских казаков включить в состав имперского комиссариата «Украина», а кубанских и терских — в состав комиссариата «Кавказ».

Однако уже к концу 1941 года потери на фронте и необходимость антипартизанской борьбы в тылу заставили командование Вермахта обратить внимание на казаков, как на

убежденных борцов против большевизма, приступив к созданию казачьих частей из военнопленных. Еще ранней осенью 1941 г. из штаба 18-й армии в Генеральный штаб сухопутных войск поступило предложение о формировании из казаков специальных частей для борьбы с советскими партизанами, инициатором которого выступил офицер армейской контрразведки барон фон Клейст. Предложение получило поддержку, и 6 октября генерал-квартирмейстер Генштаба генерал-лейтенант Э.Вагнер разрешил командующим тыловыми районами групп армий «Север», «Центр» и «Юг» сформировать к 1 ноября 1941 г. «в качестве эксперимента» казачьи части из военнопленных для борьбы против партизан.

Первая из таких частей была сформирована приказом командующего тыловым районом группы армий «Центр» генералом фон Шенкендорфом от 28 октября 1941 г. Это был казачий эскадрон под командованием перешедшего незадолго до того со своими бойцами на сторону немцев майора Красной Армии донского казака И.Н.Кононова. В течение года командованием тылового района было сформировано еще 4 эскадрона, и уже к сентябрю 1942 г. под началом Кононова находился 102-й (с октября — 600-й) казачий дивизион (3 конных эскадрона, 3 пластунские роты, пулеметная рота, минометная и артиллерийская батареи). Общая численность дивизиона составляла 1799 человек, в том числе 77 офицеров. На протяжении 1942–1943 гг. подразделения Дивизиона вели напряженную борьбу с партизанами в районах Бобруйска, Могилева, Смоленска, Невеля и Полоцка.

Обоснованием дальнейшему упрочению роли казаков в составе Вермахта послужила теория, в соответствии с которой казаки считались потомками остготов (владевших Причерноморским краем в II–IV вв. н. э.) — народом, «сохранившим прочные кровные связи со своей германской прародиной». 15 апреля 1942 г. фюрер разрешил использовать казаков как в борьбе с партизанами, так и в боевых действия на фронте как «равноправных союзников».

Из казачьих сотен, сформированных при армейском и корпусных штабах германской 17-й армии, приказом от 13 июня 1942 г. был образован кавалерийский полк «Платов». В его составе имелось 5 конных эскадронов, эскадрон тяжелого оружия, артиллерийская батарея и запасной эскадрон. Командиром полка был назначен майор Вермахта Э. Томсен. С сентября 1942 г. казаки обеспечивали охрану Майкопских нефтепромыслов, а в конце января 1943 г. полк был переброшен в район Новороссийска, где нес охрану морского побережья и участвовал

в операциях против партизан. Весной 1943 г. он оборонял «Кубанское предмостное укрепление», отражая советские морские десанты северо-восточнее Темрюка, а в конце мая был выведен в Крым.

Сформированный летом 1942 г. в составе 1-й танковой армии Вермахта казачий кавалерийский полк «Юнгшульц» носил имя своего командира — подполковника И. фон Юнгшульца. Первоначально он имел только два эскадрона, один из которых был чисто немецким. Уже на фронте в его состав были включены две казачьи сотни из местных жителей, а также казачий эскадрон, сформированный в Симферополе. На 25 декабря 1942 г. полк насчитывал 1530 человек, в том числе 30 офицеров, 150 унтер-офицеров и 1350 рядовых. Начиная с сентября 1942 г. полк «Юнгшульц» оперировал на левом фланге 1-й танковой армии в районе Ачикулак — Буденновск, принимая участие в боях против советской кавалерии. После приказа об общем отступлении, отданного 2 января 1943 г., полк отходил на северо-запад в направлении станицы Егорлыкской, пока не соединился с частями 4-й танковой армии Вермахта. В дальнейшем он был подчинен 454-й охранной дивизии и переброшен в тыловой район группы армий «Дон».

Приказом командования от 18 июня 1942 г. было предписано направлять всех военнопленных — казаков по происхождению и считавших себя таковыми — в г. Славута. К концу месяца здесь было сосредоточено уже 5826 человек, что послужило основанием к принятию решения о формировании казачьего корпуса и организации соответствующего штаба. Из-за нехватки старшего и среднего командного состава было решено набирать в казачьи части бывших командиров Красной Армии, не являвшихся казаками.

Впоследствии при штабе формирования были открыты 1-е Казачье имени атамана графа Платова юнкерское училище и унтер-офицерская школа.

В первую очередь были сформированы 1-й Атаманский полк под командованием подполковника барона фон Вольфа и особая полусотня, предназначенная для выполнения специальных заданий в советском тылу. Затем начато было формирование 2-го Лейб-казачьего и 3-го Донского полков, вслед за ними — 4 и 5-го Кубанских, 6 и 7-го Сводно-казачьих полков. 6 августа 1942 г. сформированные казачьи части перевели в Шепетовку.

Работа по формированию казачьих частей на Украине приобрела планомерный характер. Оказавшиеся в немецком плену казаки концентрировались в одном лагере, из которого направлялись в резервные части, а уже оттуда в формируемые

полки, дивизионы, отряды и сотни. Казачьи части доказали свою пригодность к выполнению самых разных задач.

Большинство сформированных на Украине казачьих полков были задействованы на охране автомобильных и железных дорог, других военных объектов, а также в борьбе с партизанским движением на территории Украины и Белоруссии.

Однако особенно много казаков влилось в германскую армия после того, как части Вермахта вступили на территории казачьих областей Дона, Кубани и Терека. Вступая в казачьи станицы, немцы расклеивали листовки, призывавшие казаков к сотрудничеству, к во становлению традиционного самоуправления. В свою очередь, немецким солдатам разъяснялось, что здесь они имеют дело с «союзниками», находятся на «дружественной территории».

25 июля 1942 г., сразу же после занятия немцами Новочеркасска, к представителям германского командования явилась группа казачьих офицеров, изъявив готовность «всеми силами и знаниями помогать доблестным германским войскам в окончательном разгроме сталинских приспешников». В сентябре в Новочеркасске собрался казачий сход, на котором был избран штаб Войска Донского (с ноября 1942 г. — штаб Походного атамана) во главе с полковником С.В.Павловым, приступивший к организации казачьих частей.

Все казаки, способные носить оружие должны были явиться на пункты сбора и зарегистрироваться. Станичные атаманы обязывались в трехдневный срок произвести регистрацию офицеров и казаков, подобрать добровольцев для организуемых частей. Каждый доброволец мог записать свой последний чин в Российской Императорской армии или же в белых армиях. Одновременно атаманы должны были обеспечивать добровольцев строевыми лошадьми, седлами, шашками и обмундированием. Вооружение для формируемых частей выделялось по согласованию с германскими штабами и комендатурами.

В перешедших под контроль германской военной администрации казачьих областях Дона, Кубани и Терека воссоздавалось казачье самоуправление во главе со станичными и окружными атаманами, с вооруженными отрядами самообороны. Вскоре после оккупации Кубани группой армий А, ее командование получило из Берлина разрешение создать в качестве эксперимента автономный казачий район, в котором после ухода германских войск предполагалось установить полное самоуправление. Местному населению была гарантирована свобода в культурной, образовательной и религиозной деятельности. В отличие от других оккупированных областей

здесь была разрешена ликвидация колхозов и переход к частной земельной собственности.

Казачий район был сформирован 1 октября 1942 г. Он включал в себя территории шести советских административных районов нижней Кубани с населением около 160 тыс. человек. Приказ о создании района был издан без согласования с Восточным министерством, чиновники которого потребовали у военных объяснений по данному факту. Однако, несмотря ни на какие протесты, 5 ноября создание Казачьего района было официально утверждено.

В январе 1943 г., когда границы района расширились, был назначен атаман, началась дискуссия по вопросу о долгосрочной автономии, которая не мешала бы в будущем вхождению района в федерацию с Россией, Украиной или Кавказом. Далеко идущие реформы планировались в области сельского хозяйства, однако на практике удалось сделать немногое. В конце января 1943 г. германские войска оставили почти всю территорию Северного Кавказа, и экспериментальный район был ликвидирован. Тысячи казаков с семьями потянулись вслед за отступающими немецкими войсками, прекрасно понимая, что ожидает их — как за сотрудничество с немцами, так и просто за нахождение на оккупированной территории.

В ноябре 1942 г., незадолго до начала советского контрнаступления под Сталинградом, германское командование дало санкцию на формирование в областях Дона, Кубани и Терека казачьих полков. Так, из добровольцев донских станиц в Новочеркасске были организованы 1-й Донской полк под командованием есаула А.В.Шумкова и пластунский батальон, составившие Казачью группу Походного атамана полковника С.В.Павлова. На Дону также был сформирован 1-й Синегорский полк в составе 1260 офицеров и казаков под командованием войскового старшины (бывшего вахмистра) Журавлева. Из казачьих сотен, сформированных в станицах Уманского отдела Кубани, под руководством войскового старшины И.И. Саломахи началось формирование 1-го Кубанского казачьего конного полка, а на Тереке по инициативе войскового старшины Н.Л.Кулакова — 1-го Волгского полка.

Организованные на Дону казачьи полки в январе-феврале 1943 г. участвовали в тяжелых боях на Северском Донце, под Батайском, Новочеркасском и Ростовом. Прикрывая отход главных сил немецкой армии, они стойко отражали натиск превосходящего противника, понеся тяжелые потери, некоторые из них были уничтожены целиком.

Казачьи части формировались командованием армейских

тыловых районов (2 и 4-й полевых армий), корпусов (43 и 59-го) и дивизий (57 и 137-й пехотных, 203, 213, 403,444 и 454-й охранных). В танковых корпусах, как, например в 3-м (казачья моторизованная рота) и 40-м (1 и 2/82-й казачьи эскадроны под командованием подъесаула М.Загородного), они использовались в качестве вспомогательных разведотрядов. В 444 и 454-й охранных дивизиях было сформировано по два казачьих дивизиона по 700 сабель в каждом. В составе 5-тысячного германского конного соединения «Бозелагер», созданного для охранной службы в тыловом районе группы армий «Центр», служило 650 казаков, причем часть из них составляла эскадрон тяжелого оружия.

Казачьи части создавались и в составе действовавших на Восточном фронте армий германских союзников. По крайней мере, известно, что казачий отряд из двух эскадронов был сформирован при кавалерийской группе «Савойя» итальянской 8-й армии.

В целях достижения должного оперативного взаимодействия практиковалось сведение отдельных частей в более крупные соединения. Так, в ноябре 1942 г. действовавшие против партизан в районе Дорогобужа и Вязьмы четыре казачьих батальона (622, 623, 624 и 625-й, первоначально сформированные как 6, 7, 8 и 9-й полки), отдельная моторизованная рота (638-я) и две артиллерийские батареи были объединены в 752-й восточный полк особого назначения во главе с балтийским немцем майором Э.В. фон Рентельном.

К апрелю 1943 г. в составе Вермахта действовало около 20 казачьих полков численностью от 400 до 1000 человек каждый и большое количество более мелких частей, насчитывавших в общей сложности до 25 тыс. казаков и офицеров. Наиболее надежные из них были сформированы из добровольцев в станицах Дона, Кубани и Терека или из перебежчиков при германских полевых соединениях. Личный состав их в основном был представлен уроженцами казачьих областей, многие из которых сражались с большевиками еще в годы Гражданской войны или подвергались репрессиям со стороны советской власти. В то же время в рядах частей, формировавшихся в Славуте и Шепетовке, оказалось немало тех, кто называл себя казаками лишь для того, чтобы вырваться из лагерей военнопленных и тем самым спасти свою жизнь. Формирование казачьи частей для вступавших в их ряды тысяч советских военнопленных стало единственным средством освобождения из немецких лагерей, где они были обречены на голодную смерть.

Активисты казачьего движения надеялись, что казачий вопрос

вскоре будет поставлен непосредственно перед фюрером и разрешен в благоприятном для казачества смысле. Между тем многих казаков-эмигрантов не оставляло желание принять личное участие в освобождении казачьих земель. Распоряжения германских властей, отстранявшие эмиграцию от участия в судьбе России, оставляли в то же время немало лазеек для проникновения ее представителей на службу в различные немецкие военные и хозяйственные учреждения в качестве переводчиков, врачей, инженеров, юристов, землемеров, техников, шоферов, сестер милосердия. С 1942 г. этот процесс становится все более заметным. Так, в мае-июне из Парижа в оккупированные советские районы тремя партиями выехало несколько сот офицеров, включая казаков, для формирования охранных частей из военнопленных. Бывшему командиру Л.-гв. Казачьего полка генерал-майору В.А.Дьякову автотранспортная организация «Шпеер» поручила вербовку эмигрантов в качестве инструкторов для работы с советскими военнопленными, а также в качестве шоферов и технического персонала для укомплектования автоколонн.

В Сербии, где настроения эмиграции в начале войны были наиболее воинственными, германские власти дали санкцию на создание Русского охранного корпуса для поддержания порядка и борьбы с партизанами. В формировании корпуса активное участие принял кубанский войсковой атаман В.Г. Науменко, предложивший провести мобилизацию казаков-эмигрантов в обязательном порядке. К началу ноября 1941 г. в составе корпуса числилось около 300 казаков, к концу года их число выросло до 1200, а к концу следующего, 1942 г., достигло 2 тысяч. Первоначально в составе корпуса предполагалось формировать отдельную конную казачью бригаду, однако этот проект не был реализован и казаки были распылены по всем полкам, батальонам и ротам корпуса. Когда в конце 1942 г. корпус был включен в состав Вермахта и почти все казаки по ходатайству войсковых атаманов были сведены в 1-й Казачий полк под командованием генерала В.Э. Зборовского. Этот полк считался одним из лучших и к началу 1944 г. имел более 80 % наград германского командования, которых были удостоены чины корпуса.

Опыт использования казачьих частей на Восточном фронте показал практическую ценность подобных формирований, и германское командование решило сформировать первое в восточных войсках крупное соединение, способное решать самостоятельные боевые задачи — казачью дивизию. 8 ноября 1942 г. во главе соединения, которое еще предстояло создать, был

назначен полковник Гельмут фон Паннвиц — блестящий кавалерийский начальник, к тому же хорошо владевший русским языком. Осуществить план по формированию соединения уже в ноябре помешало советское наступление под Сталинградом, и приступить к его реализации удалось лишь весной 1943 г. — после отхода немецких войск на рубеж реки Миус — Таманский полуостров и относительной стабилизации фронта. Казачьи части были собраны в районе Херсона и пополнены за счет многочисленных казаков-беженцев. Следующим этапом стало сведение их в отдельное войсковое соединение. Первоначально было сформировано четыре полка: 1-й Донской, 2-й Терский, 3-й Сводно-казачий и 4-й Кубанский — общей численностью до 6000 человек.

21 апреля 1943 г. германское командование отдало приказ о формировании 1-й Казачьей кавалерийской дивизии, в связи с чем сформированные полки были переброшены на учебный полигон Милау (Млава), где еще с довоенных времен находились склады снаряжения польской кавалерии. Сюда же прибыли лучшие из фронтовых казачьих частей — полки «Платов», «Юнгшульц», 1-й Атаманский полк Вольфа и 600-й дивизион Кононова, Эти части расформировывались, а их личный состав сводился в полки по принадлежности к Донскому, Кубанскому и Терскому казачьим войскам. Исключение составил дивизион Кононова, включенный в дивизию как отдельный полк.

Создание дивизии было завершено 1 июля 1943 г., когда произведенный в звание генерал-майора фон Паннвиц был утвержден ее командиром. Дивизия имела в своем составе штаб с конвойной сотней, группой полевой жандармерии, мотоциклетным взводом связи, взводом пропаганды и духовым оркестром, две казачьи кавалерийские бригады — 1-ю Донскую (1-й Донской, 2-й Сибирский и 4-й Кубанский полки) и 2-ю Кавказскую (3-й Кубанский, 5-й Донской и 6-й Терский полки), два конно-артиллерийских дивизиона (Донской и Кубанский), разведотряд, саперный батальон, отдел связи, подразделения тылового обслуживания.

Каждый из полков состоял из двух конных дивизионов (во 2-м Сибирском полку 2-й дивизион был самокатным, а в 5-м Донском — пластунским) 3-эскадронного состава, пулеметного, минометного и противотанкового эскадронов. По штату в полку насчитывалось 2000 чел., включая 150 чел. немецкого кадрового состава. На вооружении имелось 5 50-мм противотанковых пушек, 14 батальонных и 54 ротных миномета, 8 станковых и 60 ручных пулеметов, немецкие карабины и автоматы. Сверх штата полкам были приданы батареи из 4 76,2-мм полевых пушек. Конно-

артиллерийские дивизионы имели по 3 батареи 75-мм пушек (200 чел. и 4 орудия в каждом), разведотряд — 3 самокатных эскадрона из числа немецкого кадрового состава, эскадрон молодых казаков и штрафной эскадрон, саперный батальон — 3 саперных и саперно-строительный эскадроны, а дивизион связи — 2 эскадрона телефонистов и 1 радиосвязи.

На 1 ноября 1943 г. численность дивизии составляла 18555 человек, в том числе 3827 немецких нижних чинов и 222 офицера, 14315 казаков и 191 казачий офицер. Все командиры полков (кроме И.Кононова) и дивизионов (кроме двух) были немцами, а в составе каждого эскадрона имелось 12–14 немецких солдат и унтер-офицеров на хозяйственных должностях. Дивизия стала наиболее «русифицированным» из регулярных соединений Вермахта: командирами строевых конных подразделений — эскадронов и взводов — были казаки, все команды отдавались на русском языке.

В Моково, недалеко от полигона Миллау, был сформирован казачий учебно-запасной полк под командованием полковника фон Боссе, носивший номер 5-й по общей нумерации запасных частей восточных войск. Он насчитывал в разное время от 10 до 15 тысяч казаков, постоянно прибывавших с Восточного фронта и оккупированных территорий и после соответствующей подготовки распределявшихся по полкам дивизии. Унтер-офицерская школа готовила кадры для строевых частей, здесь действовала и Школа юных казаков — своеобразный кадетский корпус для нескольких сот подростков, потерявших родителей.

После того, как собранные в районе Херсона части были отправлены в Польшу для формирования 1-й Казачьей кавалерийской дивизии, главным центром сосредоточения казачьих беженцев, покинувших свои земли вслед за отступающими немецкими войсками, стал обосновавшийся в Кировограде штаб Походного атамана Войска Донского С.В.Павлова. К июлю 1943 г. здесь собралось до 3000 донцов, из которых было сформировано два новых полка. Для подготовки командного состава планировалось открыть офицерскую школу, а также школу танкистов, однако реализовать эти проекты не удалось из-за нового советского наступления.

Несмотря на то, что к концу 1942 г. казаки в Вермахте прочно завоевали репутацию незаменимых бойцов на фронте и в партизанских районах, их политическое положение продолжало оставаться неопределенным. В то время как все народы Советского Союза, представители которых сражались в составе германской армии, уже давно имели свои национальные комитеты, претендовавшие в будущем на роль правительств

«независимых государств», ничего подобного не было у казаков.

Для того, чтобы решить эту проблему, в декабре 1942 г. при Министерстве по делам оккупированных восточных территорий было организовано Казачье управление во главе с д-ром Н.А. Гимпелем. Зная о популярности генерала П.Н.Краснова в казачьих кругах, немцы прочили его пароль идейного вдохновителя всего казачества. Прежде отказывавшийся от какой бы то ни было политической деятельности, 25 января 1943 г. Петр Николаевич подписал обращение, призвав казаков встать на борьбу с большевистским режимом. В обращении отмечались особые казачьи черты, казачья самобытность, право казаков на самостоятельное государственное существование, но не было ни слова о России. Как позже признавался сам Краснов, с этого момента он стал только казаком, поставив «крест на своей предыдущей жизни и деятельности».

Военной и политической консолидации казачества, связавшего свою судьбу с немцами, была призвана служить Декларация германского правительства к казакам, разработанная Гимпелем при участии генерала П.Н.Краснова и торжественно обнародованная 10 ноября 1943 г. за подписями генерал-фельдмаршала В. Кейтеля и министра по делам оккупированных восточных территорий А.Розенберга. Она признавала неприкосновенность казачьих земель и права казаков на государственную самостоятельность. До тех пор, пока возвращение казаков на родину не станет возможным, германское правительство гарантировало им свое покровительство и обязалось предоставить территорию для временного проживания.

К этому времени на Украине находилось уже 18000 казаков-беженцев, включая женщин и детей, образовавших так называемый Казачий Стан. Германские власти признали полковника Павлова Походным атаманом всех казачьих войск. После недолгого пребывания в Подолье Казачий Стан в марте 1944 г. в связи с опасностью советского окружения начал движение на запад — до Сандомира, а затем по железной дороге был перевезен в Белоруссию. Здесь командование Вермахта предоставило для размещения казаков 180 тыс. гектаров земельной площади в районе городов Барановичи, Слоним, Новогрудок, Ельня, Столицы. Расселенные на новом месте беженцы были сгруппированы по принадлежности к разным войскам, по округам и отделам, воспроизводя традиционную систему казачьих поселений.

Одновременно была предпринята широкая реорганизация казачьих строевых частей Казачьего Стана, которые были объединены в 10 пеших полков численностью в 1200 штыков

каждый. 1-й и 2-й Донские полки составили 1-ю бригаду полковника Силкина; 3-й Донской, 4-й Сводно-казачий, 5-й и 6-й Кубанские и 7-й Терский — 2-ю бригаду полковника Вертепова; 8-й Донской, 9-й Кубанский и 10-й Терско-Ставропольский — 3-ю бригаду полковника Медынского (в дальнейшем состав бригад несколько раз менялся). Каждый полк имел в своем составе 3 пластунских батальона, минометную и противотанковую батареи. Для их вооружения было использовано советское трофейное оружие. Главной задачей, поставленной казакам германским командованием, была борьба с партизанами на тыловых коммуникациях группы армий «Центр».

В Берлине при Казачьем управлении Восточного министерства в марте 1944 г. было создано Главное управление казачьих войск (ГУКВ), призванное играть роль казачьего правительства в изгнании. В его состав вошли: генерал П.Н.Краснов (начальник), походный атаман казачьих войск полковник С.В.Павлов, кубанский войсковой атаман за границей генерал-майор В.Г. Науменко, походный атаман Терского войска полковник Н.Л.Кулаков. Рабочим органом ГУКВ был его штаб, возглавлявшийся троюродным племянником П.Н.Краснова полковником (впоследствии генерал-майором) С.Н.Красновым.

На ГУКВ были возложены вербовка казаков в ряды казачьих частей Вермахта, устройство казачьих семейств, стариков и инвалидов, отбор казаков из лагерей военнопленных и восточных рабочих, а также из частей Вермахта и войск СС для передачи в состав дивизии Паннвица и строевых частей Казачьего Стана. Хотя сфера деятельности ГУКВ официально распространялась лишь на бывших «подсоветских» казаков, частным порядком осуществлялось привлечение в казачьи части и эмигрантов, что было связано прежде всего с проблемой комплектования казачьих частей командным составом.

Всех казаков, подходящих для службы в строевых частях, т. е. в возрасте от 18 до 35 лет, предписывалось направлять в Берлин, откуда они направлялись в запасной полк 1-й Казачьей кавалерийской дивизии и получали назначения вне зависимости от прежних чинов и служебного положения, в соответствии с профессиональной пригодностью. Для получения унтер-офицерских и офицерских должностей требовалось знание немецкого языка и уставов. Казаки от 35 до 50 лет, годные к военной службе, также направлялись в управление для последующего перевода в Казачий Стан в распоряжение соответствующих войсковых правлений. Казаки старше 50 лет, равно как и негодные к строевой службе, направлялись через Казачье управление в соответствующие войсковые правления

Казачьего Стана.

К этому времени большая часть казачьих частей действовала за пределами Восточного фронта: в конце 1943 г. германское командование, стремясь сохранить личный состав восточных формирований и обезопасить свой тыл от ненадежных частей, вывело большую часть восточных войск в Западную Европу, Италию и на Балканы, направив на советско-германский фронт освободившиеся немецкие войска.

1-я Казачья кавалерийская дивизия была отправлена в Югославию, где летом-осенью 1943 г. заметно активизировали деятельность коммунистические партизаны И.Броз Тито. Благодаря большой подвижности и маневренности казачьи части оказались лучше приспособленными к горным условиям Балкан и действовали более эффективно, чем неповоротливые ландверные дивизии немцев. В течение лета 1944 г. части дивизии предприняли не менее пяти самостоятельных операций в горных районах Хорватии и Боснии, уничтожив много партизанских опорных пунктов, и перехватили инициативу наступательных действий.

В самом конце 1944 г. 1-й Казачьей дивизии пришлось вновь столкнуться и с частями Красной Армии, пытавшимися соединиться на р. Драва с титовцами. В ходе ожесточенных боев казакам удалось нанести тяжелое поражение одному из полков 233-й советской стрелковой дивизии и вынудить противника оставить захваченный ранее на правом берегу Дравы плацдарм. В марте 1945 г. части 1-й Казачьей дивизии (к тому времени уже развернутой в корпус) участвовали в последней крупной наступательной операции Вермахта в ходе 2-й мировой войны: на южном фасе Балатонского выступа казаки успешно действовали против болгарских частей.

Переброшенные во Францию казачьи формирования использовались на охране Атлантического вала и действовали во внутренних департаментах страны против партизан. Судьба их была различной. Так, полк майора фон Рентельна, размещенный побатальонно вдоль побережья Бискайского залива и переименованный в 360-й казачий крепостной гренадерский полк, в августе 1944 г. был вынужден с боями пройти долгий путь к германской границе по занятой партизанами территории. 570-й казачий батальон был направлен против высадившихся в Нормандии англо-американцев и в первый же день в полном составе сдался в плен. 454-й казачий кавалерийский полк, блокированный частями французских регулярных войск и партизанами в городке Понталье, отказался капитулировать и был почти полностью уничтожен. Такая же судьба постигла в

Нормандии 82-й казачий дивизион М.Загородного.

В то же время большинство из сформированных в 1942–1943 гг. в Славуте и Шепетовке казачьих полков продолжало действовать против партизан на территории Украины и Белоруссии. Некоторые из них были разгромлены в зимних боях 1943/44 гг. на Украине, а их остатки влились в состав других частей. В частности, остатки разгромленного в феврале 1944 г. под Думанью 14-го Сводно-казачьего полка были включены в 3-ю кавалерийскую бригаду Вермахта, а 68-й казачий полицейский батальон осенью 1944 г. оказался в составе 30-й гренадерской дивизии войск СС (русская № 2), отправленной на Западный фронт. Несколько казачьих частей в августе — сентябре 1944 г. принимали участие в подавлении Варшавского восстания.

В июле 1944 г. в связи с угрозой нового советского наступления был выведен из Белоруссии и сосредоточен в районе Здунская Воля на севере Польши Казачий Стан. Командование им после гибели в ходе одной из антипартизанских операций С.Павлова принял войсковой старшина (в дальнейшем — полковник и генерал-майор) Т.И. Доманов. Отсюда два казачьих полка были брошены на помощь германским войскам, подавлявшим Варшавское восстание, в то время как основная масса казаков эшелонами отправлялась в Северную Италию — где для их размещения была выделена территория, прилегающая к Корнийским Альпам, с городами Толмеццо, Джемона и Озоппо.

В Северной Италии строевые части Казачьего стана подверглись очередной реорганизации, образовав Группу Походного атамана в составе двух дивизий. 1-я Казачья пешая дивизия (казаки 19–40) включала в себя 1-й и 2-й Донские, 3-й Кубанский и 4-й Терско-Ставропольский полки (сведенные в 1-ю Донскую и 2-ю Сводную пластунские бригады), а также штабную и транспортную роты, конный и жандармский эскадроны, роту связи и бронеотряд. 2-я Казачья пешая дивизия (от 40 до 52 лет) состояла из 3-й Сводной пластунской бригады, включавшей 5-й Сводно-казачий и 6-й Донской полки, и 4-й Сводной пластунской бригады, объединявшей 3-й Запасной полк, три батальона станичной самообороны (Донской, Кубанский и Сводно-казачий) и Особый отряд полковника Грекова. Помимо того, в составе Группы состояли 1-й Казачий конный полк (6 эскадронов: 1, 2 и 4-й донские, 2-й терско-донской, 6-й кубанский и 5-й офицерский), Атаманский конвойный конный полк (5 эскадронов), 1-е Казачье юнкерское училище (2 пластунские роты, рота тяжелого оружия, артбатарея), отдельные дивизионы — офицерский, жандармский и комендантский пеший, и замаскированная под автомотошколу Специальная казачья парашютно-снайперская школа (Особая

группа «Атаман»). К строевым частям Казачьего Стана, по некоторым данным, была присоединена и отдельная казачья группа «Савойя», выведенная с Восточного фронта вместе с остатками итальянской 8-й армии еще в 1943 г.

На 27 апреля 1945 г. общая численность Казачьего Стана составляла 31463 человек (1575 офицеров, 592 чиновника, 16485 унтер-офицеров и рядовых, 6304 нестроевых, 4222 женщины, 358 подростков от 14 до 17 лет и 2094 ребенка до 14 лет. 1430 казаков принадлежало к эмигрантам первой волны, а остальные были бывшими советскими гражданами.

К концу лета 1944 г. Красная армия почти вплотную приблизилась к границам рейха, для обороны которого в спешном порядке изыскивались дополнительные мобилизационные ресурсы. Исключительные полномочия здесь были предоставлены рейхсфюреру СС Гиммлеру, назначенному после неудачного офицерского путча главнокомандующим армией резерва вместо причастного к заговору генерала Ф. Фромма. Стремясь еще более укрепить свои позиции, Гиммлер добился передачи в распоряжение СС всех инонациональных частей и соединений сухопутных войск.

На состоявшемся в начале сентября в ставке Гиммлера совещании с участием фон Паннвица и других командиров казачьих формирований было принято решение о развертывании 1-Казачьей дивизии, пополненной за счет частей, переброшенных с фронтов, в корпус. Одновременно предполагалось провести среди оказавшихся на территории рейха казаков мобилизацию, для чего при Главном штабе СС был образован специальный орган — Резерв казачьих войск во главе с генерал-лейтенантом А.Г. Шкуро.

Вскоре в дивизию фон Паннвица стали прибывать большие и малые группы казаков и целые воинские части (такие, как два казачьих батальона из Кракова, 69-й полицейский батальон из Варшавы, батальон заводской охраны из Ганновера и, наконец, 360-й полк фон Рентельна с Западного фронта). 5-й казачий учебно-запасной полк из Франции был переброшен в Австрию (г. Цветле) — поближе к району действий дивизии. Усилиями вербовочных штабов, созданных Резервом казачьих войск, удалось собрать свыше 2000 казаков из числа эмигрантов, военнопленных и восточных рабочих. В течение двух месяцев численность дивизии увеличилась почти в два раза.

Приказом от 4 ноября 1944 г. 1-я Казачья дивизия была передана на время войны в подчинение Главного штаба СС. Эта передача касалась, прежде всего, сферы материально-технического снабжения, что позволило улучшить обеспечение

дивизии оружием, боевой техникой и автотранспортом. Так, например, артиллерийский полк дивизии получил батарею 105-мм гаубиц, саперный батальон — несколько шестиствольных минометов, разведотряд — штурмовые винтовки StG-44. Дивизии, по некоторым данным, было придано 12 единиц бронетехники, включая танки и штурмовые орудия.

Приказом от 25 февраля 1945 г. дивизия была преобразована в 15-й Казачий кавалерийский корпус войск СС. 1-я и 2-я бригады переименовывались в дивизии без изменения их численности и организационной структуры. На базе 5-го Донского полка Кононова началось формирование Пластунской бригады двухполкового состава с перспективой развертывания в 3-ю Казачью дивизию. Конно-артиллерийские дивизионы в дивизиях переформировывались в полки. Общая численность корпуса достигала 25000 солдат и офицеров, в том числе от 3000 до 5000 чел. немцев. Помимо этого, на завершающем этапе войны вместе с 15-м Казачьим корпусом действовали такие формирования, как калмыцкий пеший полк (до 5000 чел.), кавказский конный дивизион, украинский батальон из состава 14-й дивизии СС «Галичина» и группа танкистов РОА, с учетом которых под командованием группенфюрера и генерал-лейтенанта войск СС (с 1 февраля 1945 г.) Г. фон Паннвица находилось 30–35 тыс. человек.

В конце войны руководство Третьего рейха пыталось использовать любую возможность для того, чтобы предотвратить свой крах. В целях максимально полного использования людских ресурсов оно решилось на создание русского политического центра, олицетворявшего собой правительство в изгнании, и объединение восточных добровольческих частей в единую армию с номинальным статусом армии союзной державы. Эти меры, по мнению Гиммлера и некоторых других нацистских вождей, должны были сплотить представителей всех народов России для борьбы против большевизма, превратив германо-советскую войну в войну гражданскую. Командующий пока еще реально не существующей Русской освободительной армией генерал А.А.Власов получил согласие на формирование двух русских дивизий (из 10 намеченных в перспективе) и объединение под своим началом всех антисоветских сил. Хотя эти шаги были сделаны с большим опозданием и в сложившейся обстановке почти не имели шансов на успех, резонанс был весьма значительным. Многие россияне, как бывшие советские граждане, так и эмигранты, увидели в начинании Власова залог своего существования в будущем.

О поддержке Власова заявили и виднейшие представители

казачьей эмиграции, включая донского и кубанского войсковых атаманов Г.В.Татаркина и В.Г. Науменко, атамана Общеказачьего объединения в Германской империи Е.И. Балабина и начальника Резерва казачьих войск А.Г. Шкуро. С просьбой о принятии в состав КОНР к Власову обратились даже такие одиозные фигуры, как националист В.Г.Глазков. В то же время против КОНР восстало Главное управление казачьих войск: его сотрудники видели во Власове угрозу казачьим вольностям, обещанным декларацией германского правительства, утверждая, что «Россия погибла и никогда больше не воскреснет». В ГУКВ уверяли, что казачество может существовать только под покровительством Германии на территории Европы под именем «Среднеевропейского казачества».

Поддержавшие Власова казачьи генералы пытались уговорить обладавшего огромным авторитетом П.Н.Краснова и ГУКВ присоединиться к КОНР. В случае отказа от административной работы, П.Н.Краснову предлагалось стать почетным возглавителем ГУКВ и всего казачества.

Встречи Краснова и Власова состоялись в Берлине 7 и 9 января 1945 г. Старый атаман предложил вести совместную борьбу на условии, что казаки, отношения которых с Германией определяются декларацией от 10 ноября 1943 г., останутся независимыми, а он учредит при штабе РОА казачье представительство — «зимовую станицу». Власов, признавая за казаками право на культурную автономию, требовал безусловного подчинения ему, как главнокомандующему вооруженными силами КОНР, всех казачьих формирований.

Видя, что Краснов, несмотря на разговоры о союзе, идет по пути противопоставления казачества всему русскому народу, Власов отдал приказ о формировании при штабе ВС КОНР собственного Управления казачьих войск, назначив его начальником донского войскового атамана генерала Г.В.Татаркина, а начальником штаба — полковника Е.В.Карпова. К 23 марта 1945 г. Управлением казачьих войск при КОНР было составлено «Положение об управлении казачьими войсками»: руководящим органом казачества становился Совет казачьих войск из донского, кубанского и терского атаманов, заместителей атаманов остальных восьми войск и начальника штаба. Председатель совета подчинялся Власову как главнокомандующему и председателю КОНР.

24 марта 1945 г. произошел решающий поворот в отношениях КОНР с казачеством. В Вировитице (Хорватия) съезд казаков 15-го кавалерийского корпуса единогласно принял решение об объединении казачьих войск с вооруженными силами КОНР.

Съезд избрал походным атаманом казачьих войск генерал-лейтенанта Г. фон Паннвица.

Решение съезда повлияло на позицию походного атамана Казачьего стана Т.И. Доманова. Он направил Власову письмо, в котором объявил о передаче Казачьего Стана в распоряжение главнокомандующего ВС КОНР.

20 апреля Власов подписал приказ о включении казачьих войск в состав ВС КОНР и утверждении фон Паннвица в должности походного атамана. В это время советские войска уже вели бои в пригородах Берлина, а до конца войны оставались считанные дни.

30 апреля 1945 г. ввиду приближения английских войск и активизации действий итальянских партизан было принято решение об эвакуации казачьих строевых частей и беженцев из Италии. Отход начался в ночь со 2 на 3 мая. К вечеру 7 мая, преодолев высокогорный альпийский перевал, последние казачьи отряды пересекли границу и расположились в долине реки Драва между городами Лиенц и Обердраубург.

В расположение 8-й британской армии были отправлены парламентеры, объявившие о капитуляции Казачьего Стана. Неподалеку разбили лагерь 4,8 тыс. кавказцев (главным образом, адыгейцев, карачаевцев и осетин), также перешедших через Альпы (лишь около 600 из них — бойцы Северокавказской боевой группы войск СС, остальные были гражданские беженцы). Возглавлял горцев адыгейский князь генерал Султан Келеч-Гирей. Восточнее — в городке Шпиталь — находилась группа в несколько сот казаков во главе с А.Г. Шкуро. Тремя днями раньше из Хорватии в Австрийские Альпы прорвался и 15-й Казачий кавалерийский корпус, сложивший оружие перед англичанами в районе Фельдкирхен — Альтхофен.

Первое время положение казаков было не похоже на положение военнопленных. Они были поставлены на британское армейское довольствие, содержались относительно свободно, лишь с ограничениями передвижения во время комендантского часа. Отношение англичан было подчеркнуто корректным — казачьи офицеры сохраняли личное оружие, для несения караульной службы казакам были оставлены винтовки (по одной на 10 человек). Среди казаков ходили самые разные слухи относительно дальнейшей судьбы: высказывались предположения о формировании из них некоего подобия иностранного легиона и переброски на Ближний Восток, в Африку или даже на острова Тихого океана для борьбы с японцами. Мало кто догадывался о том, что судьба их уже решена: 11 февраля 1945 г. в Ялте подписано соглашение о репатриации всех советских граждан,

взятых в плен в составе германских вооруженных сил.

16 мая англичане потребовали сдать оставшееся у казаков оружие. 28 мая под предлогом встречи с английским главнокомандующим фельдмаршалом Александером от массы рядовых казаков были отделены офицеры — 2426 из Казачьего стана (включая 14 генералов) и 1192 из 15-го кавалерийского корпуса, а также 141 кавказец и 22 калмыка. Все они под усиленным конвоем были отправлены в Шпиталь и размещены в огороженном колючей проволокой лагере, а на следующий день были переданы СМЕРШу 3-го Украинского фронта.

Обстоятельства выдачи советским властям Краснова, Шкуро и других старых эмигрантов, долгое время остававшиеся загадкой для исследователей, были раскрыты генералом П.А.Судоплатовым, возглавлявшим в годы войны отдел спецопераций НКГБ. Суть заключалась в своего рода «сделке» — обмене белых атаманов и остальных эмигрантов на плененных Красной армией немецких морских офицеров во главе с адмиралом Редером.

Обезглавив Казачий Стан и 15-й ККК, англичане приступили к акции по репатриации остальных казаков. Это была своего рода военная операция с участием сил трех английских дивизий и двух бригад. Массовая депортация казаков из долины Дравы началась 1 июня. Англичане предприняли штурм находившегося восточнее Лиенца лагеря Пеггец, где 15 тысяч казаков, включая женщин и детей, устроили богослужение под открытым небом. Орудуя штыками и прикладами, солдаты вырывали людей из толпы и заталкивали их в грузовики. Несколько десятков казаков были убиты при попытке к бегству, погибли в давке, утонули или покончили с собой. Аналогичные события происходили и в других лагерях в Тирольских Альпах — в частности, выдача казаков 15 ККК осуществлялась из района города Клагенфурт (около 70 км восточнее Клагенфурта).

Всего за пять недель, начиная с 28 мая, советским властям из лагерей на Драве было передано 35 тысяч только казаков (впрочем, избежавшие выдачи нередко называют и куда большее число выданных — основываясь как на списочных составах казачьих соединений, к которым по дороге из Италии присоединилось немало русских беженцев, так и на собственных впечатлениях). Впереди их ждали все ужасы сталинских лагерей и спецпоселений, пережить которые удалось немногим. Из 1430 эмигрантов, переданных в Юденбурге советским властям, после объявленной в 1955 г. амнистии за границу выехало лишь 70 человек.

16 января 1947 г. в Москве в Колонном зале Дома Союзов

состоялся закрытый судебный процесс, на котором в качестве обвиняемых выступали 6 генералов: П.Н.Краснов, А.Г. Шкуро, С.Н.Краснов и Султан Келеч-Гирей, бывший советский гражданин Т.И. Доманов и германский подданный Г. фон Паннвиц. Подсудимые обвинялись в том, что «по заданию германской разведки, они в период Отечественной войны вели посредством сформированных ими белогвардейских отрядов вооруженную борьбу против Советского Союза и проводили активную шпионско-диверсионную деятельность против СССР». Все обвиняемые были приговорены к смертной казни через повешение.

С. Дробязко

От издательства

Первое издание книги Н.Н. Краснова-младшего «Незабываемое», выпущенное в 1957 году, полностью распродано, далеко не удовлетворив громадного на нее спроса. Книга эта вполне заслуженно возбудила исключительный интерес у читателей. Н.Н.Краснов младший последний в роде Красновых — явился для нас как бы выходцем с того света. Выдержав десятилетний срок заключения в лагерях СССР, пройдя испытания, равных которым, казалось, быть не может, пережив смерть деда, дяди, отца, Н.Н.Краснов — в числе очень немногих счастливцев — выбрался на свободу. Здесь сразу же по освобождении — выполнил он завещание помойного деда Донского Атамана и знаменитого писателя Петра Николаевича Краснова — правдиво и без прикрас описал все свои переживания, все, что видел и слышал.

Мы взяли на себя задачу выпустить второе издание этой исключительной по интересу и объективности книги, которую Н.Н.Краснов с этой целью дополнил и несколько исправил.

Казалось, судьба начала благоприятствовать Николаю Николаевичу: его семейная жизнь, прерванная в течение долгих лет заключения, вошла в колею; первое издание «Незабываемого» имело совершенно исключительный в эмиграции успех и разошлось без остатка. Выпуск второго издания подготовлялся и Николай Николаевич был этим очень заинтересован. Он вел интенсивную переписку относительно издания книги, но в письмах своих жаловался иногда на здоровье. К несчастью, годы тяжелых испытаний оставили свой след на его, железном когда то, организме.

И вот, когда работа по переизданию книги уже подходила к концу и книга была передана в типографию, была получена поразившая нас своей неожиданностью весть о его скоропостижной смерти. Сердце Н.Н.Краснова не выдержало и перестало биться. Небольшое, казалось бы, возбуждение оказалось уже ему не под силу.

Таким образом, второе издание книги Н.Н.Краснова младшего является посмертным. Исполняя желание покойного автора, мы выпускаем книгу в надежде, что она раскроет жуткую правду о жизни угнетенного русского народа тем, кто не успел узнать о ней из первого издания.

Издательство.

Предисловие к 1-му изданию

«*Памяти моего деда, генерала Петра Николаевича Краснова, моего отца Николая Николаевича, дяди Семена Николаевича и всех, вместе с ними погибших мученической смертью от руки палачей нашей Родины и Народа*».

Н. Краснов



От моих воспоминаний нельзя ожидать яркости обликов, четкости фразы только потому, что я ношу фамилию Краснов и являюсь внучатным племянником талантливого писателя, барда России и казачества, Петра Николаевича Краснова. Я постарался вложить в них искренность и правдивость и быть маленьким летописцем событий, очевидцем которых я был, начавшихся в Лиенце и для меня закончившихся моим чудесным возвращением на свободу.

Десять с лишком лет, проведенных за Железным Занавесом, оставили неизгладимое, незабываемое впечатление. Поэтому я и назвал свою книгу «Незабываемое».

Забыть все пройденное нельзя. Грешно. Нужно помнить и нужно своим человеческим, одиночным опытом поделиться со всеми, кто хочет знать правду.

Не один я, тысячи людей прошли этапы Лиенц — Юденбург — Москва — Заполярье, но очень немногие вернулись к жизни в

свободный мир. Тот, кто вернулся — не смеет молчать, потому что его молчание будет являться как бы соучастием в бесчисленных преступлениях, совершенных власть имущими, недругами нашей Родины, России, внешними и внутренними. Он должен говорить от имени всех навеки умолкнувших.

Я навсегда запомнил завет, сказанный покойным Петром Николаевичем, в момент нашего прощания:

— Не старайся никого удивить красивым слогом. Не воображай себя писателем. Если вернешься туда, на свободу, говори, напиши правду. Только правду. Правду о коммунизме. Правду о народе. Старайся все запомнить, заметить, запечатлеть и передай будущим поколениям чистую истину о содеянном предательстве, об измене слову, о страданиях, через которые идет Россия.

Я прошу читателей принять мою книгу только как воспоминания простого человека, не ища в ней сенсаций, интригующих завязок, особо выдающихся героев. Она — отражение в капле слезы всего неизмеримого мучения, через которое проходит наш народ, а не моих личных переживаний и умствований. Единственным ее достоинством является искренность, которой я не пожертвовал в интересах каких-либо эффектов.

«Незабываемое» не должно послужить платформой для разжигания ненависти и жажды отмщения, но предупреждением всех о тех тяжелых и непоправимых последствиях, которыми чреваты договоры, подобные Ялтинскому, Тегеранскому и Потсдамскому.

Россия существует. Жив ее народ. Жив его дух. И когда она воспрянет — она примет в свои объятия всех тех своих детей, которые жаждали ее воскресения не для себя, а для нее и грядущих поколений.

Николай Краснов (Аргентина, 31 декабря 1956 года)

Ко 2-му изданию

Первое издание «Незабываемого» вышло летом 1957 года. Писал я свои воспоминания, так сказать, «по свежим следам», начиная с выдачи казаков английским командованием, как «военных преступников и изменников Родины», в руки контрразведки советской армии, и продолжая описанием жизни политических заключенных и лагерях СССР.

Будучи в 1955 г. последние месяцы перед освобождением, бесконвойным, я в своих наблюдениях немного захватил и «воли» в СССР. Из личного опыта и разговоров со своими товарищами, с охранниками, с вольными людьми я попытался дать более или менее правдивую картину жизни в СССР. Думаю, что это мне удалось, ибо прошло уже больше двух лет с момента появления в печати «Незабываемого», а я все еще получаю многочисленные письма со всех концов нашей планеты.

Читатели, как и рецензенты в газетах и журналах, разошлись в своем мнении: одни за «Незабываемое», другие против. Одни видят в нем правду об СССР, другие антизападную пропаганду. Одни считают мои суждения об эмиграции ошибочными, и даже для нее оскорбительными, а другие стараются доказать, что русский народ сам выбрал себе коммунистический режим и мои высказывания об интернациональном характере коммунизма, об ошибках западной политики являются копией самой настоящей коммунистической пропаганды.

Правда часто бывает горькой — с этим я согласен, но на правду каждый человек смотрит «со своей колокольни». Трудно, очень трудно, признать свои ошибки, еще труднее спокойно и логично писать о них. Трудно писать о тех людях, которые нанесли тебе не только физическую, но и душевную боль, и оставаться в границах правды, не «перешибая» в любую сторону. Если мне удалось это хоть частично, то я считаю, что поставленную перед собой задачу — написать правду, я выполнил. В книге много литературных и стилистических промахов. Во втором издании постараюсь их исправить.

Хочу добавить несколько слов в ответ тем, которые в своих письмах спрашивают: «Ну, а конец? Вы на свободе? А ваши где? Встретились?» Я вполне понимаю их вопросы. Так хочется каждому из нас услышать, после всего пережитого, о маленьком человеческом счастье. И я снова нашел свое счастье. Жена ждала меня долгих одиннадцать лет! Вспоминаю стих К.Симонова «Жди меня»: «Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой!»

Мы опять вместе, хотя и постарели, и жалуемся на ревматизм и боль в суставах перед дождем, но мы оба снова нашли маленькое «человеческое» счастье, о чем я так мечтал в далеких сибирских лагерях — о домашнем очаге не осталось неосуществленным, не осталось только мечтаниями, а стало действительностью.

А разве это уже не счастье?

Только маму мою не удалось повидать. Для нас, эмигрантов, получить въездную визу в любую страну представляет собою трудную задачу. Законы человеческие часто идут вразрез с законами Божескими. Мама моя так и не дождалась меня. Она скончалась в Нью-Йорке в марте 1958 года.

Н.Краснов (Аргентина, 1959 г.)

Отрывки из никогда не написанного дневника

Скрипит тяжело нагруженная сырыми стволами деревьев арба. Восемь рабов, одетых в лохмотья, напрягая последние силы, тянут телегу под крики и брань конвоиров, под бешеный лай сторожевых собак. Скользят, утопая в грязи, усталые, дрожащие от напряжения ноги, обмотанные тряпками. Лямка больно врезается в плечо. Лямка раба, заменяющего вьючный скот в «исправительно-трудовых лагерях» СССР.

Дыхание, как под давлением поршня, со свистом вырывается из легких. Кулаки крепко прижаты к груди, в тщетном усилии остановить это болезненное клокотание. Кажется, что вот-вот, от нечеловеческих усилий, со звоном струны лопнут все мускулы в жалком, иссушенном голодом теле.

Шаг за шагом. Изо дня в день. И в дождь и в мороз. Под ударами ветра или в черных облаках беспощадных москитов бредет колонна вьючных двуногих, запряженных в фуры, нагруженные углем или, как олово, тяжелым, сырым лесом. По восемь человек.

Лямка через израненное плечо. Шаг за шагом, изо дня в день.

Как я устал. Как мы все устали. Спать. Спать без пробуждений. Не чувствовать ни голода, ни холода. Спать так, как спят мертвые.

Смерть! Разве не в ней одной выход из этого ледяного ада? Как легко ей отдаться. Стоит только выйти из колонны, сорвать с себя вьючную лямку и броситься бежать. Пусть стреляют.

Потоки дождя заливаются за ворот ватного, насквозь промокшего бушлата. Потоки дождя сливаются с ушана, заслепляя глаза.

— Эй! Восьмерка! Давай — тяни! Еле ползете, как вошь по мокрому телу! Дава-ай! Орут конвоиры, озлобленные, остервенелые, уставшие «из-за нас» торчать на дожде.

«Восьмерка» людей, связанных упряжью, связанных до смерти судьбой, скользя, падая, рывками хватая влажный воздух по-рыбьи открытыми ртами, тянет, тянет, тянет груз, поклажу, для «строительства» ненавистного социализма.

Сотни, тысячи, миллионы восьмерок и шестерок надрывают свои силы в этом бессмысленном труде, как рабы во времена фараонов. Как рабы, возившие на фурах каменные глыбы для Хеопсовой и других пирамид.

Мы тоже строим. Под щелканье плетей, под лай собак, под

матерные окрики погонщиков рабов. Мы строим тюрьму. Тюрьму для русского народа. Тюрьму для всего податливого и слепого мира. Для всего человечества. Каждый кусок добытого угля, каждая фура добытых из земли минералов, каждый ствол дерева, каждый кирпич, каждая преждевременная могила. Поддерживают, укрепляют, поднимают тех, кто окружил себя Железным Занавесом. Идет этот строительный материал, плывет, направляется для стройки столпов всемирной каторги, для приманки, для торговли с теми, для кого деньги не пахнут, кто всегда готов торговать с каннибалами.

Шаг за шагом. Изо дня в день. Как муравьи, копошится по лагерям рабского труда закабаленная Русь. Как муравьи. Ведь и они имеют рабов, своими собратьями ослепленных тружеников, осужденных на вечный, слепой труд, на бесславную смерть.

Как муравьи, мы, осужденные сатанинским злом, дохнем от голода, падаем от бессилья, доходим, гаснем, как фитильки огарков, по шахтам, на прокладке путей, на лесоповале в лагерях МВД, разбросанных по СССР. Мы своими собственными руками строим ненавистный социализм.

Трещат сырые дрова в буржуйке. Едкий дым спирает дыхание и слезами заливает глаза. В бараке вонь, сырость и брань. Кто успел, пристроил свою одежонку к печке. Клубы пара валят от бушлатов, перелатанных штанов и душегреек. Счастливцы сидят начеку, не сводя слезящихся глаз со своих лохмотьев. Заснешь — не станет! Утром не в чем будет выйти на работу, а выйти надо. Хоть нагишом.

Большинство уже завалилось по нарам. Не раздеваясь. В мокрой одежде. Воспаление легких? Ревматизм? Да разве нам не все равно? Нет, не все равно.

Когда ночью не спишь, задыхаясь в пароксизмах лающего кашля, корчась от боли во всем теле или от сосущего голода, вдруг понимаешь, что не все равно! Понимаешь, что жить хочется! Чувствуешь, что жить надо.

А вдруг? Ведь может же случиться это «вдруг». Оно может стать действительностью, явью. Его нужно только хотеть, хотеть всем своим существом!

Стоит только крепко-крепко зажмурить глаза, заткнуть уши пальцами, чтобы не видеть, не слышать, оторваться и уйти из вонючего барака и тогда можно уйти в воспоминания, вызвать милый облик мамы, ласковый, любящий взгляд светлых глаз жены Лили. Можно нырнуть, как под одеяло, под покров прошлого, дорогого, незабываемого прошлого.

Как безнадежно, как горько, по-детски умеют плакать взрослые, возмужалые и даже престарелые люди. Как обильно во

мраке ночи льются эти слезы. Как горяча скрытая, тайная молитва. Как велик тот Крест, малюсенький, малюсенький, одними крепко сжатыми пальцами сотворенный под мокрой душегрейкой, над самым сердцем.

Мама! — шепчут губы. — Лиля!

Трудно встать утром. Трудно, выпив горячую воду вместо чая и проглотив кусок кирпича, называемого хлебом, идти на лямочную работу, но ночные мысли, вызвавшие почти до ощутимости милые лица, ночная молитва вливают моральную силу.

Жить надо! Жить должно!

Писать нельзя. Негде. Не на чем. Но я не смею забыть. Ведь я дал слово. Если доживу, если вернусь, я должен вспомнить все, начиная с Лиенца.

Шаг за шагом. Изо дня в день.

Но пусть лямка и дальше режет плечо. Пусть клокочет дыхание в груди. Пусть бьется сердце, как у затравленного зверя, и в дождь и в снег, под ударами ледяного ветра, в пургу, в мороз вьючное животное XX века будет мысленно писать свой дневник.

В Лиенце

Весна. Потоки солнечных лучей. Жужжание пчел. Щебетание птиц. Изумрудно-зеленые альпийские пастбища. Жизнь!

Но это весна 1945 года.

Как сегодня, помню мост через шумную Драву, чистенький, не пострадавший от войны городок Лиенц, опрятные домики, сады, красивую церковь — католический костел, и дом, в котором помещался штаб казачьих отрядов генерала Доманова.

Нам всем тогда казалось, что худшее уже осталось позади. Правда, война не кончилась освобождением России, к которому мы так стремились, для которого пожертвовали жизнью тысячи русских людей. Правда, неприятно было вспомнить последние месяцы пребывания в Северной Италии, поход в Австрию, для сдачи в плен англичанам.

Может быть, все было не так, как нам хотелось, но люди, пережившие много, не раз смотревшие в глаза смерти, даже в самом сознании, что война закончена, и что нам удалось избежать сдачи в плен итальянским ли партизанам или советским войскам, находили особую радость.

Кто из нас мог думать, что май, рыдавший грозами, май, смеявшийся розами, как поэтически декламировал один из моих сослуживцев по отряду — для многих из нас был последним маем нашей жизни.

Май 1945 года.

Ко времени отхода из Италии, казачьи отряды генерала Доманова утеряли свой подтянутый вид строевых частей. Винить в этом некого. Настоящих боевых операций не было. Разве не большие стычки и чистка партизан. Все время поступали «пополнения», присылавшиеся Доманову немцами, которые хотели как можно безболезненнее расстаться с «самообразовавшимися» частями. В то время, когда уже никто больше не сомневался в исходе войны, на всех узловых станциях, по всему тылу расползлись кем-то собранные отряды из бывших, советских военнопленных, из тех, кто еще на полях СССР перешел на сторону немцев. Разлад в дисциплину особенно вносили внезапно появившиеся и присоединенные к «домановским частям» кавказские «элементы», распущенная орда, прекрасно вооруженная автоматами, в немецких формах, говорившая на «семнадцати кавказских наречиях», прошедшая огонь, воду и медные трубы в дни усмирения знаменитого варшавского восстания.

Эти «бытовые недоразумения», как их кто-то остроумно

назвал, подорвали авторитет основных частей, так сказать, «костяк» казачьих отрядов генерала Доманова. Они занимались грабежом и бандитизмом на больших дорогах. Они насиловали женщин и жгли селения. Их безобразия бросали пятно и на тех, кто честно и по-солдатски пришел исполнять свой долг, на тех, кто шел бороться с коммунизмом и верил в победу разума над алчностью, верил в то, что победа западных союзников не будет являться концом борьбы за Россию.

Кроме «самообразовавшихся», отряды Доманова были буквально затоплены волной все прибывавших беженцев. Старики, женщины, дети, семьи эмигрантов и несчастные «остарбэйтеры», узнавая о месте пребывания русских частей, добирались до нас, преодолевая самые тяжкие искушения и испытания. Если к этому присоединить и семьи самих «домановцев», становится ясной картина того, что происходило в последние дни войны в Северной Италии, в частности в городке Толмеццо, где были расквартированы и мои юнкера инженерной школы, которой я тогда командовал.

Весть о капитуляции Германии заставила нас всех двинуться через границу в Обер Остеррейх, к Лиенцу. Переход прошел сравнительно безболезненно. Мы были встречены и частично разоружены английской дивизией, которая сама только что вступила на территорию Австрии.

К этому времени генерал Доманов назначил меня адъютантом к генералу Васильеву. Наши части расположились в Обердраубурге. Сразу же по прибытии на место, генерал Васильев, забрав меня и переводчицу Ротову, прекрасно знавшую английский язык, отправился в штаб английской дивизии.

Английский генерал не заставил нас ждать и принял, я сказал бы, очень милостиво. Он внимательно выслушал Ротову, переводившую слова генерала Васильева. От имени генерала Доманова и всех сдавшихся в плен частей отряда, Васильев просил считать нас английскими военнопленными. Он просил принять беженцев под английское королевское покровительство, для нас же, военных никаких поблажек, никакой милости, указывая на то, что мы все вполне уясняем себе положение пленных и побежденных.

Англичанин ласково улыбался, благосклонно покачивая седеющей, рыжеватой головой. Выслушав до конца, он попросил Ротову передать, что англичане умеют ценить и уважать противника, и что плохого они никогда военнопленным не сделают. Война окончена. Победитель и побежденный должны «перековать мечи в плуги» и стараться скорее построить мирную жизнь. В заключение, все так же улыбаясь, он попросил нас быть

его гостями на «ланче».

Ни у одного из нас ни на секунду не зародилось в голове недоверия к словам английского генерала. Как смели мы не поверить королевскому офицеру, занимавшему такое высокое положение. Радостные и окрыленные надеждами, мы вернулись в Обердраубург и сообщили обнадеживающую весть военным и беженцам.

Люди вздохнули. Люди почувствовали себя баловнями судьбы, зная, что многие наши соотечественники не успели выбраться из местностей, занятых советами. Их судьба была нам очевидна и ясна.

Помню отрывки разговоров между старыми эмигрантами и всегда недоверчивыми, всегда «начеку» бывшими подсоветскими. Как первые убеждали, с какой горячностью заверяли тех, кто много раз был обманут судьбой, обманут людьми, в том, что перед нами безусловно лежит спокойная жизнь обычных граждан — ну, скажем, эмигрантов на территории, занятой войсками великой цивилизованной монархической державы, связанной узами родства с нашей русской династией.

Помню и то скрытое, едва слышное шептание, что, если уж кому придется худо, то, конечно, не старым эмигрантам, приобретшим за двадцать пять лет скитальческой или оседлой жизни права гражданства в свободном мире.

Вспоминаются мне разговоры, которые велись между чинами отряда Доманова в те дни. Помню вопрошающие, ищущие заверения и успокоения глаза людей, пришедших к нам «оттуда». Плен у англичан, даже, проще говоря, плен у западников, не у нацистов, казался им в то время чем-то вроде выигрыша в большой лотерее. Помню их расспросы старых эмигрантов о том, на что мы можем надеяться.

Боже мой! Плен у англосаксов не может быть плохим, заверяли их. — Англичане — джентльмены. Мы имеем дело не с армией временщика Гитлера, а с офицерами Его Величества Короля. Английский офицер дает слово не от себя, не от своего имени, даже если он — фельдмаршал, он говорит от имени высшей, верховной власти. От имени Короны!

С какой жадностью простые люди прислушивались к таким заманчивым словам. Они не замечали в них напыщенности. Им так хотелось верить в то, чего они так желали. Мирной жизни. Спокойного труда. Семейности. Собственности.

В первые дни «почетного плена» можно было уйти. Часть и ушла. Ушли те, у кого было рыльце в пушку. Ушли семейные, которые знали, что тут, где-то поблизости, находятся их раньше вывезенные семьи. Ушли, может быть, некоторые холостяки,

чутьем, инстинктом предпочитавшие, чтобы «волка ноги кормили». Но это был такой маленький процент!

Остальные сидели и ждали у моря погоды. Среди них, как я писал, была и наша «благоразумная семья», верившая в человеческую справедливость, подчиняющуюся божеским законам. Мы были уже эмигрантами. Мы подготовляли других, бывших подсоветских, бывших военнопленных советской армии, бывших колхозников и рабочих, ставших сначала безличными «остами», а затем солдатами, боровшимися за «приобретение личности» — стать тоже эмигрантами, людьми, может быть, без подданства, без гражданства, но — людьми.

Страшное слово — «эмигрант». Человек без родины. Вечный груз, нежелательный элемент, обуза принявшего его государства. У эмигранта может быть семь пядей во лбу, но он, в понятиях законных детей любой земли, оставался «саль этранже», «фер-флухте ауслэндер». Но стать эмигрантом нашим подсоветским братьям казалось чем-то почти недосягаемо прекрасным. Заглядывая в наши глаза, ловя слова на лету, они буквально впитывали в себя рассказы о нашей жизни до второй мировой войны. Сначала не верили, затем ахали и, поверив, мечтали о подобном же счастье. Но в те дни все это было невозможно.

Мы радовались спокойному, хоть, может быть, и не в очень больших удобствах, сну. Ни бомбардировок, ни мин, ни налетов партизан. Люди расположились: кто в Обердраубурге, кто в Лиенце, кто в лагере Пеггец и в других вдоль того же шоссе расположенных лагерях.

Хозяйственность русских людей сразу же сказалась. Не чуя за собой вины, многие уже планировали разбивку маленьких огородиков, заведение хозяйства.

Шли дни. К нам приходили «ходоки» из других частей, от других отрядов. Бок-о-бок с нами в Лиенце жили сербские добровольцы — льотичевцы. Встречались сербские четники, стремившиеся в никому не известный итальянский город Пальма Нуова, в котором якобы их ожидал их молодой король Петр II. Мы узнали, что недалеко от нас расположены и тысячи казаков Корпуса генерала Хельмута фон Паннвица и Русский Корпус и батальон полка «Варяг» из Любляны. Доходили вести и о трагической судьбе некоторых частей РОА (власовцев).

Может быть, у многих из нас невольно щемило сердце. Казалась странной эта жизнь сдавшихся в плен военных вперемешку с беженцами. Жизнь более или менее свободная, по квартирам, баракам, сеновалам. Мы знали — питание людей и бесчисленного количества коней представляет невыносимое бремя для австрийского населения, и, в то же время, нас

победители как бы не замечали, не делили на козлищ и овец, не торопились решить в ту или иную сторону наш вопрос.

Генерал Доманов делал «вылазки» к англичанам. В сопровождении начальника штаба и переводчика, он часто посещал в Лиенце здание английской комендатуры и не всегда выходил из него со спокойным лицом. Вернее сказать, после каждого нового посещения он мрачнел, грузнел, как-то оседал, но ни с кем не делился своими мыслями. Почему?

Были ли какие-нибудь особые виды или планы у генерала Доманова? Знал ли он уже тогда о всей аморальности, всей преступности планов западных союзников? Не лучше ли было уже тогда сообщать хотя бы старшим офицерам о тех тучах, которые стали покрывать голубое небо доверчивости над нашими головами?

Как на фильме замедленного действия, перед моими глазами проходят майские дни 1945 года. Каждый человек — эгоист. Каждый по-своему эгоистично переживает чувство радости от сознания, что он уцелел, что он жив» что ему удалось сохранить свою семью. Так радовался и я тогда в Лиенце.

Мой отец Николай Николаевич, или «Колюн», как его звали родственники и сослуживцы по Лейб-казачьему полку, мама, моя жена, дядя Семен Николаевич, дед Петр Николаевич и бабушка Лидия Федоровна — мы все были вместе. Жили в разных домах в Лиенце, но виделись каждый день. Под конец войны нам удалось собраться всей семьей, и мне в то время это казалось добрым знаком. Мне казалось, что сейчас начнется моя настоящая семейная жизнь с горячо любимой женой, с родителями, стариками — родственниками, что мы заживем «кланом» Красновых, может быть, сядем на землю или уедем за океан, но, но всяком случае, никогда больше не будем расставаться, и более молодые помогут старшим мирно дожить их дни. И все же в моем оптимизме порой стали наступать какие-то прорывы, когда я внезапно поддавался приступам предчувствия, говорившего мне, что не все еще окончено, и что рано де строить планы на будущее.

Просыпаясь ночью, как бы от какого-то толчка, я вглядывался в дорогие черты лица тихо спящей жены. Мне почему-то хотелось запечатлеть, запомнить навсегда ее улыбку, цвет ее глаз, манеру немного поднимать бровь, тембр голоса, звук ее смеха. Последние дни я с особой радостью навещал отца. Мне нравилось, взяв его под руку, прохаживаться с ним взад и вперед, рассуждая о положении, о возможностях, о том, что мы должны были сделать и не сделали, говорить, как равный с равным, как солдат с солдатом. Я как-то особенно, по-детски тянулся к матери. Я не пропускал возможности побывать у деда, пошутить с бабушкой.

Задумываясь на момент, я решал, что мне хочется наверстать все, до сих пор упущенное. Я не знал, что я забегал вперед, подсознательно стремясь вырвать у судьбы то, что она отняла у меня в будущем.

Я сегодня вспоминаю ласковое брюзжанье деда, подмечавшего во мне какие-то приступы легкой меланхолии. Он верил в скорое разрешение всех вопросов и безапелляционно, по-офицерски, абсолютно верил в благородство и справедливость англичан.

Моя настороженность отчасти оправдывалась и объяснялась некоторыми событиями последних дней.

Как я уже писал, сам процесс сдачи прошел почти безболезненно. Оружие сдавалось спокойно. Не торопясь. Офицерам были оставлены револьверы и известное количество винтовок для проведения «самоохраны». Однако, внезапно пришел приказ сдать все огнестрельное оружие. Ясно, что мы делали это очень неохотно, и те, у кого было по два пистолета, оставляли один у себя.

Полное разоружение вызвало много толков. Раздавались голоса, предлагавшие дать команду «разойдись» — Кто его знает, что нас ожидает, — говорили они подозрительно. Но «благоразумные», в том числе и наша семья, протестовали, считая, что мы не смеем подорвать оказанное нам доверие, что мы живем лучше, чем полагается жить военнопленным. Нас не разлучают с семьями. Нас не держат за проволокой, и мы обязаны ответить такой же лояльностью, чтобы подчеркнуть англичанам, с кем они имеют дело.

Для меня все «началось» 26 мая. Вечером, после скромного обеда, я пошел с женой прогуляться, думая по дороге навестить «стариков», узнать «последние новости».

Форму я не снимал. Не «демонтировал» всех значков и отличий, и, возможно, выправкой и аккуратной одеждой я бросался в глаза. Гуляя, мы дошли до моста и находились вблизи английского штаба. Совершенно неожиданно ко мне подошел английский сержант и попросил меня последовать за ним.

— Ду коммен! — Ты идти! — сказал он на ломаном немецком языке.

— Ду коммен мит! — Ты идти вместе.

— Варум? — изумился я. Я чувствовал, как ногти жены впиваются в судорожном предостерегающем пожатии в мышцу моей руки.

Англичанин добродушно улыбнулся от уха до уха и развел руками.

— Ордер!

Я попросил жену подождать и пошел с сержантом в большое желтое здание, Оставив меня в коридоре совершенно одного, сержант ушел. Прошло минут пятнадцать томительного ожидания. Через окно я видел мост и за ним нервно ходящую взад и вперед жену.

Наконец, появился сержант, сопровождая пожилого английского офицера. Сержант пробовал что-то сказать, но офицер прервал его и прошел мимо меня как мимо пустого места. Я отдал честь, как офицер офицеру. Бритт не удостоил меня даже простым кивком головы.

— Ду фраи (ты свободен) — смущенно сказал сержант.

— Почему вы меня сюда привели? — все же хотелось мне знать.

— Нике ферштэен, — быстро ответил он, прибавив: Го! — и указал рукой на дверь.

Прогулка была испорчена. Мы вернулись домой. Жена долго молчала, но, не выдержав, расплакалась и стала просить меня переодеться в штатское, бросить все вещи и уехать, куда глаза глядят.

У нас были еще не аннулированные югославские паспорта. Мы могли уехать в Зальцбург, в Мюнхен и оттуда, получив визу, к знакомым в Швейцарию. Я остался непоколебим.

Ничего плохого это английское «приглашение» не означало. Меня просто приняли за какого-то другого, вероятно, за немецкого офицера. Переодеваться в штатское и бежать я считаю ниже своего достоинства, и такой поступок не отвечает понятию о чести офицера, пленного офицера. Кроме того, я не мог бросить своих юнкеров инженерного взвода. Я все еще адъютант генерала Васильева и буду ждать приказа о демобилизации или другого решения, одинакового для всех нас, чинов отряда генерала Доманова. Если нас распустят, я буду считать себя вправе выбрать свою дорогу.

Этой ночью мы не сомкнули глаз. О многом было переговорено, высказывались многие предположения. Я опять напомнил жене о посещении командующего английской дивизией и об его офицерском слове. В общем, я решил, что утро вечера мудренее. Завтра что-нибудь узнаем. Действительно, следующее утро было, увы, очень «мудреным».

В 1955 году я встретился в лагерях Караганды (Казахстан) с личным адъютантом генерала Доманова, капитаном Бутлеровым, которому посчастливилось избежать более трагической участи. Из разговора с ним кое-что из совершившегося в Лиенце стало мне более или менее ясным.

Капитан Бутлеров сказал мне, что «какие-то туманные,

угрожающие слухи об уготовленной всем нам участи» доходили до генерала Доманова, но, не доверяя переводчикам, затрудняясь разобраться во всем происходящем, генерал предпочитал задержать сведения при себе, строго приказав переводчикам и адъютанту молчать.

Доманов предполагал или хотел верить, что только маленькие бесчинства «семнадцати кавказских народностей» и других головорезов, несколько раз имевшие место и на австрийской территории после сдачи в плен, послужили причиной окончательного разоружения. Распространение же среди военных и беженцев непроверенных или неясных слухов, по мнению генерала Доманова, могло привести к повальному бегству, распылению десятков тысяч людей, что, конечно, внесло бы сумятицу и послужило бы поводом для острых репрессий со стороны английского командования.

Если старые генералы из эмигрантов верили в безупречность слова английского генерала, то, по словам Бутлерова, в него верил или хотел верить бывший советский офицер Доманов. У него было развито чувство уважения к западным победителям и, как показали впоследствии все события, он предпочел взять тяжкий грех на свою душу и хранить молчание.

Вечером 27 мая 1945 года Доманова посетил майор английского генерального штаба Дэвис в сопровождении адъютанта и попросил генерала передать всем офицерам его отряда, чтобы они безусловно собрались к 1 часу дня 28 мая в определенных местах своего пребывания и были готовы отправиться на английских автомашинах на совещание к командующему восьмой английской армией, а возможно и для встречи с фельдмаршалом Александером, который якобы хочет «поговорить» с русскими офицерами.

По словам Бутлерова, он задал вопрос: почему всех офицеров? Ведь речь идет о приблизительно двух тысячах человек. Такую массу трудно будет перебросить на эту конференцию. Не лучше ли собрать только командиров полков, батальонов и отдельных частей?

— Нет! — Категорически ответил майор Дэвис. — Не беспокоитесь о транспорте. Это наше дело. Командующий армией приказал провести конференцию со всеми офицерами без разницы в чинах. И пожалуйста, не забудьте предупредить генерала Краснова. Командующий очень заинтересован встречей с ним.

Уже уходя, Дэвис, как бы спохватившись, передал еще одну просьбу командующего армией:

— Не тревожьте офицеров сегодня вечером. Передайте

приглашение только завтра утром. Сами понимаете, такая встреча. Господа офицеры могут взволноваться оказываемой им особой честью. Это потревожит их сон. Примите, однако, и эту просьбу, как приказание!

Англичане откозыряли и отбыли.

Несмотря на то, что генерал Соламахин был начальником штаба, при этом разговоре он почему-то не присутствовал.

Никто тогда, или почти никто, не мог оценить особый английский «сухой юмор» и верх цинизма майора Дэвиса и его начальников.

Генерал Доманов и Бутлеров не ложились спать в ту ночь. Всевозможные мысли и предположения приходили им в головы, рассказывал мне последний. Не смея ослушаться, они утром разослали нарочных и сообщили о приглашении на конференцию по линии поставленных нами полевых телефонов. Экстренно поехали за Петром Николаевичем, который находился при частях Доманова как бы на беженском положении. Ему в то время было уже 76 лет. Глаза и ноги сильно сдали, и он не занимал никакого военного поста.

Появление нарочных и сообщение о конференции вызвали сильное волнение. Мы, офицеры, приняли это, как известный вызов судьбы, но все же не предполагали, на какую беспримерную подлость и предательство способно английское командование, и какого верного исполнителя дьявольской уловки оно нашло в майоре Дэвисе, чье имя останется незабываемым, пока живы русские люди.

Бабушка Лидия Федоровна, привыкшая в течение всей жизни с Петром Николаевичем принимать все события и смотреть на них его глазами, впервые не была согласна с его доверчивостью. Она только сгорбилась и сжалась, возражать или отговаривать не смея. Но мать и жена бросились к папе и ко мне, умоляя ни в коем случае не ехать на это совещание.

— К чему? — говорили они. — Пусть едет, кто хочет. Оставайтесь. Пусть вам другие расскажут, как там было!

К положенному времени мы все собрались у штаба. В 11.45 часов дня 28 мая с площади города Лиенца отбыла легковая машина с дедом Петром Николаевичем и его сопровождением. Вслед за ним отбыли другой машиной генерал Доманов, капитан Бутлеров и ординарец — офицер. Ровно в час дня к штабу подошел большой английский автобус. Им управлял шофер — английский офицер. Сопровождающих не было. Он попросил штабных офицеров занять места в машине.

Ожидая погрузки, я все время старался шутить с матерью и женой. Мне очень хотелось вызвать хоть на мгновение улыбку на

лицах мамы и Лили. Я старался их развеселить и, целуя обеих перед дверями автобуса, я пожаловался, что не успел плотно пообедать и поэтому прошу их поджарить мне к ужину большую в «шесть глаз» яичницу, считая, что на длинном совещании я успею проголодаться.

Одиннадцать долгих лет я ожидал эту яичницу.

Без толкотни и не торопясь, как полагается офицерам, расселись мы в автобусе. Английский офицер вошел последним, приветливо улыбнулся, махнул женщинам, стоявшим перед штабом, и захлопнул двери.

Думали ли мы, что в этот момент перевернулась страница нашей жизни, началась новая, полная страданий глава; что в этот момент захлопнулась дверь, отделившая нас на долгие годы, а некоторых даже навсегда, от свободы.

Заработал мотор. Я сидел у окна и не спускал взгляда с лица жены. Почему ее милые глаза полны слез думал я. — Расстаемся только на несколько часов. Ведь не впервые же!

Автобус тронулся. Слова прощания, заглушенные работой машины, как стон, отозвались в душе. Машина вышла из города. Проезжаем Пеггец, а затем другие лагеря, в которых размещены войска и беженцы. Мы идем в голове быстро формирующейся колонны. От каждого лагеря отходят грузовые автомобили, полные офицеров. Их все больше и больше. Когда мы вышли на свободное шоссе, наш поезд состоял уже из 40–50 машин. На грузовиках — по паре английских солдат с автоматами. Почетный эскорт?

Не сбавляя хода, проезжаем километров пятнадцать. Равняемся с перекрестком у опушки леса. Круто останавливаемся. Из окон нашего автобуса — головной машины, мы первые замечаем появление вестников начинающейся трагедии. Из леса медленно, как тараканы, топая гусеницами, поползли английские танки, бронированные автомобили и моторизованная пехота. Впереди несколько офицеров на джипе.

Первый танк вполз на шоссе и стал во главе колонны, повернув дуло тяжелого пулемета в нашем направлении. Сигнал — и мы двинулись очень медленно вперед, давая место легким танкам врезаться между грузовиками, полными «гостей английского фельдмаршала».

Сформировалась новая линия колонны. Три — четыре грузовика, английский танк или броневик. Как осы, роем окружили нас мотоциклисты, вооруженные автоматами.

В нашем автобусе многие повскакивали с мест.

— В чем дело? Вас ист лос?

Наш шофер повернул к нам мило улыбающееся лицо и на

плохом немецком языке объяснил, что «никс ист лос», ничего такого не произошло, что дало бы нам повод волноваться. Мы ведь военнопленные и должны подчиняться распоряжениям английского командования. Нас везут в лагерь около города Шпитталь ан дёр Драу, а оттуда в Виллах, где и состоится конференция.

— Но почему же танки? Зачем вооруженный конвой?

— На всякий случай. В лесах все еще блуждают вооруженные отряды немецких «Эс-Эс». Они могут напасть на колонну.

Спорить с англичанином не приходилось, но мы никак не могли понять, причем тут «эсэсовцы» и зачем им нападать на колонну. Машины полны офицеров, одетых в немецкие формы. Или англичане боятся, что «фрицы» будут нас «освобождать»? К чему и для чего?

— Тут что-то не то. — шептали возбужденные офицеры. — Смотрите, как пулеметчик с танка следит за движением в нашем автобусе. В случае чего, сигнал нашего шофера, и очередь по машине неминуема.

Как бы в подтверждение этих слов, не поворачивая к нам головы, англичанин сказал:

— Джентльмены не вскакивайте с мест! Тон сухой. Улыбка исчезла. В голосе затаенная угроза. Атмосфера сгущается. У всех насупленные лица. Кто-то первый вслух произнес жуткое слово: Предательство!

Не хочется верить. Как от надоедливой мухи, отмахиваемся от своих собственных мыслей. Зачем сразу же предполагать измену? Мы пленные. Воевали, боролись с оружием в руках на противоположной стороне. Пора нести последствия. К расчету стройся! Почему англичане должны делать разницу между нами и немцами? Те же сядут за проволоку. Посадят и нас. Довольно кайфовали на полубеженском положении. В лагерях разберутся, кто из нас прав, кто виноват. Пропустят через сито военно-следственного аппарата, отделят военных преступников, если есть такие, а нас демобилизуют и отпустят к семьям. Так мы думали. Вернее, так нам хотелось думать. Из раздумий меня вырвал неожиданный маневр идущего впереди танка. Он вильнул в сторону и ускорил ход, обходя и включая в нашу колонну автомобиль генерала Доманова. Его конвоировали вооруженные мотоциклисты. Вид солдат был далеко не добродушный. Это не был почетный эскорт высоких пленников. Нет! Далеко нет!

Сердце учащенно билось. Кровь пульсировала в висках. Становилось жарко и душно. Тревожно напрашивался вопрос: а где же дед? Где его машина?

Перед нами вилась, слепя глаза белизной, совершенно пустая

дорога. Ни встречных, ни обгоняющих машин. Часто мелькают в глазах рогатки с английскими солдатами. На горизонте начинает вырисовываться город Шпитталь. Драва. Мосты. Справа и слева высокие, поросшие густым черноватым лесом, горы. Мы уже более двух часов в дороге.

Невдалеке от города, подъезжаем к длинной изгороди из колючей проволоки. Грязные бараки, очевидно, остаток немецкого лагеря для военнопленных. Вышки. У изгороди, на небольшом расстоянии друг от друга, английские часовые. Плен? Настоящий плен?

Въезжаем через широкие ворота в черту лагеря. Машины стоп. Команда: слезай!

За первой линией проволочной ограды существует и вторая, отделяющая внутреннюю зону от внешней. Нас построили и произвели поверхностный обыск. Ловко и привычно скользнули руки английских солдат по груди, спине, между ногами. Ищут оружие. После обыска по одному пропускают во внутреннюю зону и приказывают разместиться по баракам по своему усмотрению. В толпе офицеров, к своей великой радости, я сразу же нашел деда, дядю и отца. Дед бодрился. Подходя, я услышал конец его фразы:

— В это я не верю, не обращайте внимания на паникерские слухи. Этого следовало ожидать. Последствия войны и наших действий.

Заметив меня, дед положил руку на мое плечо, белую мягкую старческую руку в синих жилках и с желтоватыми пятнышками. Ласковые стариковские глаза остановились на мне.

— Так что, все сегодня же на конференции выяснится и образуется. Не правда ли, Николай? Отец и дядя хмуро отвернулись.

Через переводчиков нам было приказано срочно составить поименные списки прибывших с точным указанием чинов и частей, в которых служили. Перед бараками нагромоздили ящики с консервами, бисквитами и папиросами, предлагая разбирать.

— Фельдмаршальский обед! — мрачно сказал Семен Николаевич.

Мы все разместились по барачным комнатам. Красновы кланом поместились вместе. Разговор не клеился. Избегали встречаться глазами. Казалось, что даже близкий и родной, прочтя мысли и страхи, не поймет и осудит за малодушие.

Дед интересовался, где находится генерал Доманов. Отвечали, что он ушел вместе с генералом Тихоцким и капитаном Бутлеровым к англичанам.

Поздно вечером в наше помещение буквально ворвался Доманов. У него ходуном ходили щеки, дрожали губы. На его

плечах больше не было погон, которые он сам снял, несмотря на категорическую просьбу деда, обращенную ко всем офицерам.

— Петр Николаевич, дорогой! — всхлипывая, вскричал он. — Завтра утром нас всех отправляют в Юденбург, и там произойдет поголовная выдача советам.

Дед встал с койки и, опираясь на палку, сделал несколько шагов по направлению к Доманову.

— Откуда вам это стало известно? Может быть, вы не поняли, может быть, вы ошибаетесь. Ведь это же предательство, ложь, обман!

— Ошибки быть не может. Мне это еще раз в весьма твердой и определенной форме сообщили англичане, сейчас, за ужином.

Я встретился взглядом с отцом. Сейчас? За ужином? Еще раз сообщили? Значит, Доманов знал об этом и раньше. Почему же он молчал? Почему? Где и когда ему было сообщено впервые? В Лиенце? По дороге? Подлец! Он не имел права скрывать это страшное известие от офицеров. Он должен был их предупредить, подготовить! Он мог открыться хотя бы перед старейшим офицером, Георгиевским Кавалером Петром Красновым. Первый вспылил дядя Семен.

— Значит, вы знали об этом заранее? — вскричал он, побагровев. — Вы преступник, Доманов!

Дед, стоявший с совершенно окаменелым лицом, повернулся к Семену и тихо, но твердо сказал:

— Возьми себя в руки, Семен! И, обращаясь к трясущемуся Доманову, продолжил:

— Сняв голову, по волосам не плачут. Необходимо действовать. Сейчас же. Сию минуту. На карту поставлены не моя и ваша жизни, а судьба почти двух тысяч офицеров. За нами последуют и солдаты. Мы должны немедленно составить петицию на имя Его Королевского Величества Георга Английского. Мы должны послать подобное же обращение Международному Красному Кресту. Они обязаны разобраться в вине или невиновности русских людей, служивших под немецкими знаменами. Они должны понять причины, заставившие нас пойти на этот шаг. Если среди нас находятся люди, совершившие преступления против человеческих и Божеских законов, пусть их судит специальный военный суд. Но огулом, каждого.

Петиция была составлена Петром Николаевичем на французском языке, подписана им и другими офицерами. Петр Николаевич предлагал, чтобы его первого судили, старого офицера русской Императорской Армии. Если его признают виновным, он покорится решению суда. Он брал на свою ответственность и под свое честное слово не только тех, кто из

рядов эмиграции или по призыву попал в немецкие части, не только тех, кто был рожден в Германии или в зарубежье, но всех тех, кто открыто и честно боролся против коммунизма и в прошлом были советскими гражданами.

«Я прошу» — писал дед — «во имя справедливости, во имя человечности, во имя Всемогущего Бога!»

Через капитана Бутлерова был вызван офицер из состава английского конвоя. Английский майор взял петиции, повертел их в руках, пообещал дать им ход, отправить в Лондон и Женеву, но, позевывая, прибавил, что он очень сомневается в успехе. Срок чересчур короткий. Утро уже не за горами.

Лагерь не спал. Никто не ложился. По баракам ходили офицеры, советуясь, договариваясь, возмущаясь. Страшная весть сразу же облетела весь лагерь. Всем стало ясно, на какую «конференцию» пригласил нас пресловутый Дэвис.

Возникали и росли самые невероятные слухи, но доходили и правдивые вести. Каким-то чудом, нам говорили, по югославскому паспорту освободился и был выпущен из лагеря Кучук Улагай. Повесился Тарусский и еще один, нам неизвестный, бывший советский офицер. Последнего вынули из петли и вернули к жизни.

Под окнами бараков проходили английские патрули. Мы потушили свет и тихо разговаривали. Темноту то и дело прорезали лучи английских прожекторов с танков, тихо ползавших по зоне. Прицел их бдительных орудий и пулеметов — на наши бараки.

О чем мы говорили в ту ночь, ясно не помню. Отрывочные короткие фразы. Незаконченные мысли. Я не помню, выражали ли мы какие-нибудь сомнения. Высказывали ли надежды. Меньше всего говорил Петр Николаевич. Он сидел у единственного стола, опершись подбородком на набалдашник палки. Маститая молчаливая фигура силуэтом выделялась на фоне окна. Убеленный сединами. Умудренный опытом. Человек, честно проживший почти восемь десятков лет. Солдат. Казак. Русский патриот. Талантливый писатель, отдавший свое дарование на алтарь служения Правде и Родине.

Вероятно, по молодости лет у меня в груди бушевала буря. В голове роились самые фантастические жуткие мысли.

Шаги в коридоре. Кто-то стучится в нашу дверь. Просовывается голова.

— Петр Николаевич! — шепчет этот «кто-то».

— Может быть, составим быстренько списки белых эмигрантов? Отделим овец от козлищ, а? Может быть, тогда нас отпустят?

Дед не отвечает. Голова исчезает. Дверь медленно закрывается.

При первых лучах солнца все офицеры выходят из бараков. Военный священник, прибывший вместе с нами, служит молебен. Тысячи людей поют «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Отче наш».

Тысячи людей опустились на колени. Поникли русые, седые, темные головы. Мелькают руки, творящие крестное знамение.

Подай Господи! Помилуй Господи!

Кружат по лагерю, как заведенные игрушки, английские танки. Подняты крышки башен, и на молящихся русских людей с нескрываемым любопытством смотрят на редкость кучерявые черноглазые английские солдаты. Они зубоскалят и что-то кричат, над чем-то смеются.

Целыми пирамидами стоят ящики с консервами и бисквитами, до которых не дотронулись наши офицеры. Единственный, кто отведал английского угощения, был генерал Доманов, приглашенный «на ужин» к англичанам. Он и его сопровождавшие.

Молебен кончен. Встаем с колен, пилотками отряхивая пыль с брюк. В душе, под впечатлением молитвы, загорелся малюсенький огонек надежды. Ведь может же случиться чудо. Говорят, что жена фельдмаршала Александера русская. Может быть, она заступится? А цивилизованный мир? А международные конвенции о защите и правах военнопленных? Мы ведь не разбойники. Мы борцы за идею, которую должен воспринять весь свободный мир. Мы солдаты, а не партийцы. Мы сдались с оружием в руках, не прятались, не скрывались, не снимали с себя формы, не срывали значков.

Так мы думали.

В толпе я потерял связь со своими. Пробую пробраться к бараку. За мной чей-то голос с искренней тоской говорит: — Эх, не охота помирать как куренку. Без оружия в руках.

Поворачиваюсь. Небольшого роста лейтенант. Казачок из «потусторонних», из Советского Союза, где-то в плавнях Кубани перешедший на сторону немцев. Как он угадал мои мысли, этот всегда веселый балагур. Его лицо кривится, стараясь выдавить подобие улыбки. Несмотря на загар, его лицо бледно, а в зрачках притаилась смерть.

Восемь часов утра. Иду к бараку. Вдруг крик из нескольких сотен горл остановил меня. Смотрю и не верю своим глазам. К проволочной ограде внутренней зоны бодрым шагом подходят английские солдаты. Винтовки со штыками на перевес. Командир роты открывает ворота. В зоне гудят приготовленные машины.

Воздух начинает потрясать не крик, а рев толпы.

— Стреляйте! Не пойдем живыми на выдачу!

Священник высоко поднял крест. Он блестит под лучами утреннего солнца, как символ милосердия и человеколюбия. Блеск слепит мои глаза, но я не могу оторвать от креста взгляда.

Англичане врываются в толпу. В воздухе мелькают резиновые палки. Слышны глухие удары по плечам, спинам, по головам.

Я не знаю, кто дал команду начать избиение. Утонув в безмолвном созерцании креста и в молитве, я на момент как бы ушел в себя. Но где же теперь крест? Распятие одним ударом резиновой палки выбито из рук священника. Кругом крики, стоны, мольбы и проклятия.

Я и сегодня невольно содрогаюсь, вспоминая утро 29 мая 1945 года.

Между нами юлят переводчики. Они передают приказания офицера, заведовавшего погрузкой.

— Паны должны лезть в машины. Если не пойдут добровольно, против панов будет применена сила и огнестрельное оружие! — картаво, то с польским, то с галицийским акцентом кричали, надрываясь, «толмачи».

Под градом ударов палками и прикладами нагрузили первую машину. Как в каком-то водовороте человеческих тел, вертясь вокруг своей оси, спотыкаясь и почти падая, я стремлюсь к автобусу, в который, как мне показалось, был воткнут мой отец.

Передо мной англичанин. Его винтовка штыком направлена вперед.

— Это смерть — кричу я сам себе и с каким-то восторгом бросаюсь грудью на штык.

Ловкий прием винтовкой, и приклад тяжело, наотмашь, опускается на мое плечо. Невольно ахаю. В глазах темнеет от боли. С трудом удается удержать равновесие и не упасть к ногам победителя. Кто-то сзади подхватывает меня и впихивает в дверцу автобуса.

Окидываю взглядом зону. Кругом, как на ярмарке, копошится, волнуется толпа. Крики и стоны не прекращаются. Какое-то месиво из людей, одетых в офицерские формы. Мелькают все чаще палки и приклады.

Медленно, опираясь на палку, к нашему автобусу идет мой старый дед. Низко опустил он голову. Сгорбился. Сердцем чувствую, что он переживает. В нем сейчас рушится весь мир, погребая под руинами уважение к офицерам, к армии великой владычицы морей — английской монархии.

Сопротивление сломлено. Подгоняемые окриками и ударами, люди заполняют машины. Не успевает одна заполниться, как ее окружают осы — мотоциклетчики, подталкивают танки и выводят

на дорогу.

Опять шоссе. Танки. Автобусы. Броневики. Грузовики. Лихо разворачиваясь, как ковбои на мустангах, объезжают колонну солдаты на мотоциклетках у каждого на груди автомат. У каждого около пояса ручные гранаты.

Я все еще в оцепенении, из которого меня заставляет вырваться какой-то размеренный шум. Всматриваюсь. По полу автобуса с грохотом катаются банки с консервированным молоком, предупредительно заброшенные конвоем.

Улыбается солнце. Весна. Как эмалированный таз, ярко голубеет без единого облачка небо. Около окон автобуса вьются парочками белые мотыльки-капустницы. Леса. Ярко зеленые пашни, засеянные молодым клевером. Мосты. Драва. Объезжаем стороной город Виллах.

У дверей нашего автобуса, опершись на них спиной, стоят два молодых английских солдата. Они зубоскалят и переговариваются, ни на минуту не спуская глаз с наших спин, не выпуская из рук автоматов наготове.

Едем долго. Молчим. О чем разговаривать? В каждом из нас рухнул его внутренний мир. Смотрю в окно и вижу, что наш путь лежит не по главным дорогам, не через города. Только небольшие селения, разбросанные австрийские домики задерживают на момент взгляд. Глаза устали и, крепко закрыв веки, стараюсь не думать, не терзать себя упреками.

Отец больно толкнул меня в бок локтем. Смотрю: подъезжаем к какому-то городу. Мелькает доска с надписью. Юденбург. Мы у цели. Подъезжаем к каменному мосту. Машины замедляют ход, разворачиваются и, наконец, останавливаются. Этот мост как бы символизирует переход через Рубикон. Он навис над каменным корытом реки Мур, теперь почему-то обмелевшей, похожей на веселый ручей, серебрящийся и играющий между острыми зубцами дна.

По эту сторону моста — английский солдат, жующий яблоко. По ту — советский. По эту сторону моста — жизнь. Свобода. По ту — неизвестность и, скорее всего, смерть.

Из одинокой небольшой фабричной трубы черный дым принимает причудливые формы под дуновением бриза. Он напоминает вопросительный, знак, повисший на востоке.

Из машин выскакивают конвоиры. Они кричат «гуд бай» и машут нам руками. Около грузовиков идет какая-то возня. Всматриваюсь и вижу, что английские солдаты окружили пленников и предлагают им папиросы за часы, кольца и другие ценности. Некоторые из наших, по доверчивости и оптимизму, взяли с собой на «конференцию» фотографические аппараты в

надежде заснять самого фельдмаршала.

По какой-то странной случайности все англичане говорят по-польски. Они горланят, дергают наших за рукава и заверяют, то в могилу они вещи с собой не унесут, а папироску выкурить успеют. Торгаши отличались особым цинизмом. Желая объяснить, что ожидает несчастных, они подносили к виску указательный палец, отчетливо щелкая средним и большим. Песенка, мол, ваша спета, чего там валандаться!

Томительное ожидание кончается. Первый грузовик медленно вползает на мост. Вдруг в воздухе мелькает чье-то тело. Слышен не то стон, не то крик. Тупой удар о каменное дно реки. Тишина.

Ползет второй грузовик. Англичане насторожились. Насторожился и часовой по ту сторону, но опять прыжок, мелькание тела в воздухе. Опять тупой удар и тишина.

С советской стороны, навстречу, бегут солдаты и офицер, но опять прыжок.

Оставляя наш автобус, конвоиры защелкнули замок дверей. Из автобуса не выскочить. Пока мы медленно проезжаем через мост, смотрю вниз. Тел не видно, но струйки воды, пробегающей между острыми камнями, окрашены кровью.

— Счастливые. — шепчет кто-то за мной.

— Счастливые. — искренне повторяю я.

А солнце над миром, наслаждающимся концом войны, светило по-прежнему. По-прежнему, по-обычному где-то кукарекал петух, в навозной куче, по ту сторону моста, хлопотливо копошились веселые дерзкие воробьи, и высоко в небе парил, широко раскрыв недвижимые крылья, горный альпийский орел.

Почему человек, даже идя в неизвестность, к смерти, запоминает такие мелочи и запоминает их на всю оставшуюся жизнь?

Как часто в течение почти одиннадцати лет каторги за Железным Занавесом я во сне или в часы непосильной работы вспоминал, видел, действительно, видел горбатый юденбургский мост, багровую воду речонки, воробьев, возившихся в конском навозе, голубизну неба и свободного одинокого орла.

Вероятно, потому, что это были мои последние впечатления от свободного, по-своему счастливого и беспечного мира.

Мост кончился. Шлагбаум. Он медленно поднимается, и мы вкатываемся в зону советской оккупации. Выдача произведена. Возврата нет.

— Крышка! — криво улыбаясь, говорит отец.

— Гроб с черной лентой! — хрипло пробует сострить кто-то.

Эти слова повисли в воздухе, не находя отклика. Смеяться было не над чем.

К дверке нашего автобуса подходит военный в защитной куртке. Фуражка с алым околышем. Двери распахиваются. Врывается шум. Где-то звенит гармошка русского солдата. «Жди меня» разливается переборами. Какая ирония!

— Жди меня! — шепчу, сам того почти не замечая. — Жди меня!

Юденбург и дальше

Я поторопился подойти к деду и помочь ему выйти из автобуса. Старик крепко оперся на секунду на мою руку, как бы желая подтвердить нашу близость, но затем отвел ее и пошел сам, не желая подчеркнуть свою старость и усталость.

Мы шли между шпалерами вооруженных винтовками солдат. Они огораживали от нас соблазнительно короткое расстояние к реке. Наш путь вел нас к большому пустому зданию. Оказалось, к сталелитейному заводу. Справа стояла группа советских офицеров. Я слабо разбирался в форме советчиков. Вероятно, это были офицеры МВД, а, может быть, пограничники, мало в чем различавшееся в профессии от первых.

О прибытии П.Н.Краснова советское командование было заранее оповещено. Не успели мы поравняться с группой, из нее выделилось два штаб-офицера и подошли к нам. Один из них наигранно веселым тоном спросил:

— Кто в этой группе генерал Петр Краснов? Дед с большим достоинством громко ответил: — Я генерал Петр Краснов.

— Прошу Вас и членов Вашей семьи следовать за нами, господин генерал.

Мы слышали, как выкликали других, и по дороге нас догнали генерал Шкуро, присоединявшийся к нам еще в Шпиттале, генерал Васильев, генерал Соламахин, генерал Головко, генерал Доманов и адъютант деда полковник Моргунов. Может быть, нас в этой группе было и больше, но сегодня я не могу восстановить в памяти во всех подробностях момент первой встречи с советчиками.

Я больше не волновался. Даже не переживал. Просто окаменел, и у меня было только одно желание, одна мысль: ни в коем случае не расставаться с родными. Быть около деда, не спускать глаз с отца, и в случае чего, телом защищать их.

Подвели к столам. Залихватско-писарского вида офицеры записывали наши фамилии, чины и даты рождения. Ни одного грубого слова от офицеров мы не слышали, однако со мной произошел знаменательный случай. Как только я отошел от регистрационного стола, ко мне подошел молодой солдат. Очевидно, он заметил на моей руке часы, подарок матери.

— Слушай, паря, — сказал он мне, — отдай часы, все равно тебя шлепнут, для чаго упокойнику часы?!

Грубость ли обращения или сформировавшаяся в голове мысль о нашем конце подействовали на меня, не знаю, но я покорно снял часы и протянул их нахалу. Он взял их, не торопясь

рассмотрел, сунул в карман и медленно, вразвалку пошел из цеха.

Я более чем уверен, что советские офицеры отлично видели эту сценку, но ни один из них не пошевелил пальцем, чтобы отогнать и подтянуть мародера.

Сколько раз, мысленно начиная свой дневник, заполняя воспоминаниями невидимые страницы, я отчаивался, чувствуя, что, может быть, много очень важного, очень существенного ускользнуло от моего взора, или слуха, прошло незамеченным и кануло в забвение.

В первые дни все мое внимание было посвящено родным. Однако я должен сказать, что все люди, которых я видел, с которыми я, как самый младший, делил судьбу, держали себя с редким достоинством, ничем не показывая страха. Все личные переживания прятались глубоко на дне сердца. Все офицеры были спокойны и сдержанны.

Нас четверых Красновых, генералов Шкуро, Васильева, Соламахина, Доманова, Головко и полковника Моргунова сразу же заметно отделили. Прибывшие с нами офицеры казачьего отряда генерала Доманова были помещены в громадном зале цеха. В этом машинном отделении сталелитейного завода произошло единение товарищей по войне и по несчастию, наших офицеров с ранее прибывшими туда офицерами казачьего Корпуса генерала Хельмута фон Паннвица, которого с его ординарцем присоединят к нашей группе. Встреча была трогательной и сердечной, несмотря на всю трагичность. Нас связывало многое в прошлом. Нас соединила неизвестность нашего будущего.

Дед был очень взволнован встречей с генералом фон Паннвицем, которого очень ценил и даже, я оказал бы, любил. Фон Паннвиц был в полной форме и в папахе, как бы желая подчеркнуть свою крепкую связь с казаками и готовность разделить до конца их страдный путь.

Мне очень хотелось смешаться с толпой. Издали я уже завидел моих товарищей. Мы махали друг другу руками, но, когда я попробовал сделать несколько шагов, меня очень любезно попросили не отделяться от группы. И в то же время капитану Бутлерову удалось незаметно отделиться от нас и смешаться с массой выданных.

Комната, в которую нас ввели, была совершенно пуста. Очевидно, раньше это была заводская контора. Нас сопровождал советский майор, который или действительно был изумлен этой Торичеллиевой пустотой, или прекрасно разыграл это изумление и даже возмущение. Он вышел и вскоре вернулся в

сопровождении солдат, которые внесли весьма сомнительной чистоты кушетку.

— Для господина генерала Краснова. — подчеркнул майор. Он подхватил меня и полковника Моргунова и повел в соседнее помещение, в котором горой лежали наваленные немецкие зимние шинели и куртки. Нам было предложено взять их сколько нужно для сооружения «постелей».

Когда майор убедился, что мы «снабжены всем необходимым», он ушел, закрывая за собой двери. С этого момента мы навсегда потеряли связь с нашими офицерами. Нас просто изолировали. Крышка захлопнулась.

Положение наше в смысле гигиены нельзя было никак назвать удовлетворительным. Мы, ехавшие на «конференцию», понятно не взяли с собой ни бритв, ни мыла, ни зубных щеток, уж не говоря о перемене белья. Все мы были в легких кителях, без шинелей или накидок. Ночь без сна и поездка на машинах привели нас в довольно плачевное состояние. Однако голода мы не чувствовали. В наше помещение сразу же был доставлен ящик с консервами и бисквитами английского происхождения. Мы к ним не притронулись. Попросили только воды.

Я знал, как дед любил чаевничать. Мне так хотелось, чтобы кто-нибудь догадался и принес если не чаю, то хоть кипятку, но мое желание не исполнилось. Спустя приблизительно час к нам забежал советский капитан и сообщил, что генералов Краснова и Шкуро требует к себе командующий группой советских войск, расположенных в районе Юденбурга.

Дед с трудом поднялся со своего топчана. Старость давала себя знать. На нем, как он ни боролся, оставили глубокий отпечаток события последних дней. Папа и дядя Семен стали его уговаривать отказаться от чести быть представленным самому командующему. — Если нужно, пусть сам придет, кипятился Семен, но старик одернул китель, поправил на груди орден Св. Георгия и, даже не взяв с собой палку, пошел твердой поступью за советчиком.

Мы все знали, чего старику стоила эта молодцеватая походка и бодрый вид. Шкуро, тоже очень больно переживавший предательство тех, кто наградил его орденом Бани, выходя бросил в нашу сторону:

— Пожалуй, с «ними» будет легче говорить, чем с «теми», — подразумевая конечно, советчиков и англичан.

Несмотря на то, что встреча с командующим не была очень продолжительной, нам она показалась вечностью. Часов у нас не было, и мы терялись в догадках, делая, по папиному выражению, «выкладки» для определения времени. Больше всего волновался

Доманов. Он буквально не находил себе места и был страшно поражен, что вызвали только деда и Шкуро.

Когда они вернулись, мы узнали, что водили их не на допрос, и встреча была совершенно неофициальной. В домике, в котором помещались советские офицеры, их ожидал генерал и несколько пожилых полковников. Они в 1918-20 году были «по ту сторону фронта» и воевали против деда и Андрея Шкуро. В довольно живом разговоре они вспоминали места, где велись бои, и части, которые в них участвовали, и на чьей стороне был перевес. Политической и этической стороны событий они не касались. Прощаясь, советский генерал сказал:

— Я бы хотел думать, что вы оба не очень огорчены тем, что едете на родину. Поверьте мне — война многое изменила. Советская власть уже не та, которой нужно бояться. Вы, как мне сообщили, поедете в Москву. Вас там долго держать не будут. С вами поговорят, узнают, что надо, и отпустят. Встретите много знакомых, вспомните старину и заживете у себя на родине. Будьте счастливы!

Может быть, генерал был искренен. Возможно, непартийцы, боевые офицеры верили в то, что полученная дорогой ценой победа над Гитлером, освобождение страны, геройство и самопожертвование народа и армии, воздействовали на власть, и она переменится, если уже не переменилась.

В течение всего времени, пока мы не попали в лапы МВД, отношение строевых офицеров к нам было хорошим. Даже чересчур хорошим. Как-то странно звучало подчеркнуто вежливое обращение «господа», «господин генерал». На каждом шагу: «если смею вас затруднить», «будьте добры», «благодарим покорно», прямо как в гвардейском собрании!

Ни на минуту мы не оставались одни. Весь вечер и почти всю ночь нас посещали советские офицеры и даже солдаты. Центром всеобщего интереса был дед и, конечно, Андрей Шкуро, а затем «сколько их есть, этих Красновых».

Интересно отметить, что о книгах деда знали очень многие. Читали ли они его произведения или только слышали, не знаю, но было заметно, что интересовались им не только как казачьим генералом, но и как писателем.

Вспоминаю Андрея Шкуро, его небольшое, испещренное лучами расходящихся морщинок, лицо, курносый нос кнопочкой, сильно поседевшую щетину волос с кудерьком на лбу. Небольшого роста, все еще пружинистый, он прекрасно владел собой и только на моменты, когда не чувствовал на себе взглядов, оседал и выглядел на десяток лет старше.

Период отчаяния в Шпиттале прошел почти бесследно. В то

время, когда Дед, отвечая на вопросы о разных моментах борьбы между белой и красной армиями, говорил со сдержанной усмешкой и, я сказал бы, немного академически, Андрей пересыпал свою речь самыми отборными сочными словечками и выражениями, живописно рассказывая, как его отряд «чихвостил в хвост и гриву красных».

Обид не было. Его рискованные выражения покрывались дружным смехом. Около него до зари торчала большая группа, главным образом, молодежи из сержантов, глаз не спускавшая с его подвижного лица. Шкуро ни на минуту не терял своего юмора. Отчаяние и гнев остались там, за мостом в Юденбурге, там, где остались предатели и изменники своему слову. В этих простых армейских солдатах, в большинстве деревенских парнях, он видел просто русских людей. Они, обращаясь к нему, называли его и «батько» и даже «атаман», переименовав его из Шкуро в Шкуру, и некоторые хвастались, что слышали о нем просто «небылицы» от своих дедов, дядьков и отцов.

Оживившись, Шкуро с большим подъемом рассказывал о «лупцовке» красных. Солдаты гоготали и хлопали себя по ляжкам от удовольствия. Более пожилые возражали и доказывали, что и они, красные, давали перца шкуринской волчьей сотне.

— Верно! соглашался Шкуро. — Давали, давали так, что у нас зады трещали, — опять восторженный взрыв хохота. — Ишь ты какой, — крякали все от удовольствия.

Я с благодарностью вспоминаю Андрея Шкуро. Его шутки и бодрость поддерживали всех нас. Мы на моменты забывали о трагизме своего положения. Даже дед, лежа на своем топчане под немецкой шинелью, улыбался и, приоткрывая на моменты глаза, тепло смотрел на забавную подвижную физиономию Шкуро.

— Ишь, руки то у тебя какие маленькие, — заметил один из сержантов.

— Маленькие, да удаленькие, убить умели. — весело ответил генерал, делая рукой типичные для рубки движения. Солдаты взвизгивали от удовольствия.

За нашими дверями стоял часовой, но без оружия. Когда мы просились в уборную, он вызывал двух конвоиров, и те, только по одному зараз, сопровождали, не оставляя даже в уборной в одиночестве. Мы думали, что это и есть вся охрана, но, когда забрезжил свет, мы увидели, что почти вплотную к стенке, снаружи, был поставлен пулемет, и два солдата войск МВД ни на минуту не спускали глаз с того, что делалось в ярко освещенной комнате.

Поразительно было то, что Доманов, игравший большую роль, пока мы были под крылышком коварного Альбиона, сошел

здесь совершенно на нет. Им никто не интересовался. Его, казалось, просто не замечали. Он сидел мрачный на куче шинелей или молча расхаживал по комнате. С вопросами он обращался только к деду, называя его с каким-то надрывом «дорогой Петр Николаевич». Что творилось в душе этого человека, никто не может знать. Мы его больше ни о чем не расспрашивали. Зачем бередить рану, которую он нанес сам себе преступным молчанием? Обещали ли ему англичане какую-нибудь награду за сбережение тайны нашей судьбы?

Нас навещали и молчаливые гости — офицеры — чины советской контрразведки: СМЕРШа и войск НКВД. Они входили в комнату, окидывали нас взглядом, как бы считая головы, и уходили, плотно притворяя за собой двери. Я думаю, что было уже за полночь, когда к нам пришел советский генерал — донец. Вся его грудь была увешана орденами. Высокий, стройный, уже достаточно пожилой, он был довольно импозантной фигурой.

Дед лежал. При входе генерала он попытался встать, но тот быстро подбежал к нему с протянутой рукой.

— Пожалуйста, господин генерал, не беспокойте себя! Лежите, я просто заглянул, чтобы узнать, как вы устроены и как вы себя чувствуете. Остальным ведь легче.

— Почему остальным легче — немного раздраженно спросил Петр Николаевич.

— Ваши годы.

— Да не такой уж я древний старик, чтобы со мной как с яйцом всмятку нянчились!

— Да что Вы, что Вы — заторопился генерал. — Я просто заинтересовался не пугает ли вас отъезд на родину. Не волнуетесь ли Вы, не боитесь.

— Смерти я не боюсь, — серьезно ответил Петр Николаевич, теряя раздраженный тон.

— Страх у солдат запрятан глубоко, а я себя считаю, как казак, бессрочным воином. Нет, генерал, ваш вопрос не к месту и не ко времени. Помните изречение — «горе побежденным». Будьте же благородным победителем и не унижайте самолюбие проигравших битву.

Генерал растерялся. Он засуетился, оглянулся кругом, как бы ища стула, но не увидев ни одного, заложил руки за спину и торопливо заговорил:

— Что вы, господин генерал, что вы, Петр Николаевич! Никого не хотел унизить. Может быть, я не так выразился. Я пришел поговорить. Меня интересовало мнение знаменитого генерала Краснова о будущей, послевоенной, ну по-вашему России, а по-нашему Советского Союза.

Дед молчал и только после долгой паузы с большим ударением сказал:

— Будущее России — велико! В этом я не сомневаюсь. Русский народ крепок и отпорен. Он выковывается как сталь. Он выдержал не одну трагедию, не одно иго. Будущее за народом, а не за правительством. Режим приходит и уходит, уйдет и советская власть. Нероны рождались и исчезали. Не СССР, а Россия займет долженствующее ей почетное место в мире.

Советский генерал, очевидно, остался очень недоволен ответом, тем более, что в комнате находилось еще несколько советских офицеров, но он не возражал. Разведя руками, он пошел к двери, но, уже взявшись за ручку, круто повернулся и резко спросил:

— А между «господами» есть и советские люди? Как будто он об этом не знал!

— Есть. — неохотно ответили Головко и Доманов. Они оба приподнялись со своих лежанок из шинелей.

Бывшие и настоящие советские генералы смотрели друг на друга исподлобья. У Головко вид был настороженный. У Доманова — выжидающе насупленный.

— Вот, видите, — как бы нехотя продолжил генерал. — Эти люди, так называемые «белые», с восемнадцатого года так или иначе, с оружием в руках или пропагандой, боролись против нас. Открыто. Веря в свои реакционные, абсурдные идеи. Они наши враги, но я их до некоторой степени понимаю. Вас же воспитал, сделал людьми, дал положение Советский Союз, и чем вы ему отплатили за это? Ну, да впрочем, об этом поговорят с вами в Москве. Ждать недолго! И, круто повернувшись, он вышел из комнаты.

Головко молча потряс в воздухе сжатыми кулаками и рухнул на свою подстилку. Доманов, бросив неуверенный взгляд в сторону деда, сделал было несколько шагов к двери, словно желая догнать и еще поговорить с генералом, но как бы передумав, повернулся и не проронил ни звука.

С этого момента я не могу припомнить, чтобы он разговаривал с нами. Он ушел в себя, стал нелюдим и выглядел затравленным зверем. В Москве, в тюрьме, где мои встречи с людьми были случайными и короткими, до меня доходили о Доманове очень нехорошие слухи. Повторять их не буду, ибо не уверен в их точности. Во всяком случае, Доманов был казнен в тот же день, когда мученической смертью пали и белые генералы.

Только раз, перед самой погрузкой в путь — направление Москва, дед не выдержал и спросил Доманова, знал ли он заранее о подготовлениях к выдаче советам казачьей группы и частей

генерала фон Паннвица. Доманов ничего не ответил. Он только тяжело вздохнул и отвернулся.

Даже впоследствии, в Сибири, от Бутлерова мне не удалось узнать правду. — Возможно! — Сказал он. — Я не всегда был с генералом. Он иной раз оставался с глазу на глаз с англичанами, и у них были свои переводчики.

Занималась заря. Никто из нас не спал. Вторая ночь без сна. Двое суток без еды. Посетители оставили нас в покое. Затих и гомон в громадном помещении цеха. На заре тишину прервали какие-то крики, топот многих ног и шум во дворе. Занятые своими мыслями мы просто не придали этому никакого значения, не обратили внимания.

Приход дежурного офицера застал нас всех на ногах. Он спросил нас, сколько времени нам нужно для того, чтобы собраться в путь.

Глупый вопрос. Вещей у нас никаких не было. Никто из нас не раздевался, Мы попросили только воды для умывания. Принесли два ведра и ковшик. Никто из нас не задавал вопроса, куда нас везут. Было ясно. В СССР. Через цех, в котором помещались офицеры, нас не проводили. Вывели боковым ходом. Двор был пуст. Одиноко стояли два грузовика, готовых к пути, На платформе машин, спиной к кузову стояли четыре вооруженных автоматчика. По бокам две скамьи, а по середине одного из грузовиков — мягкое кресло для Петра Николаевича, вынесенное из чьего-то дома.

Деда, отца, дядю, генералов Головко, фон Паннвица и меня подвели к первой машине. У второй машины стояли Моргунов и генералы Султан Гирей, Васильев, Соламахин, Доманов и Шкуро. Но советский старший лейтенант очень вежливо попросил немного подождать и не грузиться.

— Господа генералы! — обратился он к нашей группе. — В случае малейшей попытки бежать, каждого ожидает смерть. Для примера мы сейчас на ваших глазах произведем экзекуцию покушавшегося на бегство адъютанта немецкого генерала Паннвица.

Он подал резкую команду, и из здания цеха вывели в сопровождении двух автоматчиков немецкого обер-лейтенанта в черной форме танкиста. На его лице заметны были ссадины, но шел он твердым шагом.

Автоматчики подвели немца к какому-то заборчику недалеко от нас и по команде отошли назад. По команде же остановились, повернулись и взяли на прицел.

— Этот человек попробовал избежать нашего суда и пытался на заре бежать. Именем Советского Союза он приговорен к

расстрелу! — петушиным голосом возвестил советский офицер.

— Огонь по фашистскому гаду!

— Лебен зи воль, камераден! — крикнул танкист, подняв руку в знак приветствия в нашу сторону.

— Огонь!

Очередь из двух автоматов. Солдаты волновались. Стреляли плохо. Танкист все еще стоял, но затем его тело медленно повернулось вокруг оси и мягко опустилось на землю. Он был еще жив. Дергалась голова и вздрагивали ноги.

Советский лейтенант бегом бросился к нему, на ходу через зубы матеря солдат, стоявших молча, опустив дула автоматов к земле.

— Сукины дети, бабы! Стрелять не умеют! — долетело до нас. Раздалось два выстрела из нагана. В упор. В затылок танкиста. Тело еще раз вздрогнуло и замерло. Офицер толкнул его ногой, сплюнул и крикнул в нашу сторону:

— Собаке собачья и смерть! В машину, господа генералы!

Лица были серы как пепел. У отца на щеке ходил мускул. Губы деда были сжаты в одну тонкую едва заметную линию. Вспыльчивый Семен с трудом себя сдерживал. Я взглянул на Доманова. Вместо глаз я увидел пустые неподвижные оловянные пуговицы.

Проходя мимо меня, Головко бросил: — Ннында! Ничего не изменилось под луной. Самое привычное «предупреждение с воздействием на примере».

— Поторапливайтесь, господа! — кричал старший лейтенант. — Нельзя бестолку терять время. Быстро в машину!

Дедушку посадили в кресло и покрыли ему ноги старой шинелью. Нас рассадили по обеим сторонам грузовика, спиной к боковинам. Тронулись. Каждый из нас перекрестился. Петр Николаевич громко сказал: Ну что ж! С Богом!

Автоматчики были настороже. Они все время водили автоматами, как бы выбирая между нами жертву. Они следили за каждым нашим движением, все время покрикивая: Эй! Не шевелись там! Эй, не разговаривай!

Проехали по пустым улицам Юденбурга. Городок казался вымершим. Вышли на шоссе, и машины сразу же набрали скорость. Мелькали какие-то барачного типа поселки, военные городки. Навстречу нам шли отдельные советские танки и грузовики. Изредка из боковых дорог выныривали джипы, лихо управляемые людьми в ненавистной английской форме.

Перед каждым селением через дорогу от столба к столбу были протянуты полотнища с лозунгами для возвращенцев военнопленных и «остов». — Вернись! — говорили они. — Родина

Мать тебя ждет!

Мосты охранялись советскими часовыми и пулеметными гнездами. Изредка встречались штатские австрийцы с красными повязками на рукавах. Выпущенные на свободу «кацетлеры» — противники нацизма, а чаще всего уголовники, сразу же ставшие подручными у советчиков.

Счетчик на машине отщелкивал километр за километром. Шли вперед, не останавливаясь. Мучила жажда, и впервые я почувствовал острый голод. Одновременно мной овладела дремота. Голова болталась из стороны в сторону, падала на грудь и незаметно опустилась на плечо отца, как в давние, ребячьи годы. Я вздрогнул и подтянулся, но услышал родной голос: Ничего, ничего, Николай! Отдохни, сын! Нам нужны силы.

Отсутствие часов страшно раздражает. Не знаем, сколько едем. Соламахин старается по солнцу определить время. Наконец, приближаемся к большому городу. Путевые знаки говорят: Грац. Въезжаем в узкие средневековые плохо мощеные улочки пригорода. Сворачиваем вправо. Стоп! Перед нами серое здание тюрьмы.

На улице, убирая развалины, трамбуя развороченную последними боями мостовую, работают пленные — немецкие солдаты. Их охраняют советские конвоиры. Завидев нас, они сразу же подбегают ближе и кричат: Глянь, ребята! Фашистов привезли!

Некоторые паясничают и приплясывают. Другие пальцем проводят по горлу и хрипят, вытаращив глаза. Жесты и звуки не нуждаются в пояснениях.

Правильно говорит русская пословица: от тюрьмы, да от сумы не зарекайся! Думал ли я когда-нибудь, что попаду в тюрьму, настоящую тюрьму как преступник, да еще не один, а со всей мужской частью нашей семьи.

Нас ввели в тюремный двор, утонувший, зажатый как колодец между зданиями. Кругом окна с решетками. Видно, что тюрьма старая. Возможно времен Марии Терезии. Производят обыск. Просто проводят руками по груди и спине, затем от мышек к ступням и по внутренней части ног, одного за другим, отпихивают и, наконец, ведут в здание. В окнах мелькают лица. Кто они? Русские? Немцы — нацисты или уголовники? Не думаю, что последних оставили сидеть, ожидая наш приезд.

Поднялись на второй этаж. При входе в камеру на моих сапогах вдруг заметили шпоры. Поднялся страшный крик. Как смели оставить такое страшное оружие, ведь шпорой можно нанести самому себе увечье или напасть на конвой.

Шпоры удалены. Суматоха улеглась. Нашу семью вводят в

одну камеру. В коридоре раздается голос: Вы уверены, что все Красновы вместе?

В коридоре я заметил часы. В Грац мы прибыли после четырех пополудни. Мучила страшная жажда. Пересохло во рту. От солнца и пыли горели глаза. В камере стоял кувшин с устоявшейся теплой водой. Осушили его в одно мгновение. Разместились по койкам. Конечно, никаких матрасов. Голые доски.

Часов около семи принесли ужин. Первая еда за трое суток. Предполагаю, что ее доставили специально из советской генеральской столовой. Белый хлеб. Масло. Горячее мясо с гарниром. Горячий шоколад. Запах и вид пищи вызвал прилив слюны, наполнившей внезапно рот. Не церемонясь, мы присели к еде. Не объявлять же нам сразу же, на первых шагах, голодовку. К чему бы она привела? В Москву все равно отправят, а отец был прав. Мы должны были сохранять силы. Силы и нервы. Мы не знали, какие испытания ожидали нас впереди.

Солдаты, принесшие пищу, о чем-то пошептывались в дверях и вскоре принесли нам охапку одеял, которыми мы застелили койки и расположились спать.

Я заснул, как убитый и проспал до побудки. Ночью нас никто на беспокоил, а физическая усталость и полный желудок создали атмосферу, благоприятную для сна. Нам не мешал даже свет яркой лампочки под потолком и сознание, что через глазок в двери за нами непрерывно следит чье-то настороженное око.

Подняли нас сравнительно рано. Повели в умывалку. Под наблюдением какого-то майора дали нам возможность оправиться и умыться. При выходе из уборной мы повстречались в коридоре со Шкуро, Соломахиным и Головко. Остальные, очевидно мылись позже.

Завтрак нам в тюрьме не дали. Собрали в коридоре и повели во двор. В это время с улицы вводили группу наших офицеров. Боже! В каком они были виде, многие без фуражек, заросшие трехсуточной бородой. У большинства сорваны погоны. Некоторые даже в одних носках. Очевидно, кому-то понравились их щеголеватые, немецкого фасона, шевровые сапоги, и их просто стянули с ног. Все это безобразие произошло в Юденбурге.

По-видимому, подобная встреча не входила в планы наших тюремщиков. Приставленный к нам майор скомандовал «Повернуться», и мы стали спиной к нашим несчастным соратникам, длинной змеей, по четыре в ряд, вливавшимся в колодезь двора.

Когда поток людей прекратился, раздалась команда «Повернись! Марш-марш!», — и мы вышли на улицу. Весь

предтюремный район, правда, издалека, был оцеплен солдатами. Горожан мы не видели. Не было и работавших вчера немецких военнопленных. На этот раз для деда была подана легковая машина ЗИС. В автомобиль сел Петр Николаевич, майор МВД и конвоир с автоматом. Нас погрузили во вчерашний грузовик. Дедушкино кресло занял парнишка с автоматом.

Поездка была короткой, мы, не выезжая за город, добрались до дачного поселка Граца. Остановились перед парадным подъездом красивой виллы. Нас сразу же ввели в столовую дома и угостили обильным завтраком. Обращение было в высшей степени корректным. На этот раз нашими «лакеями» были не солдаты, а офицеры контрразведки. Вероятно, нашу группу считали опасной, или успех Шкуро у солдат в Юденбурге не пришелся по вкусу начальству.

Завтракали мы одни без «хозяев». Офицеры с ловкостью профессионалов подавали блюда, меняли тарелки, разливали чай. Я заметил в коридоре, ведущем в кухню, силуэт дамы, очевидно, хозяйки виллы. В столовую она не входила.

Смершевцы очень заботливо расспрашивали нас, сыты ли мы, нравится ли нам еда и не имеем ли мы каких-либо особых желаний. Мы их сдержанно поблагодарили, после чего они сообщили, что задерживаться больше нельзя, и мы должны ехать дальше.

Обстановка и люди менялись в те дни с такой быстротой, что просто трудно было запоминать лица и некоторые подробности, но я запомнил уютную барскую столовую, прекрасный фарфор и серебро и белоснежные салфетки и скатерть.

Расположились в тех же машинах и тем же порядком, только в наш грузовик влез еще один майор СМЕРШа. В пути выяснилось, что он по прежним временам знал лично генерала Головко. В пути они, я сказал бы, по-дружески и мило разговаривали, как будто ничего не произошло, как будто все так и надо. До меня долетали их слова, воспоминания об общих знакомых, бывших сослуживцах, делились сведениями о их судьбе.

Доманов молчал и в их разговор не вмешивался. Он все время сидел, низко опустив голову, внимательно рассматривая то ногти на руках, то носки своих сапог.

Дорога шла на северо-восток. ЗИС с дедом сильно ушел вперед, и наш шофер гнал грузовик полным ходом. Наших четыре автоматчика, решив, что майор СМЕРШа отвечает за наши поступки, расселись поудобнее, закрутили из махорки крученки и занялись своими разговорами.

На нас нашло какое-то оцепенение, флегматичность, полная

апатия. Порой у меня мелькала в голове мысль о бегстве, о прыжке с машины, то в эту канаву, то по направлению того оврага, манил какой-нибудь лесок, мимо которого мы проезжали, но присутствие в машине дяди и отца заставляло меня тут же забыть эти мечты. Я знал, что мы отвечали круговой порукой один за другого, и побег или покушение на бегство одного, конечно, трагически бы отозвались на других. Что их ждало? Только побои или смерть?

Без задержки мы проехали через Wienerneustadt и, свернув в сторону, покатили по дороге, ведущей в Baden bei Wien.

Путь оживляли целые табуны рогатого скота и лошадей, которых гнали советские солдаты. Встречались целые колонны советских грузовиков и боевых машин. Чувствовалось, что война только что промчалась ураганом через эти места. Рытвины. Оползни. Целые кратеры от взорвавшихся бомб. В некоторых местах шоссе прерывалось, и мы шли в обход по новоутрамбованным ответвлениям.

— Вот и Баден бей Вин. — громко сообщил майор СМЕРШа. — Здесь находится центр контрразведки группы советских войск Юго-Восточного фронта.

Каждая вилла в этом когда-то дорогом и популярном курорте была тюрьмой. В их подвалах сидели арестанты, привезенные сюда отовсюду, включая и Чехию и Венгрию. Можно сказать, центральная мясорубка. Сито и решето, через которые проходили все «враги народа», все «военные преступники».

Спускались синеватые сумерки, по-весеннему свежие и влажные. Жара, при которой мы ехали, неожиданно спала. Нас подвезли по шуршащему под шинами гравию к самому курзалу. Каким парадоксом казалось это застекленное здание, чудом уцелевшее от разрушений войны. Ярким золотом и багрянцем сияли под лучами заходящего солнца его стеклянные стены. Клумбы пестрели цветами, которых австрийцы не забыли посадить. Перед входом в здание высоко бил фонтан.

Майор перекинулся парой слов с каким-то офицером, и нас подвезли к красивой соседней вилле. Красивой снаружи.

ЗИС с дедом уже прибыл и ожидал нас. Оба майора: и тот, который ехал с дедом, и приятель генерала Головко любезно расшаркивались перед нами:

— Пожалуйте, господа! Сюда, господин генерал, Петр Николаевич!

Мы задержались в большом фойе. Предложили сесть в глубокие клубные кресла. На столах были разложены пачки английских папирос. Очень извинялись, что произойдет задержка с ужином, но мы должны пройти через известную формальность.

По очереди нас стали вызывать на первый допрос. По очереди мы шли и на первый медицинский осмотр.

Допрашивал нас офицер СМЕРШа — еврей. Обыскивали нас солдаты. Отбирали все: записки, бумажки, карточки, кольца (у кого они еще сохранились), но выдавали расписки. Интересно, куда пошли эти вещи, а расписки мы вскоре тоже должны были отдать.

После обыска шли к врачу. Во время всех церемоний присутствовал следователь.

Я разделся, и на моей груди была замечена серебряная иконка Спасителя. Меня ею благословила бабушка, и я ее не снимал в течение всей войны. Следователь улыбнулся и спросил:

— Что, Краснов младший, неужели же вы верите в Бога? — Верю!

— Ну, тогда оставьте ему эту побрякушку! — сказал он, скаля длинные желтые зубы.

— Чем бы дитя ни тешилось. Но, с моей точки зрения, это просто смешно! Смешно, Краснов!

— Вера никогда не может быть смешной. Я верю в Бога, а вы в материю.

— Ну, это разница! Материя существует. Вы же не можете отрицать существование материи. В ней зарождение. В ней распад. Все связано в одно целое. Но Бог? Кто Его видел, Краснов! Чем вы докажете Его существование? Поповскими сказками?

— Мы коммунисты тридцать пять лет строим и ведем государство без Бога, не попросив Его благословения на наши труды, и видите, как мы преуспеваем! Кто победил, мы атеисты или вы с вашей верой? Почему ваш Бог не уберег вас от знакомства со мной и встречи со СМЕРШем?

— Это искушение, которое укрепляет в вере. Веру в нас вы все равно не убьете!

— Ну, какой вы! Зачем же ее убивать! Она сама умрет, не беспокойтесь. Впрочем, по ходу событий, мы тоже имеем церкви, и у нас существуют попы, но они, конечно, прошли нашу школу и они наши попы!

Сам допрос был действительно простой формальностью. Опять как попугай отвечал на вопросы: где, когда родился, где учился, где жил, чем был и почему пошел на войну.

На столе у следователя лежали формуляры, и он их быстро заполнял. Он же мне показал бумажку с неразборчивой подписью какого-то прокурора МВД СССР, в которой говорилось, что Николай Краснов младший временно задержан до выяснения личности (!) в зоне оккупации советских войск.

— То есть как это? — возмутился я. — Кто меня «задержал в

зоне оккупации советских войск». Я сюда добровольно не являлся!

— Бросьте, Краснов! Не портите себе репутацию и нервы. Это рутина. Формальность. Одна для всех. Простой формуляр. Вы едете в Москву, и эта бумажка является как бы визой на въезд на вашу любимую Родину, о счастье второй вы так волновались всю свою жизнь.

Четырех Красновых опять выделили в отдельную комнату. Андрей Григорьевич Шкуро и Соламахин стремились быть с нами, но распределяли нас советчики, и нам оставалось только подчиняться. Собственно говоря, мы попали в камеры в подвальном помещении.

Там же нас накормили буквально роскошным ужином. Казалось, что это изысканное меню приготовлял какой-нибудь «шеф» с мировым именем. Отец иронически заметил:

— Кормят, как поросят перед Рождеством или как смертников в хороших тюрьмах. Чем мягче стелят, тем тверже будет спать. У меня с души прет от этой сервильности!

Не успели мы немного расположиться, как пришли за дедом. Мы все очень встревожились. Его увезли на машине на допрос. Вскоре пришли и за мной и за папой. Вели нас четверо конвоиров. Пешком. Три квартала до ярко освещенной виллы.

Ночь была тихая. Звездная. Пахло цветами табака. В темноте аллей вспыхивали красными глазками огоньки папирос. Гуляющие советчики? Часовые? Или внимательные и бдительные чины СМЕРШа. — А вдруг Красновы бросятся бежать!?

По дороге я вел внутреннюю борьбу сам с собой. — Бежать! Куда бежать?

— Трус! — отвечал другой голос. — Ты солдат! Ты обязан бежать. Ты в руках врагов! Беги! Докажи, что ты мужчина!

— А Лиля? А мама? Где они? Разве мы знаем! В течение этих дней мы неоднократно задавали себе вопрос, что англичане сделали с нашими семьями? Остались ли они в Лиенце, или и их везут по той же дороге, через те же цехи, тюрьмы, виллы? Что с ними сделают, если ты решишься на бегство? Я крепко сжал пальцы. Громко хрустнули косточки.

Отец инстинктом почувствовал, что творилось во мне. Задержав немного шаг, он шепнул мне прямо в ухо: Не делай глупости, Николай! Не время авантюрам!

В новой вилле нас сразу же разделили по отдельным комнатам. Меня ввели в хорошо обставленный кабинет. Письменный стол. Большая лампа с зеленым абажуром. За столом сидят двое. Очень молодой лейтенант СМЕРШа с простецкой физиономией и какой-то лысоватый штатский.

Мне предлагают место. Сажусь. Опять те же заезженные

вопросы. Опять те же формуляры. Повторяю, как заводная кукла, свою биографию. Лейтенант заполняет лист и, взяв его, выходит из комнаты. Со мной остается штатский. Внезапно он обращается ко мне на сербском языке:

— Како вам се свиджао живот у Югославии, господине? (Как вам нравилась жизнь в Югославии, господин?)

Произношение у него чистое. Без акцента. Отвечаю, что жилось мне превосходно. Лысый рассказывает мне, что он бывший моряк Императорского Русского Флота. Жил до 1935 года в Шибенике, в Далмации. Соскучился по родине и вернулся в СССР. Теперь он переводчик при СМЕРШе.

Переводчик? Думали ли смершевцы, что я, выросший в Югославии, не говорю по-русски или в виде предосторожности, при выяснении личности обзавелись людьми, которые легко могут отличить старого эмигранта от «нырнувшего» подсоветского раба?

— Добро говорите српски. — делает он мне комплимент.

— То же могу сказать и я. Вы прекрасно говорите и меня поражает, как Вы не растеряли ваши знания за десять лет пребывания в СССР.

Лысый расспрашивает меня, где я жил, где я служил. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ему, что я горд тем, что являюсь офицером короля Петра и что я, конечно, югославский подданный.

Тип криво усмехнулся.

— Король Петр! Марионетка. Вы плохо играли, Краснов. Сегодня в Югославии Тито и советские войска. Пошли бы Вы к партизанам, сейчас как сыр в масле катались бы! Тито нужны молодые интеллигентные офицеры. Карьеру могли бы сделать!

— Неужели же Вы верите в то, что в Югославии может задержаться надолго коммунистический режим и что красным удастся завести там систему колхозов?

— Н-н-н-е знаю! — протянул «переводчик». — Но Вы знаете, что если зайца долго бить.

Открылась дверь, и в кабинет вошел лейтенант. Он был зол.

— Не успели мы с Вами познакомиться, Краснов, а вы уже солгали. Почему Вы мне не сказали, что вы женаты?

— Какое отношение моя жена имеет к Вашему допросу? Вы меня спрашивали обо мне самом. Моя жена, по вашему выражаясь, домохозяйка, в армии не служила, с вами не сражалась и политикой не занималась.

— Молчать! Что за разглагольствования! Вас спрашиваю, почему Вы не сказали о том, что Вы женаты. Нас провести нельзя. Видите, я вышел и сразу же все узнал. С нами нужно быть

откровенными. За ложь расстрел. Тут же! Без суда! Это вам не СССР. Это оккупационная зона. Здесь законы шире!

Во мне нарастало холодное бешенство.

— Ну и расстреляйте. Все один черт! Не все ли равно, расстреляют меня по вашим широким оккупационным законам или по узким в Москве! Для меня нет никакой разницы, а вам не привыкать выводить в расход людей!

Я уже не говорил, а кричал. Следователь бросился к дверям, приоткрыл их, выглянул и быстро захлопнул. На его лице была неподвижная как маска улыбка. Очевидно, ему запрещалось производить «следствие с давлением», и он испугался, чтобы его начальники не услышали мой крик.

— Потрудитесь успокоиться, Николай Николаевич! — прошипел он сдавленным голосом. Кричать и шуметь в кабинете следователя не полагается. Я лицо официальное и должен только зарегистрировать ваши корректные и абсолютно точные ответы. Верю, что я Вам несимпатичен, но и Вы должны понять, что если бы меня спрашивали о моих личных чувствах, я бы с наслаждением пустил Вам и Вашему почтенному семейству парочку пуль в затылок, сожалению, я не смею терять терпение. Вы должны быть доставлены в Москву. Таков приказ. Все же, что мы сейчас здесь производим — это только подготовительное «обсасывание». Разгрызут же вас как орех там! Успокойтесь и отвечайте точно на вопросы. Впрочем, Ваши родственнички ведут себя гораздо сговорчивее насколько мне сейчас сообщили.

— Вы лжете! — вскипел я, ударяя кулаком по столу.

— Какая очаровательная наглость! — процедил сквозь зубы лейтенант. — «Господин» Краснов обижен! Он позволяет себе всяческие вольности, очевидно, не зная, что каждая такая вольность вносится в кондуит подследственного материала.

Тем не менее, я понял, что пока я здесь, можно себе позволить роскошь. Дерзить и я решил дерзить, чтобы скорей прекратить допрос.

Штатский тип ерзал на стуле. Ему определенно не нравилось присутствовать при этой пикировке. Следователь взял себя в руки, разгладил ладонью формуляр и продолжил:

— Итак, Вы женаты! Имя жены?

— Вы же сказали, что Вы все знаете. Чего же спрашивать? Кроме того, я не сомневаюсь в том, что мой отец простодушно сказал Вашему коллеге, допрашивающему его, что его сын женат. При обыске у меня отобрали карточку, на обороте которой написано «от любящей жены Лили». Секрет полишинеля, шитый белыми нитками.

— Как Вы умно рассуждаете, Николай Николаевич. Мне

кажется, что Вы были не только строевым офицером. Вы говорите как опытный разведчик, привыкший быстро делать выводы.

— Ложь! — строевик и никогда с контрразведкой дела не имел.

— Проверим! Почему Вы не указали, что Вы были членом Общества «Сокол»?

— Я был соколом в ранней юности. Это простое гимнастическое общество и ничего общего с политикой не имеет.

— «Сокол» — фашистская вредная организация, разлагающая молодежь, ведущая контрреволюционную пропаганду, подготовляющая диверсантов против нас.

— Неправда! Спросите этого вашего переводчика. Он жил в Югославии! «Сокол» — национальная, спортивная организация, распространенная во всех славянских странах и даже в Швеции и Швейцарии.

— Не читайте мне лекции о сокольстве, Краснов. У нас на это свой взгляд, но за вами имеются еще кое-какие делишки.

— Какие?

— Простите, кто здесь задает вопросы, Вы или я?

В таком тоне допрос продолжался до 3 часов утра. У меня создавалось впечатление, что меня, как самого молодого и менее всего интересного, дали для практики допрашивать такому же молодому и неопытному следователю. Сомневаюсь, что СМЕРШ был мной очень заинтересован. Только моя фамилия заставила их присоединить Краснова младшего к «особо привилегированной группе».

Я устал. Мне все надоело. Я перестал огрызаться на абсурдно глупые обвинения и вопросы. Наконец, раздался звонок. Лейтенант кивком головы отпустил «переводчика». Кто-то постучал в дверь. Показались головы конвоиров, которые доставили нас сюда. Завели. В коридоре ждал отец с парой часовых. В обратный путь мы пошли в сопровождении офицера.

Он болтал по дороге какие-то пустяки и, подводя нас к вилле, заметил: «Видите сами, как у нас культурно обращаются с врагами!»

Дед вернулся много позже. Последним привели Семена. Оставшись одни, мы поделились впечатлениями. Старшим было легче, чем мне. Очевидно, следователи были более опытными, сдержанными и умными.

Петра Николаевича больше всего расспрашивали о его писательской деятельности. Сколько книг он написал. Все ли изданы. Какой был тираж. Какие больше всего пользовались успехом. Откуда он брал типы своих героев. Из жизни или так из головы. Все точно записывалось в протокол. Только в конце, как

бы невзначай, спросили о его преступных связях с «псом Власовым».

Семена и отца тоже просто протянули через все фазы их жизни, интересуясь сколько они зарабатывали и что могли себе позволить на эти деньги.

Спать нам долго не дали. Побудка была довольно ранней. Сразу же нас вывели наверх и сделали общую фотографию семьи Красновых. Снимали несколько раз.

— На память, — сказали нам фотографы в формах офицеров СМЕРШа.

— Для архива МВД, — подумали мы.

Впоследствии я узнал, что в Москве в главном здании МВД в стальных сейфах хранятся дела каждого, кто хоть раз с ними соприкоснулся. «Хранить вечно» стоит на каждом деле.

Завтрак был в камере. Менее парадный. В два часа пришли и забрали из нашей камеры дядю Семена, из соседней Султан-Гирея, Доманова, Васильева и Головко. Больше я их никогда не видел. Они были на первом самолете отправлены в Москву.

Тут, в Бадене мы расстались с фон Паннвицем. Его отделили от нас, как говорили, по приказанию англичан, и он остался вместе со своим денщиком. Как я впоследствии узнал, фон Паннвиц был возвращен советчиками англичанам, но он категорически отказался от этой «милости» и потребовал, чтобы его не отделяли от казаков.

Наш черед пришел 4 июня 1945 года. Нас подняли в 6 часов утра. Приказали «взять вещи», которых у нас не было, и отвели к брадобрею, который нас довольно бесцеремонно выбрил. Мы уже успели зарасти бородами и выглядели весьма прискорбно.

В закрытой грузовой машине нас мигом доставили на аэродром в районе Бадена. И на этот раз деду был оказан известный почет. Его посадили в кабину между шофером и конвоиром.

В нашем самолете летели: дед, папа, генерал Соламахин, полковник Моргунов и еще несколько генералов и офицеров. Сопровождали нас только один майор СМЕРШа и автоматчик, сидевший у герметически закрытых дверей.

Расположились, кто как хотел, в мягких удобных креслах. Самолет пошел на старт. Мимо нас проносятся ангары и аэродромные постройки. Майор любезно раздает номера последней «Правды». Я впервые держал в руках советскую газету. Не скажу, чтобы она мне понравилась. Сухая. Неинтересная. Я привык к другим газетам, полным сообщений из всего мира, политических обзоров, с городской хроникой, коротким рассказом, романами с продолжением, юмором и карикатурами.

Кроме того, сразу же в глаза бросились статьи весьма нелестного содержания о западных союзниках. Остальное тускло, однообразно и хвастливо. Позже в тюрьме я услышал поговорку: Когда есть Правда, в ней нет известий. Если есть Известия, в них нет правды!

Летим на высоте двух тысяч метров. Голубое небо. Коричнево-зеленым ковром стелется Австрия. Пролетели над широко раскинувшейся Веной. Синей лентой извивается Дунай. В самолете мертвящее молчание. Лица сосредоточены Молчит даже Андрей Григорьевич. Он поставил локоть на нижний ободок окна, обхватил маленькой рукой подбородок. Смотрит в голубизну неба, но едва ли видит ее. Постепенно он бледнеет. Видно — не переносит полета и ему становится дурно.

Прошла неделя с того дня, когда я жене заказал глазунью на ужин. Всего неделя!

Боже! Как постарел отец! Какая прозрачность появилась в лице деда. Все знакомые лица, в которые я всматриваюсь, изменились. У всех глаза потеряли блеск и жизнь. В них прячется человек, в предчувствии трагической развязки.

Никогда в жизни не думал, что Москва так доступна, так близка от Вены. День еще не окончен, солнце только что перевалило зенит. Три часа пополудни. Смершевец что-то кричит, чего я не могу расслышать из-за рокота мотора, и показывает рукой вниз. Наконец, разбираю: Ав-то-стра-да! Смоленск — Москва!

Не хочу смотреть. Закрываю глаза. Мне страшно!

Еще полчаса, и мы идем на снижение. Молюсь. Молюсь, вспоминая все молитвы, которые я знал. Мне их не хватает. Шепчу свои собственные мольбы и чувствую, как что-то горячее обжигает края век. Только бы никто не заметил.

Центральный аэродром. Самолет плавно делает полукруг и приземляется. Бежит по автостраде, опять делает полукруг на колесах и останавливается. Стою около отца и через его плечо заглядываю в окно. Группа военных. Две машины. Одна легковая, другая — вагончик без окон. Двери сзади. На боку нарисованы две скрещенные французские булки и написано «Хлеб».

Это воронок. Тюремная закамуфлированная машина, в которой мне в будущем суждено было проехать не раз. Снаружи открывают дверь. Самолет открывают военные. Все с револьверами.

— Милости просим! — острит один. — Станция вылезайка! Москва!

По одному выходим. Спускаемся по лестничке. Я замыкаю шествие.

— А вот и сам белобандитский атаман в наших погонах. И не снял их, скряга!

Петр Николаевич остановился и, несмотря на свой преклонный возраст, выпрямился и, посмотрев прямо в глаза говорившему, ответил:

— Не в ваших, ибо, насколько я помню, вы эти погоны вырезывали на плечах офицеров Добровольческой армии, — а погоны, которые я ношу, даны мне Государем и я считаю за честь их носить. Я ими горжусь! Снимать их не намерен! Это вы можете сперва сдирать погоны, а потом их снова надевать! У нас это так не принято делать!

— У кого это «У нас»? А? — последовал наглый вопрос.

— У нас. У русских людей, считающих себя русскими офицерами! А мы же кто?

— Вот это и я хотел бы знать! Да только вижу, что не русские, ибо русский офицер не задал бы никогда такого вопроса, как вы мне только что задали!

Офицеры НКВД замолчали, не зная, что отвечать. Петр Николаевич посмотрел на них и спросил:

— Куда нужно нам теперь идти?

Смутившись, они заторопились и несколько голосов сказало:

— Вот в эту машину, господин генерал, а остальные — в другую. Петр Николаевич повернулся к нам, посмотрел на нас и сказал:

— Прощайте! Господь да хранит вас! Если кого обидел, пусть простит меня! — он, опираясь на палку, пошел к автомобилю. Двери закрылись. В железной коробке, на которой было написано: «Хлеб», Петр Николаевич поехал в свой последний путь по Русской земле.

Тип автомобилей, подобных «воронку» знаком всему миру. В них обычно доставляют продукты и товары в большом количестве. Кабинка шофера и затем кузов без окон, с дверью сзади. В советском союзе эти машины играют роль честных работяг, развозят по городу хлеб и другие предметы ширпотреба, но другие «закамуфлированные» (на их боках красиво выведены слово «Хлеб» или «Госмясо»), устроены совсем по-иному.

С «воронком» или «следственной» машиной знакомы все арестованные, задержанные властями. Для их перевоза «воронок» устроен с особым «комфортом». Кузов машины разделен на клетки. Первое отделение, у дверей предназначено для конвоиров, затем идут малюсенькие кабинки — направо и налево. Это «одиночки», первоначально предназначались для перевозки одного арестанта, но благодаря перепродукции «следственных» в такой кубик умудряются втыкать по три — четыре человека.

Посередине машины — проход, ведущий до последнего помещения, называемого «общим». В нем полагалось бы везти максимум четырех человек, но обычно в него вталкивают до двенадцати.

Воздух в воронке иссякает в самый короткий срок. Его сразу же утилизируют легкие несчастных следственников, которые начинают ощущать приступы настоящего удушья.

Воронок — первая подготовка арестантов к дальнейшим «методам» следствия. В СССР существует четыре способа косвенного воздействия: одиночество, отсутствие кислорода, отсутствие времени и тишина.

Чем меньше камера, тем она более изолирована от проникновения звука, чем меньше арестант может следить за течением времени и меньше имеет воздуха — тем скорее он начинает «доходить». Крики, ругань, побои и угрозы, у свежеарестованного человека могут вызвать отпор и упрямство. Четыре же способа косвенного воздействия действуют подавляюще, разлагающе и создают прекрасную почву для отчаяния, паники и малодушия.

Нас было мало и первая поездка в воронке прошла нормально. Генералов рассадили по одиночкам. В общее отделение попали отец, Моргунов и я.

Полная темнота. Изоляция звука. Мы не знали, куда нас везут. По шумным и людным улицам Москвы, или по одинокому шоссе. Отец крепко обнял меня за плечи. Эти, знакомые с раннего детства руки вызвали в моем сердце прилив благодарности и растроганности до слез. Я почувствовал себя маленьким, жалким, ищущим поддержки и защиты.

Очевидно, наш воронок не имел рессор. Путь был в рытвинах и колдобинах. Нас подбрасывало, швыряло из стороны в сторону. На каком-то завороте шатнуло и так подбросило, что из одного кубика раздался крик боли. Очевидно кто-то больно ударился головой о потолок машины.

Губы отца придвинулись к самому моему уху. Я чувствовал тепло его дыхания:

— Сын! — шептал он. — Николай, мы уже у цели! Один Бог знает, когда наступит наш конец, но он неизбежен. Может быть сразу. Может быть позже, но прошу тебя, крепись и не бойся смерти.

— Не боюсь! — шепнул я. — Только бы скорей. Я не лгал отцу. В тот момент сама мысль о расстреле не казалась страшной, но хотелось чтобы переход «туда» был как можно более скорым и безболезненным.

Как долог был наш путь — не берусь определить. В темноте

время теряет размеры. Минуты кажутся часами. Часы — вечностью. Дышать, несмотря на то, что нас было всего 12 человек, становилось все труднее. В глазах, как в калейдоскопе, вертелись разноцветные круги. Наконец — рывок. Воронок остановился. Пошел задним ходом, все замедляя движение. Стоп!

Мы перекрестились. Перекрестили друг друга и крепко, по мужски поцеловались. Нам казалось, что подошел момент разлуки.

Задок воронка был подведен почти вплотную к входной двери какого то здания. Нас троих вывели последними. Привезенных окружили офицеры и солдаты в форме МВД.

Повели. Длинный коридор устлан толстенным ковром. Не слышим шагов. Неоновое, абстрактное освещение не отражает тени. Ровная температура. Подошли к дверям, которые открылись бесшумно. Опять коридор. По обе стороны двери, двери, неисчислимое количество дверей. В каждой «глазок» («волчок» — для контроля заключенных).

Молчат сопровождающие. Молчим мы. Все кажется нереальным, заснятым на немом фильме.

У наших тюремщиков лица плоски и без выражения. Неподвижные, равнодушные глаза. Ни злобы, ни интереса. Они ко всему привыкли. Принимали не раз и не таких преступников. Что такое белые генералы по сравнению со своими собственными «псами» и «ренегатами».

Где мы находимся, куда нас привезли — мы еще не знаем. Напрягаем мозг, стараясь угадать. По дороге открывают один за другим «боксы», отделяют людей, втыкают их в эти одиночки и запирают за ними двери. Мой черед.

Щелкнул замок. Осматриваюсь. Осматривать нечего. Малюсенькое помещение вроде телефонной кабинки. Низко навис потолок. Помещение ярко освещено. Глазам больно. Стою согнувшись. Сесть можно только на пол с согнутыми коленами. Тишина. Мало воздуха. Жарко. Душно.

Опускаюсь на пол и сажусь лицом к двери. Над полем моих глаз — отверстие, «очко», Не могу оторвать от него взгляда. Что это? Мне мерещится или действительно зрачок неизвестного человека, не мигая, смотрит на меня? Это настоящий человеческий глаз или в стеклышке «волчка» ловко нарисовано «всевидящее око» МВД?

Акустика одиночек мне не известна, но полную мертвящую тишину иногда прерывает душераздирающий крик, звериный вой кого-то истязаемого или умирающего. Спрашиваю себя — это действительность или трюк, передаваемый по микрофону, где-то спрятанному в щелях бокса?

Начинают затекать ноги. Пробую всевозможные положения. Встаю. При моем росте электрическая лампа начинает жечь темя. Опускаюсь на колени. Неудобно. Пробую, стоя согнувшись, перебирать ногами, как бы делая шажки на месте. Это еще больше утомляет, сильнее чувствуется разреженность израсходованного воздуха. Обессиленный, опять опускаюсь на пол.

Где отец? Где дед? Куда доставили Семена? Увидимся ли мы?

Стараюсь сообразить — который может быть час. Все кажется какой-то фантасмагорией. Сегодня (сегодня ли это?) мы были утром в Австрии. «Дуглас» перенес нас через сотни и сотни километров. Когда мы прибыли в Мосту? Около пяти? Сколько времени я нахожусь в этой ловушке?

Вздрагиваю от страшного крика, который, как мне кажется, раздается чуть ли не в моем боксе. Женский крик.

— Убейте, дьяволы, но дайте вдохнуть воздуха? А-а-а. Чувствую, как волосы поднимаются дыбом. Сердце замерло. Годы спустя мне часто мерещился этот женский вопль. Ведь тогда я ничего не знал о судьбе жены и матери, всех жен и матерей наших офицеров. Я свободно мог предполагать, что коммунисты тоже получили и их из предательских рук «джентльменов с Темзы». Я мог думать, что тут, рядом совсем недалеко от меня, в соседней камере, задыхается моя мать или та, которую я так люблю.

Со лба струйками стекает пот. Волосы стали совсем мокрыми. Я сидел широко открыв рот, вытаращив глаза. Беззвучное движение двери заставило меня быстро вскочить на ноги. По ним болезненными уколами побежали мурашки.

В небольшую щель чья то рука протянула мне тарелку картофельного супа. Ложки нет. Хочешь — пей, хочешь — оставь. Рука протягивает и грамм 400 черного хлеба. На нем лежит кусок сахару. Воды или чая нет.

Суп жидкий и прохладный. Я выпил его, даже не заметив его безвкусность. «Золотые денечки» кончились. Европа осталась за нами и здесь, в Москве, мы перестали быть «привилегированными пленниками». Просто — номер такой-то!

Не успел я доесть, как от меня уже приняли посуду и вывели в коридор. Шел шатаясь. Коленки подгибались. Не чувствовал ступней. Вели меня два «робота». Оба в войлочных ботинках. Бесшумные, как тени. Один впереди, другой за мной. Ни звука. Если нужно было повернуть, передний делал знак рукой. Если задний хотел обратить на что-либо внимание он только шептал:

— Пст! Передний оглядывался и они переговаривались таинственными и не понятными мне знаками.

Коридоры были абсолютно пусты. Я не выдержал и спросил:

—Куда меня?

В зловещей тишине мои слова прозвучали, как гром. Задний робот схватил меня за плечо, другой рукой быстро закрывая мой рот. Передний повернул ко мне лицо с вытаращенными мутными глазами, замахал руками и зашептал: —Шшшш! Ни слова!

Я почему-то решил, что меня сейчас, тут же, начнут бить и напряг всю свою мускулатуру. Ничего не произошло. Молча повлекли дальше и наконец ввели в комнату, в которой находилась молодая женщина лет 25–28 в белом Докторском халате.

Помещение было ослепляюще освещено. Белая, стерильная, типичная больничная приемная врача. Один из «роботов» приказал мне раздеться. Говорил он глухим, тихим голосом человека отвыкшего употреблять свои голосовые связки.

— Раздевайтесь для осмотра! — приказал он. — Запомните: вы находитесь на Лубянке и здесь разговаривать в коридорах воспрещено! На вопросы доктора отвечайте тихо и не многословьте. Понятно?

Итак мы на Лубянке. Знаменитой, зловещей Лубянке. Я стал догадываться почему нельзя громко говорить. По всем «боксам», за дверями всех комнат следователей находятся «следственные». Они, очевидно, не должны слышать друг друга. Они могут узнать знакомый голос, о чем-то догадаться, открыть какую то тайну следствия.

Врач стала меня осматривать. Женщина. Я подумал, что с ней можно поговорить и задал ей какой-то ничего не значащий вопрос. Она молча посмотрела мне прямо в глаза долгим, тяжелым взглядом и опустила веки. Только раз я услышал ее грудной приятный голос. Она спросила, какими детскими болезнями я болел.

Врачиха записала в опросный лист какие-то таинственные знаки, похожие на шифр и небрежным движением руки отпустила, одновременно нажимая кнопку звонка. Тихо, как тени, вошли надзиратели и мы беззвучно поплыли по коридору по направлению к лифту.

И лифт оказался особым, лубянковским. Он был разделен на два отделения. Первое, похожее на лифты всего мира, предназначалось для конвоиров и надзирателей. Второе, узкое-узкое, без окон, с задвигающейся, решетчатой дверью — для заключенных. Этот подвесной «бокс» был настолько узок, что человек с широкой грудной клеткой оказывался зажатым между решеткой и стенкой. Арестантов ставили лицом к стене.

На меня произвело странное впечатление отсутствие видимости оружия у надзирателей. Возможно, конечно, что они

носят его спрятанным в карманах или под кителем.

Мы спустились в подвальное помещение. Страшно. Подвал Лубянки. Мне сразу же вспомнилось все то, что писал мой дед, что я читал в книгах о казематах ЧЕКА и ГПУ.

Вот-вот в холостую заработают моторы грузовиков, раздастся стрельба, появятся пятна крови и мозга на сырых стенах. Ничего подобного. Все чисто, выбелено и царит тишина. Шли по коридорам. Заворачивали не раз. Двери. Двери. Новые коридоры. Мне казалось, что меня нарочно водят по лабиринту, убивая чувство ориентации. Возможно, что мы несколько раз проходили по той же дороге, но все было так однообразно и безлично, что я этого не мог заметить.

По обеим сторонам коридоров — камеры. Двери расположены реже, что доказывает, что это не одиночки и в них нет «волчков».

Наконец меня ввели в ярко освещенную комнату. Белые стены. Мебели нет. Только один стол. Короткая команда: Раздевайся до гола!

Началось то, что в СССР принято называть «шмон». Детальный обыск. Всю мою одежду свалили на стол и стали ее осматривать. Каждый шовчик, каждую складочку. Все «сомнительные» места прорезывались острыми ножами. Даже подметки на моих сапогах были крестообразно взрезаны. С груди сняли иконку Спасителя, оставленную мне в Австрии следователем — евреем. Отобрали и случайно оставшуюся самопишущую ручку. Заглядывали в уши. Заставляли открыть рот и пробовали снять мой золотой зуб. Его долго раскачивали пальцами, но убедившись, что он сидит плотно, оставили в покое. Я давился от отвращения, стараясь языком вытолкнуть чужие, неопрятные щупальца, которые залезали чуть ли не в самое горло. Все мое тело было подвергнуто самому детальному осмотру. Освидетельствовали пятки, растопыривали и заглядывали между пальцами ног. Все ощупали, все обшарили.

Осмотр подходил к концу, но в это время открылась дверь и в комнату вошел крупный и тяжеловесный полковник МВД — Все осмотрели? — полушепотом спросил он (очевидно у людей вырабатывается на Лубянке привычка говорить очень тихо).

— Все!

— А там?

Надзиратель ударил себя ладонью по лбу, как бы говоря — Ах, дурак! Забыл ведь!

— Нагнись! — сказал он мне. Я нагнулся и вдруг взвыл от неожиданности, боли и отвращения. «Сам» полковник МВД, без всяких перчаток, соизволил залезть в мой анус пальцами, без

всяких церемоний стараясь открыть там то, что я, по его мнению, мог туда запрятать.

— Тихо! — рявкнул он. — Не орать! Осмотр был закончен.

— Одевайтесь, — приказал полковник, вытирая пальцы о свой собственный платок. Повернувшись к надзирателям, он добавил: — Оставьте ему пока все. И пуговицы и погоны и ремень и ведите его прямо к «нему».

— Кто это «он»? — подумал я, быстро одеваясь. Вероятно какой-то очень крупный зверь. Уж не Сталин ли?.. Абсурд!

Моя одежда потеряла свой облик. Швы надрезаны, подметки цепляются за пол. Вид далеко не бравый и не подтянутый. За два дня опять успела отрасти щетина на лице.

Лифт. Не видя мелькания этажей, не могу угадать, как высоко меня поднимают. Вышли в широкий коридор, устланный от стены до стены роскошным, мягким, пушистым ковром. Двери, мимо которых мы проходим — обиты кожей. На них — номера. Окна покрыты тяжелыми портьерами. Спокойный неоновый свет ласкает усталые от яркого освещения глаза.

Шли через отделение следователей. За каждой дверью, как мне потом рассказывали находился зубр МВД, производивший дознания.

Свернули налево и ввели в большую, хорошо обставленную комнату. За письменным столом сидел какой-то щеголеватый офицер. Напротив него — мой отец!

— Папа! — вскричал я, бросаясь к дорогому старику. Мы обнялись и расцеловались. Офицер, чуть-чуть прищурив глаза, с иронической благосклонностью смотрел на это родственное излияние чувств.

— Садитесь! — сказал он.

— Вы можете разговаривать, «господа» Красновы. О чем мы могли говорить в его присутствии? Мы только держались за руки и смотрели друг другу в глаза.

Милый, милый мой папка. Сколько новых морщинок окружило его усталые глаза, испещрило лоб. Две новых, глубоких складки, залегли от ноздрей, к углам рта, к подбородку.

— Что дальше? — шепнул я.

— Не знаю! — одними губами ответил отец.

— Дед? Семен?

Он только пожал плечами.

Значит, нас всех разделили. Прошел ли и Петр Николаевич через пытку сидения в «боксе». Задыхался ли бедный старик, мучаясь из-за несгибающейся сухой ноги, для которой не находилось места в этом кубике?

Офицер, казалось, не обращал на нас внимания. Он

сосредоточенно перелистывал какие то бумаги, иногда отбивал легкую дробь, остро отточенным, новеньким карандашом. Затрещал невидимый звонок. Открылись большие двери. Офицер вскочил. Встали и мы. Нас повели в громадную комнату, напоминавшую зал для конференций.

В самой глубине зала стоял широченный, блестящий письменный стол. Направо и налево от него, как бы покоем, — столы, покрытые сукном. На стене огромный портрет «вождя» в форме генералиссимуса, во весь рост, метра три высотой. На противоположной стороне — портрет Берия. В простенках между окнами, закрытыми темно-красными бархатными гардинами портреты членов ЦК ВКП(б).

Весь пол покрыт дорогими бухарскими коврами. Против письменного стола, метрах в десяти стоял маленький столик и два стула. Меня все время поражала полная тишина. Как будто все здание притаилось, замерло, стояло где-то вне времени, вне пространства. Как будто кругом него не бурлила, не шумела, не двигалась Москва.

За письменным столом, без движений сидел генерал в форме войск МВД.

— Меркулов! — шепнул за нашей спиной офицер.

Меркулов (начальник госбезопасности, в 1954 году, по делу Берия он был осужден вместе с Рюминым, нач. следственного отдела МГБ и другими бывшими «величинами». Сидел тут же, на Лубянке и был повешен) не поднимал взгляда с бумаг, лежащих на столе.

— Садитесь. — шепнул офицер для поручений, указывая нам на два стула у маленького столика. Мы сели. У меня учащенно билось сердце и прерывалось дыхание, как после долгого и утомительного бега.

Генерал молчал. Мы — не шевелились. Затем он медленно поднял тяжелую голову и беззастенчиво, открыто, стал нас рассматривать, как рассматривают восковые фигуры в паноптикуме.

Офицер, как истукан, стоял за нашими спинами.

— Принесите чаю и закусить «господам» Красновым, — внезапно резким голосом сказал Меркулов. — И предложите им папирос.

Услужливая рука опустила на столик открытую пачку папирос «Казбек». Офицер вышел.

Опять молчание. Долгое, напряженное молчание. Меркулов очевидно ожидал, когда нам принесут чай. Появился поднос с дымящимся напитком, приятно, горько щекотавшем в носу. Красивая сервировка. На тарелочках — всевозможные «монеры»,

как любил говорить отец.

— Выйдите! — приказан генерал.

Мы остались втроем.

— Не стесняйтесь, «господа»! Закусывайте и пейте чай, — предложил Меркулов, вставая. — Такие «чаепития» не частое явление у нас на Лубянке. Только для особых гостей!

На его лице появилась странная блуждающая улыбка, полная скрытого смысла.

— Пока вы будете закусывать, я вам расскажу кое-что. Кто я таков, вам вероятно уже сказали. Я — Меркулов, один из ваших будущих, ну скажем — начальников!

Пауза. Генерал ходил взад-вперед за своим письменным столом, мягко и плавно раскачиваясь в бедрах и ловко поворачиваясь на каблуках.

— Как доехали? Не укачало ли и вас в самолете? (что это, намек на Шкуро?) Не беспокоил ли вас кто-нибудь? Есть ли какие-нибудь жалобы? — и, не дождавшись ответа, скорее, даже не интересуясь им, Меркулов обратился прямо к отцу: — Почему вы не курите, Краснов, и не пьете чай? Вы, по моему, не очень разговорчивы и дружелюбны! Думаю, что за этим молчанием вы пытаетесь скрыть ваше волнение, страх. А волноваться, в общем, совсем не стоит. По крайней мере — не в этом кабинете. Вот, когда вас вызовут к следователю, я вам советую говорить только правду и находить ответы на все вопросы, а то мы и подвешивать умеем. — Меркулов тихо засмеялся. — Знаете, как подвешивают? Сначала потихоньку, полегоньку, даже не больно, но потом. Не описал ли в своих книгах подобный способ дознания атаман Краснов?

У меня похолодели пальцы. В висках пульс отбивал какой-то бешенный «там-там». Так громко билось сердце, что стук его должен слышать и Меркулов, стоявший за письменным столом на расстоянии десяти метров.

Отец молчал. Лицо его было бледно, но сосредоточенно спокойно. Завидую ему.

— На свободу не надейтесь, — продолжал генерал. — Вы же не ребенок! Однако, если не будете упираться, легко пройдете все формальности, подпишите кое-что, отбудете парочку лет в ИТЛ и там привыкнете к нашему образу жизни, и найдете ее прекрасные стороны. Тогда, возможно, мы вас выпустим. Жить будете!

Опять пауза.

— Так что, полковник Краснов, выбирайте между правдой и жизнью, или запирательством и смертью. Не думайте, что я вас запугиваю. Наоборот! Ведь Петр Николаевич, Семен Николаевич и вы — наши старые знакомые! В 1920 году вам удалось вьюном

выскочить из наших рук, но теперь — все карты биты. Не уйдете! Нэма дурных, — как говорят на Украине.

Несколько шагов туда и обратно. Руки у генерала заложены за спину. Он играет пальцами скрещенных кистей. Невольно замечаю что на одном поблескивает кольцо.

— Итак, полковник, мы с вами договорились?

— Мне не о чем с вами договариваться! — резко ответил отец.

— То есть как «не о чем»? — тихо рассмеялся чекист. Уговор дороже денег, Краснов. Ваше прошлое нас не интересует. Мы о вас все знаем. Но вот известные маленькие подробности о ваших действиях ближайшего времени, будет не вредно услышать от вас самих.

— Мне вам нечего рассказывать! — не понимаю к чему вся эта волокита. Кончайте сразу. Пулю в затылок и.

— Э-э-э, нет, «господин» Краснов! — криво усмехнулся Меркулов, опускаясь в кресло. — Так просто это не делается. Подумаешь! Пулю в затылок и все? Дудки-с, Ваше благородие! Поработать надо. В ящик сыграть всегда успеете. Навоза для удобрения земли — хватает. А вот, потрудитесь сначала на благо Родины! Немного на лесоповале, немного в шахтах по пояс в воде. Побывайте, голубчик, на 70 параллели. Ведь это же так интересно! Жить будете, как говорят у нас. Вы не умеете говорить на «нашем» языке. Не знаете лагерных выражений, родившихся там, в Заполярье. Услышите! Станете «тонкий, звонкий и прозрачный, ушки топориком»! Ходить будете «макаронной» походочкой! расхохотался генерал. — Но работать будете! Холод вас заставит!

Мы сидели молча. В голове у меня гуд. Ладони рук вспотели от бессильной злобы.

— Нам стройка нужна, полковник Краснов! Где руки взять? От висельников и «жмуриков» пользы большой нет. Времена переменились. Расстрел — в редких случаях. Нам рабочие руки, бесплатные руки нужны. Двадцать пять лет мы ждали радостной встречи с вами. Довольно вы в эмиграции языком мололи и молодежь с пути истинного сбивали.

Меркулов немного задыхался от своего монолога. На лбу отскочила толстая жила. Глаза стали острыми, как жало ненависти.

— Испугались? Чего? Работы испугались? А впрочем, что тут говорить. Ни вы мне, ни я вам, не верим ни одному слову. Вы для меня — белобандит, а я для вас красный хам! Однако, победа за нами, за красными. И в 1920 году и теперь. Сила на нашей стороне. Мы не льстим себя надеждой, что нам удастся

перевоспитать Краснова и превратить его в покорную советскую овечку, любовью к нам вы никогда не воспылаете, но мы сумеем вас заставить работать на коммунизм, на его стройку, и это будет самым лучшим моральным удовлетворением!

Меркулов умолк, выжидающе вытаращив глаза на отца.

— Зачем такое длинное вступительное слово? — устало ответил отец. — Я все прекрасно понимаю и без пояснений, господин генерал. Мне ясна безнадежность нашего положения. Мы, с сыном, солдаты. Оба воевали. Оба встречались со смертью глаз на глаз. Нам все равно, на какой параллели, 70 или какой, она махнет своей косой. И ругаю себя только за одно — зачем я поверил англичанам. Однако, сняв голову.

— Ах! Если бы только смерть! — усмехнулся Меркулов. — Бросьте громкие слова о «солдатской смерти». Это — отсталая белиберда! Смерть прошла мимо, даже вас не заметив! То, что вы поверили англичанам — так это действительно глупость. Ведь это — исторические торгаши! Они любого и любое продадут и даже глазом не сморгнут. Их политика — проститутка. Их Форэйн Оффис — публичный дом, в котором заседает премьер — главная дипломатическая «мадам». Торгуют они чужими жизнями и своей собственной совестью. Мы? Мы им не верим, полковник. Поэтому мы и взяли вождей в свои руки. Они и не знают, что мы их заперли на шахматной доске в угол и теперь заставили их плясать под нашу дудку, как последнюю пешку. Рано или поздно произойдет схватка между коммунистическим медведем и западным бульдогом. Милости, нашим сахарным, медовым, пресмыкающимся и заискивающим союзничкам — не будет! Полетят к чертовой матери все их короли, со всеми их традициями, лордами, замками, герольдами, орденами бань и подвязок и белыми париками. Не устоят под ударом медвежьей лапы все те, кто льстят себя надеждой, что их золото управляет миром. Победит наша здоровая, социально крепкая, молодая идея Ленина — Сталина! Быть посему, полковник!

Меркулов встал и, договаривая последние слова, как топором рубил краем ладони по столу. Затем, вздохнул, как бы переводя дух, прошелся по диагонали от стола к занавеске окна, отодвинул ее немного, словно ища что-то на небосводе, помолчал и, немного выждав, подошел ко мне. Его взгляд обшарил мое потное лицо.

— А вот сына мне вашего жалю. Воспитали глупо. В «старых традициях». Зачем? Чего он полез в эту гитлеровскую кашу? Пошел бы к Тито — жил бы как человек. Ему бы ордена прицепили, чинов надавали. Тито нужны такие молодчики. Тоже офицер. Краснов!

— Офицер Короля Петра! — поторопился я. — И не могу

согласиться с вашей «чертовой матерью», к которой должны лететь «все короли». Моя идея.

— Щенок! Кто вас спрашивает об идеях! Молокосос! Не к тебе, а к твоему отцу я обращался. Хорош фрукт! Яблоко от красновской яблони не далеко откатилось!

Меркулов внезапно налился кровью, как клоп.

— Королевский офицер! Видали? А мускулы у тебя есть, королевский офицер? Пошлю тебя работать туда, куда Макар телят не гонял, так ты другое запоешь! Будешь поправлять то, что фашистские гады понапортили. Жалко, что мало вас контриков мы получили! Многим удалось смотать удочки и спрятаться под юбкой у западников. Ничего! В свое время и их получим. Со дня моря достанем! Нннет! Пулю в лоб вы не получите. Ни в лоб, ни в затылок. Жить вас заставим. Жить и работать! Придет время, во имя социалистической стройки сами передохнете.

— Я думаю, что этот разговор ни к чему не ведет! — неожиданно резко вставил отец.

— Чтооо! — взревел генерал МГБ. — Отдаете вы себе отчет, где вы находитесь и с кем говорите? На Лубянке! С Меркуловым! Здесь я хозяин. Я говорю что хочу! Помогла вам петиция, которую ваш дядюшка, атаман, на французском языке из Шпитталя послал? Что, вы думаете, что мы об этом не знаем. Не помогут Вам ни Черчилли, и ни Труманы, ни короли ни дипломаты! Если мы гаркнем, так они хвосты подожмут. Рассказывают, что цари ходили своих коней на берегах Одера водой поить, так мы, придет время, на берегах Темзы советских лошадей напоим!

Палец Меркулова судорожно нажал кнопку звонка на столе. В зал влетел офицер.

— Убрать их! С меня хватит! Но следователям скажи — «без применений»! Понял? Жить должны! Работать должны!

Несмотря на протекшие 11 лет, встреча с Меркуловым и все им сказанное настолько врезалось в мою память, произведя в то время незабываемое впечатление, что я старался его передать с возможно абсолютной точностью, может быть что-либо упустив, но не прибавив.

На столе стыл чай. Стояли в вазочках не тронутые печенья и папиросы. Не польстились мы на меркуловское угощение.

Нас вывели. В коридоре я протянул папе руку, но между нами встал «робот» с неподвижным лицом. Надзиратель пальцем показал своим сподручным — одного направо, другого налево!

В каком-то часу 4 июня 1945 года меня отделили от отца, и я с ним увидался только 27 октября того же года.

Меня втолкнули в «очко» лифта. Спустились в подземелье. Еще не был закончен этот день, преподносивший столько

сюрпризов.

В подвале находилась лубянковская баня. Меня ввели в раздевалку, приказали раздеться и ждать.

— Атамана Краснова приведут купаться, — сказал один из «роботов». — Сам старик не может, так попросил, чтобы вы его выкупали. Разрешили.

Дед! Увижусь с дедом!

Его ввели вскоре. Шел тяжело, сильно упираясь на палку, все еще в полной форме, в погонах и с орденом на груди. Я помог ему раздеться и мы вошли в душевое отделение. Надзиратели остались в предбанном помещении.

Шумела вода из душей, вытекая сразу из всех кранов. Я медленно намыливал деда, с каким-то смешанным чувством глубокой грусти и скупой, мужской, кряжистой нежности. Делал это тщательно. Первый раз мы мылись после 28 мая. Старик крепился.

— Запомни сегодняшнее число, Колюнок, — говорил он мне. — Четвертое июня 1945 года. Предполагаю, что это — наше последнее свидание. «Гусь свинье не товарищ», как говорится. Не думаю, чтобы твою молодую судьбу связали с моей. Поэтому я и попросил, чтобы тебя мне дали в банщики. Ты внук, выживешь. Молод еще и здоров. Сердце говорит мне, что вернешься и увидишь наших. А я уже двумя ногами стою в гробу. Не убьют — сам умру. Подходит мой срок и без помощи палачей. Если выживешь — исполни мое завещание. Опиши все, что будешь переживать, что увидишь, услышишь, с кем встретишься. Опиши, как было. Не украшай плохое. Не сгущай красок. Не ругай хорошее. Не ври! Пиши только правду, даже если она будет кому-нибудь глаза колоть. Горькая правда всегда дороже сладкой лжи. Достаточно было самовосхваления, самообмана, самоутешения, которыми все время болела наша эмиграция. Видишь, куда нас всех привел страх заглянуть истине в глаза и признаться в своих заблуждениях и ошибках? Мы всегда переоценивали свои силы и недооценивали врага. Если бы было наоборот — не так бы теперь кончали жизнь. Шапками коммунистов не закидаешь. Для борьбы с ними нужны другие средства, а не только слова, посыпание пеплом наших глав и вешание арф на вербах у «рек Вавилонских».

Шумела вода. В моей руке застыла намыленная мочалка. Мы присели на мокрую, скользкую скамейку.

— Учись запоминать, Колюнок! Зарубай у себя на носу. Здесь, в подобных условиях, писать тебе не придется. Ни записочки, ни заметочки. Употребляй мозг, как записную книжку, как фотографический аппарат. Это важно. Это невероятно важно! От Лиенца и до конца пути своего по мукам — запоминай. Мир

должен узнать правду о том, что совершилось и что совершится, от измены и предательства, до конца. Не воображай себя писателем, философом, мыслителем. Не выводи сам своих заключений из того, что тебе не ясно. Дай их вывести другим. Не гонись за четкостью фразы, за красотой слов. Не всем это дано. Будь просто Николаем Красновым, а не художником — писателем. Простота и искренность будут твоими лучшими советниками. В свое время я написал много книг. Всю свою душу вложил в них. Многие мои произведения занозой сидят в сердцах наших теперешних «радушных хозяев». Они переведены на 17 языков. И сегодня меня расспрашивали — откуда я брал типы и материалы, есть ли у меня еще что-либо не изданное, где находится. Им я не сказал, но тебе скажу: у бабушки, Лидии Феодоровны! Там и манускрипт книги «Погибельный Кавказ». Повесть. Посвятил я ее нашему юношеству. Русскому юношеству. Прошу тебя, если выйдешь — издай эту книгу в мою память. Обещаешь?

— Обещаю, дедушка.

— Что бы ни случилось — не смей возненавидеть Россию. Не она, не русский народ — виновники всеобщих страданий. Не в нем, не в народе лежит причина всех несчастий. Измена была. Крамола была. Не достаточно любили свою родину те, кто первыми должны были ее любить и защищать. Сверху все это началось, Николай. От тех, кто стоял между престолом и ширью народной. Россия была и будет. Может быть, не та, не в боярском наряде, а в сермяге и лаптях, но она не умрет. Можно уничтожить миллионы людей, но им на смену народятся новые. Народ не вымрет. Все переменится, когда придут сроки. Не вечно же будет жить Сталин и Сталины. Умрут они, и настанут многие перемены. Воскресение России будет совершаться постепенно. Не сразу. Такое громадное тело не может сразу выздороветь. Жаль, что я не доживу. Помнишь наши встречи с солдатами в Юденбурге? Хорошие ребята. Ни в чем я их винить не могу, а они то и есть — Россия, Николай! А теперь, давай прощаться, внук. Не привелось мне иметь твоего, прямого потомства, но вы, Семен, твой отец и ты, близки мне, как единородные. Жаль мне, что мне нечем тебя благословить. Ни креста, ни иконки. Все забрали. Дай, я тебя перекрещу, во имя Господне. Да сохранит Он тебя.

Дед крепко сложил пальцы и, сильно прижимая их к моему лбу, груди, правому и левому плечу, осенил крестным знамением.

Я чувствовал, как комок рыданий подкатывает к горлу. Слезы остро защипали края век. Мне пришлось до боли сжать зубы, чтобы сдержать себя. Обняв старческое тело, я старался в этом объятии передать все свои мысли и все свои чувства.

— Прощай, Колюнок! Не поминай лихом! Береги имя Красновых. Не давай его в обиду. Имя это не большое, не богатое, но ко многому обязывающее. Прощай!

В дверях показалось лицо надзирателя. Пора. Отпущенный с такой щедростью срок свидания прошел. Вошли в раздевалку. Помогая одеться Петру Николаевичу, я заметил, что с его кителя исчезли погоны и орден Св. Георгия. С моего тоже было все снято и, Боже, на что он был похож! Парад окончен. К расчету стройся!

В коридоре старик махнул мне рукой и пошел между своими конвоирами медленно — медленно, тяжело опираясь на палку. Ушел от меня навсегда дед, генерал Петр Николаевич Краснов.

В 1947 году, уже в лагере, я прочел в «Правде» сообщение о судьбе Петра и Семена Красновых, Андрея Шкуро, Султан Келеч Гирея, Доманова, Головко, Гельмута фон Паннвица и других. «За контрреволюцию, за активное участие в борьбе против советской власти, за диверсию, бывшие белобандиты, а также изменники великой советской родине и немецкий фашист были осуждены на смерть через повешение. Приговор приведен в исполнение. Подробностей о ведении следствия и суда, конечно, не было. Не входило в интересы Меркулова и Ко. Но, впоследствии я встретился с человеком, который мне рассказал, что он больше года провел с дедом в одной камере в тюрьме Лефортово. Он говорил, что все осужденные держались очень стойко и достойно. Даже решение суда и перспектива смерти на виселице не поколебала их спокойствия. Казнены они были во дворе тюрьмы Лефортово. Во время следствия дед страдал только физически. Его ноги сильно распухли. Его дважды переводили в тюремную больницу. Питание было очень плохим. Только раз ему дали немного портвейна для поддержания работы сердца. Петр Николаевич ходил все время в тюремной одежде. Его форма (китель с русскими генеральскими погонами и брюки с лампасами) была снята, вычищена, выглажена и хранилась в тюремном цейхгаузе. Но этот же человек говорил, что, по слухам, на суде генерал П.Н.Краснов был одет в эту форму. По этим же сведениям, в музее МВД хранятся формы всех повешенных, включая, конечно, и немецкую, генерала фон Паннвица. В назидание потомству.

Логично было бы предполагать, что в душевом отделении лубянковской бани должен был где-то находиться микрофон и что мой разговор с Петром Николаевичем был записан на ленту. Однако, или не было этих микрофонов, или шум непрерывно лившейся воды заглушил слова деда — не знаю. Точно лишь одно за все 11 лет моей отсидки, нигде и никогда при допросах или разговорах с начальством, не фигурировали подробности или

даже намеки на содержание наших прощальных слов.

Проходя в памяти все эти годы, я прихожу к одному неоспоримому выводу судьба 12 генералов, выданных из Австрии, была предрешена заранее. Они должны были умереть.

Их смерть не являлась возмездием за содеянные ими дела, ни за урон, в свое время нанесенный ими Красной армии или престижу СССР. Ни за «пропаганду», проводимую в период пребывания в эмиграции. Не преследовалась даже цель «обезглавления» белобандитских зарубежных сил. Казнь эмигрантов, бывших советских офицеров и немца, решившего играть с ними вместе до конца, являлась запугиванием всех тех, кто в душе хранил надежду на возможное освобождение, всех реакционеров в СССР и зарубежье. Доказательством, что врагов своих советский союз и со дна моря достанет и покарает высшей мерой наказания, а свободный мир умоет руки, как Пилат.

Последние минуты моего прощания с дедом заставили меня забыть внутренне, вспылить по поводу того жалкого состояния, в котором я нашел мою одежду. Мне вспомнились слова, сказанные при первом нашем обыске в этот день: «Оставь им пока пуговицы, погоны и ремни!»

«Красота» была сохранена для визита к «самому» Меркулову. Теперь она была не нужна и меня привели в вид обычного арестанта. На всех предметах моего обмундирования, начиная с подштанников и рубашки, были срезаны все крючки и пуговицы. Бриджи мне пришлось придерживать руками, т. к. исчез и кожаный пояс. Прежде чем водворить в камеру, меня отвели к лубянковскому брадобрею, который наголо выстриг мою голову. До 1954 гола мои волосы не отрастали. Только тогда разрешили лагерникам носить «прическу».

После всех этих операций меня опять водворили в «бокс». Я окончательно потерял счет времени. Тишина. Затем стук в соседней одиночке. Чей-то хриплый крик и опять тишина. Трудно дышать. Начинаю считать без всякого толку и вскоре сбиваюсь. Пробую начать снова, но как раз в это время бесшумно открывается дверь и безличная рука протягивает мне миску картофельного супа. На этот раз без хлеба и сахара. Что это? Завтрак? Прошло уже страшное 4 июня, и настало пятое?

Держу на коленях миску с холодным супом и думаю. Голова тяжелая. Мысли расплываются.

Дверь опять открывается и появляется голова надзирателя. Он смотрит на полную посуду.

— Жрать-то когда будете? Полчаса жду миску-то! Что, к тещеньке в гости приехали или в гостиницу — ресторан?

Он сказал — «полчаса». Это — кусок времени. Нужно

запомнить, что если вот так сидеть, то пройдет полчаса! Сколько же я сидел? Как это определить?

Голова мелет бессмыслицу, но мне так хочется поймать ход времени. Решаю схитрить. Глотаю безвкусный суп и мысленно считаю. Вот — последний глоток. Стучу в «волчок». Дверь открывается.

— Ну, что? — спрашиваю. — Долго ждал? — Да, минуты две! — неохотно отвечает «робот». Две минуты. Две минуты. Я считал до 72. Как мне запомнить этот размер! Тридцать шесть — это одна минута. Глупости, но. Как бы счет приравнять к ударам сердца? Мой пульс наверное бьет 60–70 в минуту. Нужно считать пульс. Из минут можно составлять часы, из часов дни.

Впадаю в забытье, крепко сжав пальцами правой руки запястье левой. Сколько я спал — не знаю. Разбудило меня движение двери.

— Ишь — ты, спит. — пробурчал надзиратель. — Выходи, который с вещами! Руки назад!

Вещей у меня давно уже нет. Подбираю руками опустившиеся брюки. Скорей из этого жуткого бокса! Язык пересох. Колом торчит во рту. Нестерпимо болит голова. Спину не разогнуть. Ноги — как гири.

Опять коридоры, повороты, двери, на них «волчки». Тяну ноги. За надзирателями, тихо ступающими в войлочных сапожках. Наконец — стоп!

Вводят в комнату и сейчас же приказывают стать лицом к стене. Немного скосив голову, мне удается одним глазом заметить, как надзиратель передает какую-то бумагу офицеру, сидящему за столом. Вероятно, меня передают из одного ведомства Лубянки в другое? Офицер расписывается и сдает меня другому надзирателю. Тот подходит ко мне: «Давай, фашист! Аида!»

Думаю, что слово «фашист» является самым оскорбительным в советском лексиконе и как ярлык прилеплено ко всем нам.

Меня ввели в правую дверь. Выводят через левую. Из департамента в департамент? Предполагаю, что в пропуске не стояло мое имя. Просто номер. Не зная, что я русский, мой новый конвоир обращается ко мне на ломаном языке, думая, что таким способом он его сделает более понятным иностранному «фашисту». Причиной этому, вероятно, были и остатки некогда бравой немецкой формы.

— Кумм! Маршуй! Аида! тихо повторяет надзиратель. Идем по коридору до дверей, обитых кожей. Опять комната. Опять офицер. Опять проверка пропуска. Проходим через помещение насквозь. Конвоир открывает деревянные двери. За ними вторые,

застекленные. Перед моими глазами открывается небо. Голубое небо!у Чувствую головокружение от его синевы, как человек, глядящий в глубокую пропасть.

На дворе день. Захватываю полные легкие воздуха. От кислорода мне кажется, что я вот-вот взорвусь, но это только на секунду, т. к. в следующий момент меня уже подхватывают под мышки и вталкивают в дверь «воронка».

— Куда? — кричу я, отбиваясь, но дверь за мной захлопывается. Щелкает замок. Опять полная темнота. Одиночество. Духота.

Лефортово военная московская тюрьма

Все осталось позади. В прошлом. Перевод в военную тюрьму Лефортово окончательно оторвал меня от всех, кого я любил, кто любил меня. Третья разлука. Первая в Лиенце с мамой и Лилей. Вторая в Юденбурге, когда нас отделили от соратников. Теперь же я окончательно остался один.

В течение недели моя жизнь сделала гигантский скачок вперед и мне казалось, что уже прошло столетие. Вечность отделяла меня от «поручика Краснова», оставшегося где-то в прошлом.

Вероятно, старые москвичи прекрасно помнят Лефортовскую тюрьму, это странное по архитектурному замыслу здание, постройки времен Императрицы Екатерины II.

Фундамент Лефортова напоминал громадную букву «К». Разделена она по этажам на ряды камер, напоминающих соты. Каждый этаж внутри здания опоясан балконом, заменяющим коридоры. Середина— как колодезь, двор под крышей. Балконы — железные. Этажи связаны крутыми железными же лестницами.

Жизнь Лефортовской тюрьмы идет особым ходом. Ею управляют «регулировщики». В середине колодца-двора стоит надзиратель — регулировщик с двумя флажками. Желтым и красным. Его задача состоит в том, чтобы не допустить встречи двух следственных, сопровождаемых из одного помещения в другое, идущих на допрос или на прогулку. Он все время следит за движением на балконах, крутясь вокруг своей оси. Заметив, что по балкону одного этажа движется шествие, надзиратели и подсудимые, и в то же время по балкону другого этажа идет подобная процессия, он поднимает красный флаг, что для обеих групп означает сигнал «стоп». Затем, повернувшись к одной из групп, поднимает в ее сторону желтый флаг. Группа двигается. Встреча избегнута.

Все «разговоры» производятся молча. Конвоиры пальцами показывают направление, куда они ведут арестантов, и пальцами же дают понять на какой этаж они доставляются.

Если регулировщик бывает отвлечен и не замечает во время появления, скажем, третьей группы, кажется, что «крушение» становится неминуемым, но он сигнализирует красным флагом. Одна группа останавливается. Заключенного буквально прислоняют лицом к стене и загораживают своими телами надзиратели. Заключенному второй группы подается команда —

«смотри влево», или «смотри вправо», т. е. в противоположную от стенки сторону, и быстро проводят мимо застывших фигур.

Таким образом, заключенным, находящимся на разных этажах, в разных камерах, совершенно невозможно увидеть друг друга. Разговаривать во время переходов строжайше запрещено. Все переговоры между сопровождающими надзирателями производятся знаками. Тихий удар ключом о пряжку пояса обращает внимание одного на безмолвно делаемые знаки других.

Сам вывод подследственного из камеры производится по церемониалу. Особой сигнализацией запрашивается стоящий внизу регулировщик и только когда он подает знак — открывается дверь. Регулировщик — царь и бог жизни в Лефортове. Он — командующий всем внутренним сообщением.

В каждом коридоре, вернее, на каждом этаже, существует свои «старшой». Он командует всеми этажными надзирателями. Его привилегией является выпуск и впуск арестантов. У него ключи от камер. Он единственный имеет право входить в камеры для утренней и вечерней проверки. При его появлении все арестанты должны встать с коек и заложить руки за спину.

Вызов к следователю и всякое передвижение арестантов производится тоже по строго установленному церемониалу. Старший входит с бумажкой из пропускного отделения. Он ее таинственно, заслонив рукой, рассматривает и бережет как зеницу ока. На бумажке — подпись следователя, к которому вызывается арестант. Старший подходит к каждому арестанту, сколько бы их ни находилось в камере, и шепотом спрашивает фамилию, имя и год рождения. Ответы тоже даются шепотом. Обойдя всех он опять заглядывает в бумажку и молча указывает пальцем на жертву.

Допрос делается для особой проверки, чтобы к следователю не попал «лжеподсудимый», выдающий себя за другого. Возможно, что вызываемый оказался первым, которого спросили об имени, но процедура проделывалась всегда и без исключения до конца.

Перевод в другую камеру или тюрьму делается подобным же способом, но тогда прибавляется: вы с вещами!

Вся ирония заключается в том, что ни у кого вещей нет. Их отбирают при входе в Лефортово.

Следовательский корпус стоит отдельно. При входе в него старший передает арестанта другому надзирателю. Оба, и сдающий и принимающий, расписываются в книге: Арестант номер такой-то, из комнаты такой-то, старшим таким-то, передается — принимается.

За время этой процедуры, подследственный не

«прохлаждается» в приемной, а «отдыхает» в малюсеньком вонючем «боксе».

Принявший надзиратель по телефону проверяет у следователя, может ли он провести к нему «пациента» и чист ли по коридорам воздух. Момент вывода из бокса точно до минут, даже до секунд записывается в книгу. Как в аптеке! Обратная процедура та же.

Надзиратели часто сменяются. Остается почти бессменно только старший, особо доверенная личность. Остальные дежурят по разным этажам, даже переводятся в другие тюрьмы во избежание «привычки» к арестантам. В общем — Лефортово является, конечно, особой во всех отношениях и самой строгой тюрьмой.

Мой перевод с Лубянки повлек за собой все передаточные удовольствия. Опять я сидел и выжидал у моря погоды в миниатюрном боксе, согнувшись в три погибели. Опять меня обыскивали, раздевали, заглядывали в самые сокровенные места, хотя я прямым путем попал туда с Лубянки, не высовывая носа из «воронка». Опять — докторский осмотр.

Из «бокса» я попал в камеру № 377. Терпеть не могу семерку! У меня с детства к ней отвращение. Не раз мои маленькие горести и юношеские незадачи случались под знаком семерки. Вспоминаю мой первый кол за поведение, который я получил в гимназии за курение в коридоре. В седьмом классе, седьмого марта!

Мое пребывание в Лефортове нельзя назвать особо тяжелым по сравнению с тем, что в этой же тюрьме пережили другие. Я не прошел в «предвариловке» все градации промывания мозгов. Очевидно, по молодости лет, по краткости моей жизненной карьеры, я не считался таким уж интересным или важным преступником. Сидел я за «красновство», как мне остроумно сказал один из следователей, но с меня и того, что я пережил, хватит до конца моих дней.

В Лефортове я, конечно, прошел через сидение в одиночке, приступы удушья от отсутствия воздуха, накаливание темени, мертвую тишину и потерю понятия о времени. Но ко всем этим удовольствиям здесь присоединялись мучения, вызванные задерживанием естественных отправлений. Временами казалось, что лопнет мочевой пузырь, и что весь кишечник наливается раскаленным оловом. За «несдержанность» в этом отношении можно было получить продление срока сидения в «боксе» до бесконечности.

Чего я избежал — это т. н. предвызовного периода.

Обычно до первого вызова к следователю «следственный»

проводит немало дней в одиночке. Эти маленькие камеры абсолютно не пропускают звука. Тишина буквально гробовая. Однако, каким-то путем, иной раз проникает жуткий крик, напоминающий вой зверя, или предсмертный хрип. Все это делается вероятно, для достижения особых «эффектов». По словам людей, прошедших эту школу, они радовались даже этим «гранд гиньол» звуковым передачам.

Люди сходят с ума от того, что они днями, а иной раз неделями не слышат человеческого голоса. Особо тяжелые «преступники», сидящие долгое время в одиночке, прибегают к разным ухищрениям. Они начинают говорить сами с собой. Просто выражают все свои мысли вслух, ругаются, вспоминают и декламируют стихи, поют, для того, чтобы слышать хоть самого себя. Затем они начинают повторять слоги, без смысла, как дитя. Ба-ба-ба-ба! Ма-ма-ма-ма! Та-та-та-та! То повышая, то понижая тон, лепечет несчастный, сам не узнавая свой голос.

Отсутствие понятия о ходе времени, как я уже писал, буквально доводит до безумия. Ни дня, ни ночи. Странно, до чего человек привык к понятию о сутках, о времени сна и бодрствования. Когда это привычное понятие теряет размер — становится жутко. До безумия хочется узнать, что происходит за резиновыми стенами «бокса». Светит ли солнце или звезды мерцают на небе? Что делают люди? Спят? Работают? Гуляют по улицам? Едят обед или завтрак?

Яркий свет не дает спать. В кубике ни встать, чтобы выпрямиться, ни лечь, чтобы с хрустом протянуть застывшие суставы и мускулы. Как человек ни ухитряется менять положение тела — отдыха нет.

Пища подается в щель двери. Видна только рука подающего. Все выкрикнутые вопросы остаются без ответа.

Она нарочно подается в самое неурочное время, с самыми невероятными интервалами. Человек теряется. В чем дело? Ведь он не голоден! Потерял ли он аппетит, или ему принесли обед сразу же после завтрака?

У пожилых людей страшно повышается давление. Отсутствие кислорода, вдыхание отработанного воздуха вызывает в ушах колокольный звон, головокружение, радужные круги в глазах, иной раз даже приступы временной слепоты. Конечно, организм развинчивается и начинает действовать в противоположном движению стрелки часов направлении. Питание обычно очень скудное и безвкусное.

Пройдя эту предварительную обработку, несчастный радуется вызову к следователю, как ребенок. Он шагает. Он дышит. Он видит людей, может быть, бессердечных, свирепых, но людей. Он

слышит человеческий голос и может сам говорить слова.

Никто не смеет осудить следственника, пьющего стакан горячего чая в комнате у следователя, принимающего папиросу из его рук. Организм становится сильнее Духа. Он требует, он стремится, и ему не может приказывать никакая сила воли.

Табачный дым вызывает в первую минуту сильное головокружение, но одновременно никотин в изголодавшемся теле производит особое действие. Он делает мысль легкой (одно воображение!)и придает известное спокойствие (приятое отупение!). От папиросы отказаться может только тот, кто никогда не курил.

Следователь имеет право задержать у себя арестанта так долго, как он находит нужным. От трех минут до круглых суток. «Упорных преступников» пропускают через руки следователя периодически. После первого дознания арестанта водворяют обратно в «бокс» и, кажется, забывают о нем. Несчастный подвергается всем, уже знакомым, мучениям, и мечтает о новом вызове. Зная, что он опять будет все отрицать, отказываться подписать сочинение, составленное следователем, в котором он обвинит и себя и других людей, но зато он выйдет из этого резинового гроба, соприкоснется хоть с тюремным, но все же «внешним» миром. Сможет, сидя в комнате следователя, следить за движением стрелки по циферблату стенных часов.

Странно, о чем мечтает человек в минуты мертвящего одиночества. Самые обыденные вещи кажутся пределом счастья. Часы, в особенности большие, с маятником и звоном, с громким тиканьем. Стульчак в уборной с проточной водой. Малюсенькое окошко, через которое видно небо. Все это, такое обычное в обычной жизни, кажется недосягаемым блаженством.

Я не знаю, сколько времени человек может выдержать в боксе-одиночке, но мне пришлось слышать, что в некоторых случаях держали арестантов по несколько недель. Обычно такие длинные сроки даются между первым и вторым вызовом к следователю. Это считается так называемым «критическим периодом». Ломается воля заключенного. Кто выдержит — может считаться героем.

Следователи внимательно, через надзирателей, следят за «воздействием» и избегают перетягивать струну. Окончательно свести с ума арестанта не входит в интересы следствия. Сумасшедший не может предстать даже перед советским судом, поэтому, в очень упорных случаях, для ускорения процесса сдачи применяются физические воздействия, о которых я напишу дальше.

Надзиратели, старшие и конвоиры, в тюрьмах никого не

бьют. Они не смеют коснуться заключенных пальцем. Рукоприкладство является прерогативой следователей и их помощников. Тюремный персонал от этого освобожден.

Я предполагаю, что на первых шагах в Лефортовом я отсидел в боксе немного более суток. Несмотря на такой короткий срок, мне, с непривычки, казалось, что затекшие ноги превращаются в гудящие столбы, что вены вот-вот лопнут от напряжения, что я никогда больше не смогу разогнуть спину, и что мой мочевой пузырь вот-вот разорвется с треском бомбы.

Прямо из бокса меня повели в баню. По установленной системе все происходило молча. При входе в банное заведение мне дали (наконец-то!) пару белья, маленькое полотенце и кусок мыла, грамм в 20. Нужно отдать справедливость, что во всех советских тюрьмах, через которые я прошел, существуют превосходные души. Воды сколько хочешь, и обычно вволю дают времени для купания.

Пока я мылся, надзиратели произвели очередной «шмон» моей одежды. Моя форма держалась на честном слове. Все швы и шовчики были распороты или надрезаны. Крестами были взрезаны и голенища моих несчастных сапог. Если бы у меня было что держать в карманах — все бы вывалилось. Брючные были просто вырезаны. На кителе — разрезаны во всю ширину.

Из бани — прямо на врачебный осмотр. Короткий, автоматический, безразличный. От врача меня опять провели в «бокс».

Длительность моего вторичного сидения не берусь определить. Думаю, что в это время решался исторический вопрос, — в какую камеру и с кем меня можно посадить. Ведь это являлось целой проблемой. Арестант должен попасть в абсолютно незнакомую, чужую ему среду. В прошлом у него не смеет быть ничего общего с сосидельцами.

Свежепривезенный не смеет попасть к тем, кто уже прошел все испытания и вскоре будет отправлен в лагеря. Пока его собственное «дело» еще не решено, он не смеет общаться с теми, кто может вскоре рассказать другим, уже осужденным на ИТЛ, о присутствии в Лефортове «такого-то».

Из бокса меня вывели два надзирателя. Старшой приказал: Не разговаривать! Руки за спину!

Провели через колодезь, мимо регулировщика, по лестничкам на четвертый этаж. На балконах — толстенные, мягкие ковры. Перила обиты бархатом. Стены мрачные. Тюремные. Покрытые вечной копотью. Между этажами во всю ширь колодца натянута тонкая металлическая сетка. Если кому-либо из заключенных придет сумасшедшая идея прыгнуть с

балкона, дальше этой сетки он не упадет. Даже малейшее увечье исключено ее упругостью. Как потом я узнал — ковры на ступеньках и балконах и бархат на перилах не являлись украшением Лефортовской тюрьмы. Толстый войлок под ними не давал возможности эксцентричным заключенным биться головой о железные предметы. Арестант должен жить до тех пор, пока он не подпишет то, что от него хотят следователи. По окончании следствия и вынесении приговора, стукайся обо что хочешь, но до этого он должен дойти до результата по статье 206, которая гласит: «Мне мое дело зачитали, и все правильно записано. Согласен с окончанием следствия».

Под этим — подпись жертвы, а затем резолюция прокурора, направляющего «дело» дальше: в Военный Трибунал, в Нарсуд или в особое Совещание.

Подошли к камере 377. Старший возился над висящим замком. Открыл. Снял тяжеленную стальную полосу — засов. Открыл ключом замок двери. — Встать! Руки назад!

В камере вскакивают два человека. На одном узнаю жалкие остатки когда-то элегантной формы. Офицер румынской армии. Другой — с продолговатым, оливковым лицом — испанец «голубой дивизии».

Дверь закрывается. Отдаю честь и представляюсь «старожилам». Сразу же нашли общий язык — французский.

Оба сидят уже больше 10 месяцев. Попали в плен при отступлении. Понятия не имеют о том, что война закончена, что Германия капитулировала. Я — первый свежий человек на их мученическом пути. Меня сразу же засыпали вопросами. Поторопился рассказать все, что знаю, все, что произошло за последних десять месяцев. Конечно — в общих, кратких чертах. Рассказал о выдаче русских. Сосидельцы жадно ловили мои слова на лету, переспрашивали, временами мне казалось, что они с трудом верят моему рассказу.

Вспоминаю теперь о том впечатлении, которое на меня произвела весть о вступлении СССР в войну с Японией, об атомной бомбе и капитуляции страны Восходящего Солнца! Мне тоже все казалось невозможным!

Когда первое волнение прошло, я осмотрел камеру. Пять метров длины, три с половиной ширины. В стене, в Екатерининские времена (как тогда все было просто!)было громадное окно с решеткой. Теперь оно заделано кирпичами, замуровано бетоном. Оставлена только малюсенькая форточка, величиной 15 на 15 см. На ней козырек, немного приоткрытый, пропускающий минимум воздуха.

Три койки. Две по стенам и одна под окном. Железные, они

привинчены к стенкам. Матрас, одеяло, одна простыня, тонкая, как блин, подушка в наволочке и маленькое полотенце. Это все, что полагается арестанту для его комфорта.

По середине камеры столик, привинченный к полу. На нем несколько книг и чайник. В углу — умывальник, прикрепленный к стене, и английского типа уборная. Однако, только стульчак напоминает то, что у нас называлось «ватер-клозетом». Поступления воды нет. После употребления, нужно промывать из чайника, стоящего на столе. На потолке, под стальной сеткой — лампочка. Это все.

В этой камере № 377 я провел все свое подследственное время с июня по сентябрь 1945 года.

Режим и питание во всех внутренних тюрьмах МВД — одинаковы. Утром, в 6 часов, подъем. В 7 часов — завтрак. В дверях находится так называемая кормушка. Дверь для передачи пищи не открывают. Кормушка открывается горизонтально и через нее в тарелках из алюминия подается суп. И тарелки и ложки в тюрьмах настолько мягки, что ими невозможно нанести себе никакого повреждения. Шутники говорят, что бывали случаи — когда, отчаявшись, арестанты покушались на свою жизнь, разгрызали тарелки и глотали их целыми кусками. По тюремному преданию, — нет ничего, что не переварил бы желудок подследственного. Алюминий растворялся и выходил, в виде амальгамы.

Завтрак состоит из кипятка, 12 грамм сахара и 450 грамм черного хлеба. Обед — суп. Ужин — тоже суп. Вес супа — 500 грамм. Качество: вода с капустой или вода с картошкой. Никаких жиров. Никогда мяса.

Просидев от июня по ноябрь в тюрьмах, я сильно сдал физически и жутко похудел, но по заключению тюремных врачей не «дошел» до такого состояния, когда назначается больничное питание, правда, очень немногим отличавшееся от обычного.

В тюрьмах существует четыре пайка питания. Обычный или доходяжный, о котором я уже написал. Карцерный — 300 грамм хлеба и стакан воды… через день! Больничный, содержащий немного больше сахара и немного больше хлеба и, наконец — «следовательский», который назначает следователь. Его получить было не трудно, но позорно. О «следовательских питомцах» у заключенных существует особое, весьма нелестное мнение. Оно дается за «чистосердечное признание», сговорчивость и склонность подписать не только то, что от него требует следователь, но и больше, вредя себе самому и другим.

Существует понятие и о так называемом «спец-пайке», в виде ударов резиновыми палками, выворачивания суставов,

подвешивания и прочих методов «пристрастия». Рассказывали мне и о каких-то «генеральских» пайках в Лефортово, о «спецвоеннопленных», и т. д., которые якобы получали привезенные из-за границы «высокопоставленные военные преступники». Существовали ли они действительно и как высока была их калорийность — не знаю.

Мои сосидельцы оказались хорошими друзьями. Они меня охотно посвятили во все тюремные тайны, во все правила поведения заключенных в камере, на пути в баню, к следователю и у самого следователя. Если бы не их советы, кто знает, как бы я окончил жизнь.

Спасибо им за это. Они меня перевели через тот период, проходя который, многие, не имея поддержки, напутствия и помощи, ломают себе шею.

В общем, я думаю, что более тупоумных следователей, чем в Лефортове — нигде нет. Они работают «по плану», т. е. идут рутинной дорожкой, не затрудняя свой ум. Все — штамп. Стереотип. Подготовленный моими сокамерниками, я ни разу не потерял присутствия духа, не поколебался и не пошел на уступки против своей совести. Правды, т. е. того, чего требовали от меня мои следователи, они никогда не узнали, и им пришлось удовлетвориться «водичкой».

Нам троим жилось легко друг с другом. Имея одни и те же политические взгляды, будучи все из военной семьи, в душе — солдаты, воспитанные в традициях армии, мы сдружились и старались, как можно, больше облегчить сожительство. Много о чем мы переговорили за эти месяцы, и я сохранил о них самые лучшие воспоминания.

Днем в камерах спать не разрешалось. Если задремлешь, не дай тебе Бог, чтобы тебя поймали. Краткие проверки, т. е. внезапное заглядывание в «кормушку», повторялись очень часто. С 6 часов утра и до 10 часов вечера разрешалось сидеть на койке, даже лежать, читать, если получил книгу — но ни в коем случае не спать.

Считалось, что восемь часов сна являлось более чем достаточным для взрослого человека, тем более, что он ни на что не тратил своих физических сил. Однако, это было только в теории. Практика говорила другое. Как раз с 10 часов вечера начинались вызовы к следователям. Не успевал человек прилечь, или только что погружался в сон, как появлялся старшой с запиской, поднимал всех, вызывал жертву и уводил на допрос.

Сколько бы следователь ни держал у себя заключенного — на всю волокиту, на предварительное и «послеварительное» сидение в боксах убивалось не менее 5–6 часов. Арестант возвращался

совершенно изнеможенный. Пройдя все фазы «фабрики лимона», он валился на койку и не успевал закрыть глаза, как наступала побудка. Как бы преследуя определенную цель, в этот день в камеру заглядывали особо часто и, если жертву ловили на нарушении тюремных порядков, пришивали дисциплинарные наказания, до карцера и карцерного пайка включительно.

Книги нам доставлялись редко. Читали их только потому, что в них были буквы и слова. «Литература» была злостно коммунистической и вонюче-пропагандной. Даже если она не касалась «достижений» и была «беллетристикой». Чтобы как-то занять время, мы из черного хлеба и слюней смастерили шахматы и шашки. На столе расчертили, с разрешения начальства, шахматную доску. В виду отсутствия стульев, целый день сидели на койках (койка, тюремная мать — говорили арестанты), и эти-то шахматы давали нам возможность поспать часок — другой сидя.

Игроки садились друг против друга, подперев голову кулаками, закрываясь ими от «кормушки», и разыгрывали пару тяжело думающих над следующим шагом партнеров. Подходил к «глазку» надзиратель, заглядывал и отходил. Играют! Но в этой игре был всегда необходим и третий партнер, выспавшийся в эту ночь, который, сидя на средней койке, внимательно следил, чтобы у спящих «шахматистов» не отваливалась назад, или не упала на стол голова, чтоб не сползли кулаки и не открыли «неприятелю фронт».

Дрема днем и сон ночью никогда не давали полный, настоящий отдых. Человек был все время на чеку, и все же нам снились чудные, освежающие сны, дававшие потом богатую тему для разговоров.

Интересно! В те дни я себя никогда не видел во сне, как арестанта, подслесдственника, может быть, кандидата на виселицу или расстрел. Именно в снах я находил моральную поддержку и радость. Мир сновидений был ярким, ясным, чарующим. Часто мне снились жена, мать, все близкие. В моменты забытья я жил полной, ласковой жизнью.

Просыпаясь, я не чувствовал себя несчастнее. Страшная действительность не казалась мне еще более непереносимой. Наоборот. Я имел для чего жить! Явь казалась ничтожной. Тюремные будни чем-то второстепенным и неважным. При небольшом напряжении, я буквально мог «заказать» себе сон.

Всю свою юность, я мечтал быть летчиком, и вот в тюрьме, и моих сновидениях, эта мечта осуществлялась. Я летал, как свободный сокол, прекрасно и бесстрашно управляя самолетом Я парил высоко-высоко в бирюзе безоблачного неба. Подо мной

стлалась изумрудная гладь бесконечных полей, просекаемая шелковыми лентами рек.

Как я уже сказал, арестантские сны служили темой для рассказов. День начинался с них. Мы делились всем «виденным» и иной раз завидовали друг другу. Потом переходили на бесконечные рассказы о прошлом. Слушали друг друга внимательно и с удовольствием. Если рассказчик для красного словца привирал немножко, все его небылицы принимались с благодарностью, даже если в них никто не верил.

«Не любо, не слушай, а врать не мешай» — служило мотто всем тюремных россказням. В этих разговорах мы уходили из четырех стен камеры, из тюрьмы, из СССР и жили второй жизнью, которую от нас не могли отнять ни Меркуловы, ни Берии, ни Сталины.

Странно! Теперь, когда я вернулся на свободу, когда я живу, как человек, среди родных, сплю нормальным сном, и мне ничто не угрожает (во всяком случае, не больше, чем всему человечеству) — в моих снах я там, в Лубянке, Лефортове, на Бутырке, в лагерях. Меня мучают кошмары. Я просыпаюсь весь в холодном поту, задыхаясь, со страшным криком. Странно.

Раньше я не замечал, что жизнь человека всегда двоится, протекает в двух, сознательном и подсознательном, мирах, и что в противовес счастью всегда где-то таится горе, а зло так или иначе возмещается добром.

«Там» я был вольной птицей, ловя короткие часы сна в вонючих сырых бараках. Здесь — в кошмарах я ночью проваливаюсь по горло в снег, дрожу под ударами ледяного ветра, скольжу и падаю лицом в жидкую грязь. Здесь, в моих сновидениях, я ежусь под колючим взглядом следователя, скриплю зубами, стараясь задавить в горле вопль боли, обиды и ужаса.

Вероятно, когда-нибудь изживется во мне это подсознательное разделение на «там» и «здесь», я стану обыкновенным нормальным человеком, а не издерганным комком нервов, которые проявляют себя именно в то время, когда их не может контролировать мозг. Одного мне не вернуть никогда — это моей прежней мальчишеской беспечности, доверчивости, веры в человечество. А может быть? Не знаю.

Первых четыре дня в Лефортове никто меня не трогал. Я проводил время в ненасытных разговорах с моими сосидельцами или в беспокойном метании по камере. Мною овладевало отчаяние из-за неизвестности. Что произошло с мамой и женой? Немного успокаиваясь, я старался подготовить себя к посещению следователя МВД.

Сидя на койке, крепко зажав голову между ладонями рук, я задавал себе вопросы, которые, по моему мнению, должны были интересовать чекиста, и тут же сочинял на них «хитрые» ответы. Однажды я заметил, что за мной внимательно следил испанец, и, как бы читая мои мысли, заговорил на эту волнующую меня тему.

— Вас скоро вызовут, Краснов. Вызовут на допрос. Насколько скорее это произойдет, настолько это будет лучшим знаком. Более тяжелых преступников маринуют долго, действуя на их психику. За эти десять месяцев я хорошо разобрался в схеме дознаний. Мне кажется, что вы все время заняты мыслями, как и что вы будете говорить. Вы сейчас, если я не ошибаюсь, подготавливаете целую программу и, как артист, разучиваете роль. Напрасно! Лучше расскажите нам какой-нибудь веселый эпизод из вашей жизни. Не тратьте даром силы. Мне бы очень хотелось внушить вам одну аксиому: судьба каждого подследственного заранее предрешена. Где-то уже лежит заготовленный текст признания, т. е. того, чего от вас будет добиваться каждый следователь. Уже готов обвинительный акт, подписанный прокурором. Готово и решение суда! Остается только проставить дату.

Вы, или любой «Н.Н.» можете лезть из кожи, отрицать, Пробовать логически доказывать. Все это ни к чему! Следствие проводится в четырех глухих стенах кабинета. Следователя не тронет ваше горе, не восхитит ваша храбрость, не испугает прилив вашего гнева и злобы. Меня русские люди научили пословице — Москва слезам не верит! Ваши слезы или ваш гнев не играют во всей постановке никакой роли.

Перед вами, Краснов, лежит только одна задача — по возможности сохранить свою жизнь. К вам предъявляется, с общечеловеческой, моральной точки зрения, только одно требование: не подвести других людей.

Не разыгрывайте из себя героя. Никто во всем мире не узнает о вашем геройстве. Вы можете только усугубить свое личное положение тем, что вас дольше будут держать в подследственном разряде. Вас будут бить. Подвешивать. «Шлепать», т. е. производить «показательный расстрел» в подвалах нашей тюрьмы. Результат будет один — тот, который уже заготовлен, как я вам сказал!

Если бы вы стали ползать у ног следователя, целовать его сапоги — вы, все равно, прошли бы какой-то определенный срок, и судьба ваша ни на йоту не была бы изменена. Итак, идем играть в шахматы, и не терзайте себя без нужды. Берегите нервы и здоровье. Здесь это является самым ценным. Помните, что впереди перед вами стоят большие искушения.

Сколько раз в течение одиннадцати лет я вспоминал советы моего друга, испанца голубой дивизии. Благодаря ему, я не сломался, как стеклянная сосулька, и с известным стоицизмом прошел по ухабам жизни подследственного и заключенного.

Все же, четыре дня до вызова прошли в внутреннем кипении. Волновала судьба моих близких, так резко оторванных от меня. Так страстно хотелось узнать, где находились папа, дед и Семен.

Беспокойство во мне росло, и я почти с радостью встретил появление старшого с бумажкой в руках, с основанием предполагая, что он пришел именно за мной. Впервые я присутствовал при «церемонии». Опрос шепотом и затем тычок пальцем в мою сторону: Вы к следователю. Руки за спину. Не разговаривать! Все по трафарету.

Предварительная высидка в боксе не произвела на меня особо удручающего впечатления. Я почему-то надеялся, что, как и раньше, на Лубянке, я встречусь с кем-либо из родных. Мои надежды не осуществились. Ввели меня в приятную, хорошо обставленную комнату — кабинет следователя. Сам хозяин положения оказался молодым человеком, но уже в чине майора. Первый допрос был весь построен на моей биографии. Начался он около 11 часов ночи и закончился ровно в 10 часов утра.

Всю свою молодую, короткую в то время, жизнь, даже с подробностями и прикрасами, я мог бы рассказать в течение двух часов. Но тут дело происходило опять же по трафарету. Я должен был только отвечать на вопросы, а они задавались в разбивку, так что я стремглав летел с производства в югославские подпоручики в дни раннего детства и обратно. Кроме того, вопросы задавались «в час по столовой ложке». Остальное время мы — молчали.

Следователь сразу же предложил мне сесть. Курил он много. Каждый раз, вынимая папиросу из коробки, он вопросительно смотрел на меня, как бы ожидая, что я не выдержу характера и попрошу закурить.

Во время длинных пауз он заваливался в кресле, вытянув под письменным столом во всю длину свои ноги, и, забросив назад голову, лениво играл табачным дымом, пуская его то столбом в потолок, то колечками.

На протяжении всего этого времени он ни разу не спросил, не нужно ли мне в уборную, не хочу ли я пить. Сам же несколько раз выходил в коридор. По совету моих новых друзей, я не двигался. Можно было предположить, что откуда-то на меня смотрят чьи-то глаза.

Весь допрос был нудным и вежливо равнодушным. Повторялась сказка про белого бычка. Уже под самый конец, следователь, лениво потянувшись, как бы между прочим,

сообщил:

— Чуть не забыл! Вот, Краснов, резолюция генерального прокурора СССР о вашем аресте и отдаче под следствие за преступления, совершенные по статье 58, пункты 4 и 11.

Он протянул мне бумагу. В ней, поскольку мне не изменяет память, стояло: «Гражданина Краснова Николая Николаевича, рожденного в 1918 году, подданного Югославии, временно задержанного органами СМЕРШа на территории бывшей Австрии в зоне оккупации наших войск, взять под стражу и начать следствие органами НКГБ города Москвы по статье 58 (4 и 11) кодекса РСФСР. Подпись. прокурор СССР. Москва, 4 июня 1945 г.»

Меня до глубины души возмутила подтасовка фактов. Ордер на арест подписан 4 июня. Предъявлен мне для подписания по моим календарным исчислениям (я же точно не знал!)не то 10, не то 11 июня. «Взят под стражу» я был в Юденбурге, сейчас же по прибытии. Оказался я «в зоне оккупации наших войск» не по своему желанию, а благодаря «любезности» англичан, насильственно и подло нас выдавших. Затем почему «бывшая Австрия»? Она даже в дни Гитлера оставалась просто Австрией. Чем же она стала теперь?

Следователь внимательно наблюдал за мной, и он не мог не заметить, как я весь напрягся, сдерживая прилив злобы. Но я вспомнил слова испанца, относящиеся к резолюциям прокурора.

«Не делайте себе лишних неприятностей на первых же шагах. Подпишите резолюцию. Это — трафарет. Рутина. Все ваши протесты ни к чему не приведут. Подписали вы ее или нет — дела не остановите!» Скрепя сердце, я «подмахнул» этот документик.

На обратном пути сидение в боксе было чрезвычайно коротким. Меня вернули в камеру и вскоре за этим впервые вывели на прогулку.

Прогулки в Лефортове — особая статья жизни. Выводят покамерно. Обычно дают пятнадцать минут в сутки. Для прогулок отведен большой двор, разбитый, как лабиринт, на маленькие прогулочные площадки. Каждая обнесена высоченным забором.

Видеть гуляющих в соседних отделениях нет никакой возможности. Разговаривать строжайше запрещено. Руки за спину, люди медленно шагают вкруг по площадке. Серые стены и наверху небо. Вокруг голуби. Изредка пролетает аэроплан. Над этими призраками свободы как бы нависла темная тень Лефортовской тюрьмы. Козырьки на окнах. Часовые на вышках. Уныло — а все же мы радуемся этим пятнадцати минутам. Легкие равномерно вкачивают живительный, свежий воздух. Отдыхают от вечного электрического света глаза.

День и ночь. День и ночь. Все дни похожи один на другой.

Только ночь может принести перемену — вызов к следователю. За все время моего пребывания в Лефортове, ни одного из моих друзей по камере не тревожили. Их «дело» было закончено, но где-то застряло и не влилось в конечную фазу — отправку в лагеря.

Меня таскали довольно часто, и тупость следователей приводила меня в отчаяние. Иные вопросы казались просто абсурдными. Предъявлялись обвинения, которые даже у меня вызывали невольную улыбку. Часто, придя обратно в камеру, я задумывался: неужели же кто-нибудь мог хоть на минуту поверить в возможность и оправданность подобных обвинений? Или же вся система допросов быта построена именно на абсурдах, в толще которых скрывались настоящие ловушки?

Следователи, как правило, постоянно менялись. Буквально при каждом допросе я наскакивал на новое лицо. Друзья мне объясняли, что это делалось специально для эффекта на суде. Десяток следователей, каждый вполне беспристрастно, старались утвердить обоснованность обвинений! Все десять пришли к одному и тому же выводу! Где же тут преднамеренность или пристрастность?

Подход к следствию у всех тех, через чьи руки я прошел, в общем был одинаков. У меня были неприятности только с тремя очень молодыми следователями. Они быстро теряли терпение.

Трижды меня били. Били резиновыми палками и даже кулаками по спине и ребрам. Бить по физиономии избегали. Только раз я получил удар в лицо, и мне стоило громадной силы воли сдержать себя и не ответить таким же свирепым ударом.

Следствие, фактически, все время стояло на точке замерзания, и я не ощущал никакого движения вперед. Мололась и перемалывалась, как жвачка, моя двадцатисемилетняя жизнь. К ней, конечно, приплеталась деятельность моего отца и «среды», в которой я вырос и был воспитан.

Однажды следователь, по возрасту, пожалуй, моложе меня, озверевший от моего спокойного упорства, вызвал по телефону начальника третьего отдела и, посоветовавшись, они решили промыть мои мозги совместно.

Спорным вопросом являлось обвинение в том, что я якобы выбрал свою карьеру и специальность, инспирированный желанием в будущем совершать акты диверсии, быть саботажником и террористом против СССР.

Я окончил югославское военное училище и стал офицером инженерных войск.

— Глупо! — отвечал я на вопрос. — Во всех армиях всех стран существуют инженерные войска, и цель их совершенно

другая. Никто из нас не был воспитан, как диверсант или саботажник. Ваше обвинение ни на чем не основано.

— Вы должны подписать признание по этому пункту, — ответил мне с холодной злобой начальник третьего отдела. — Мы знаем, чему вас учили в Югославии. Подпишите, Краснов, или я отдам приказание расстрелять вас тут же, в этом здании, немедленно!

Мои друзья мне сказали, что во время дознания мучают, подвешивают, но никого не «шлепают», и что следователь, у которого, можно сказать, на руках умирает подследственный (по слабости ли сердца или из-за неудачно нанесенною удара, может за такую оплошность сесть и том же Лефортове в соседней камере. Не знай я этого, возможно, что не так бы я себя вел. Я упорно отказывался подписать этот пункт обвинения. Вызвали надзирателей.

Отправили меня в подвал здания. Поставили к стенке. Появились еще два надзирателя с автоматами. Признаюсь, что в душе моей шевельнулось сомнение, и родилась мысль о возможности настоящего расстрела, но, как это бывает почти всегда, именно в тот момент смерть мне не казалась такой страшной. Начальник еще раз задал тот же вопрос, на который я ответил отрицательно, и прибавил: Ну, что ж, «шлепайте!» Мне все равно!

По команде, автоматчики дали очередь выше моей головы. На меня посыпались кусочки камня и штукатурки.

Я знаю, что многие, не знавшие этого трюка, падали в обморок. Их приводили в себя и говорили, что так «шлепают» только в первый раз. Второй бывает и последним.

Я в обморок не упал, хотя не могу сказать, чтобы «экзекуция» произвела приятное впечатление. Следователь и начальник покрыли меня самым густым матом, причисляя сюда и все «красновское отродье», и отвели обратно в кабинет. Этот допрос продолжался больше 16 часов.

За все время следствия в Лефортове я не признался ни в одном предъявленном мне обвинении и ничего, кроме первой бумажки — резолюции, не подписал. Я советовался с моими друзьями по камере, и, видя всю ходульность «дела», я чувствовал, что моя судьба, действительно, уже заранее решена. Я безусловно получу какой-то срок в ИТЛ, и, подписал я или нет, от него мне не отвертеться. Отрицая же, я не давал повода пришить свои «злодеяния» кому-нибудь другому. Мол — вместе все делали! Для советчиков я был просто одним из Красновых и должен был расплатиться за право носить это имя. По известной советской поговорке — человек нашелся, и МВД пришивало ему

«статью»!

Запомнился мне один, буквально анекдотический случай. Привели меня на допрос. Новый следователь. Холеный парень средних лет. Маникюр. Мягко поблескивают на его пухлых руках отполированные розовые ногти. Лицо полное. Чисто выбритое. Припудренное. За время допроса часто вставал, разгуливал по комнате и, останавливаясь передо мной, дрыгал жирными ляжками, плотно обтянутыми сукном брюк.

— Когда вы вступили на контрреволюционную дорогу и стали врагом нашей великой родины?

— Я не понимаю вашего вопроса!

— Не притворяйтесь дурачком! Вопрос более, чем ясен.

— Вы хотите сказать, когда я вступил в ряды немецкой армии?

— Нет! Когда вы покинули территорию СССР и вступили в ряды контрреволюционеров. Сразу же после гражданской войны?

— Да! Меня вывезли в 1918 году.

— Так и запишем. С 1918 года вступил в ряды белобандитов и контрреволюционеров.

— Позвольте! Я же вам сказал, что меня вывезли. Вывезла меня моя мать. Мне тогда не было полных четырех месяцев!

— Гражданин Краснов, не затрудняйте ход следствия глупыми примечаниями. Я вас прошу без комментариев отвечать на вопросы. Так и запишем. «Контрик» с 1918 года.

Противоречить бессмысленно. Смеяться? Нет! Мне хотелось горько плакать. Таким людям нас выдали те, в чью справедливость и разум мы верили.

Одним росчерком пера Черчилли и Рузвельты отдали в лапы чудовищной власти миллионы своих потенциальных союзников, готовых защищать свободный мир от все растущей опасности захвата. Те Рузвельты и Черчилли, о которых с таким презрением говорил Меркулов, говорят все Меркуловы в СССР.

Я не буду описывать весь подследственный путь. Это обычный путь всех людей, уплотнивших лагеря МВД. Через него прошли десятки миллионов рабов, и варианты не играют никакой роли. Мой случай — лишнее подтверждение всего того, что писали и рассказывали другие выжившие и вырвавшиеся на свободу люди. Все то, что свободному человеку кажется жалкой, неправдоподобной выдумкой, плохим анекдотом — сущая истина.

До подписания знаменитой 206 статьи, следователи ничего нового в моем «деле» не нашли. Где-то, в то же время, обсасывалось еще трое Красновых. Куда-то сливались результаты всех четырех следствий. Я был самым бесцветным и

неинтересным. Однако, заполучив раз в руки красновского щенка, просто послать в лагеря они, конечно, не могли. Краснов должен был выйти из узкого круга деятельности МВД в помятом и изломанном виде. Круг вопросов сужался. Выкристаллизовывалось «дело». Упиралось оно на те пункты, которые казались самыми удобными для того, чтобы его передать в конечную инстанцию.

Я считаю себя счастливчиком. На мою долю не выпала вся тяжесть, через которую прошли многие другие. Меня не засаживали на дни и недели в «бокс». Меня не присудили к смертной казни через повешение.

Теперь меня часто спрашивают: разве следователи МВД не убивают своими руками в своих кабинетах тех, кого они допрашивают?

Мне лично неизвестен ни один подобный случай. Бьют — да! Других, с кем я встречался, били и истязали жестоко, но избегали «кровопускания».

Я побывал во многих следовательских комнатах. Они нарядны, хорошо обставлены. Всюду дорогие, тяжелые ковры. Нигде я не видел следов крови или пуль. Не этим берут следователи МВД. Время ЧЕКА с ее садистами и анормальными типами, очевидно, прошло. Система изменилась. Вместо «жмурика для удобрения почвы», лучше иметь раба, гнущего спину, которому оставлено одно право — умереть на непосильной работе. Следователи МВД берут измором, моральным и иногда физическим воздействием. Убить, уничтожить врага легко, но заставить его трудиться, обезличив и растоптав — это важнее и интереснее для всей коммунистической системы. — Найди человека, «пришей» ему «статью» и загони на пресловутую 70 параллель! — вот лозунг судопроизводства.

Мне не пришлось встретить человека в следователях, но бывали и такие случаи. Мне рассказывали об одном следователе, который арестанту, уже прошедшему не одно промывание мозгов, когда они остались вдвоем в кабинете, просто сказал:

— Слушайте! У меня тут кое-какие дела, которые я должен кончить. Садитесь в это кресло и дремлите. Я прочел ваше дело. Вы согласны с таким-то пунктом обвинения? Нет? Ну, так и запишем. А теперь каждый займемся своим делом.

До зари следователь что-то писал, «штудировал» чьи-то акты, курил, а в кресле блаженно дремал подследственный. Но такие случаи очень редки, и за верность этого рассказа ручаться не могу. Однако, и я встретился и Лефортове с человеком, настоящим человеком, а не «двуногим без перьев». Я тогда понял, что и между эмвэдэшниками можно найти людей с сердцем и

душой.

Каждый курильщик знает, как трудно отвыкнуть от курения. В особенности трудно, если вы это делаете не потому, что сами закапризничали и решили освободиться от пагубной страсти, а вас к этому принуждает полное отсутствие курева. Папироса — лучший друг арестанта, лучший собеседник в одиночестве, лучшее средство для усмирения нервов, для «замаривания» голода.

Я страшно страдал без папирос. Особенно в первые дни отсидки в Лефортове. Я метался по камере, чувствуя особый зуд в смыке челюстей. Казалось, если бы смел, вытянул бы солому из матраса, завернул в листок, вырванный из казенной книги, и закурил.

Курить, в общем, в тюрьмах не запрещено, если есть папиросы. Иной раз их дает следователь. Никто не смеет их от вас отнять. Запрещено иметь спички и другие зажигательные предметы. Счастливый обладатель табаку должен подозвать к кормушке надзирателя, и тот протягивает ему зажигалку старинного образца, с тлеющим безбензинным фитилем.

От всего моего прежнего курения, а курил я всегда очень много, остался только коричневый налет никотина на моих пальцах. Смешно теперь сказать, но я, как младенец, сосал эти бурые подпалины, и мне казалось, что я всасываю в себя хоть немного никотина.

Однажды, в припадке никотинного помешательства, как мое поведение называл добродушный румын, я шагал по камере, довольно громко выражая свое страстное желание хоть раз затянуться, все равно, каким дымом, хоть из соломы или чая. Внезапно распахнулась «кормушка», и в нее просунулась рука в форме МВД. Кисть разжалась, и на пол, перед самыми моими ногами, упала пачка папирос «Беломор». Кормушка захлопнулась. Мы окаменели. Никто из нас не шелохнулся. Никто не нагнулся взять папиросы. Первой мыслью было: что это за подвох МВД? Через минуту кормушка опять раскрывается, и в нее просовывается та же рука, держащая фитильную зажигалку.

— Прикуривай, что ли! — раздается глухая команда. Я схватил «Беломор», трясущимися пальцами разорвал бумагу и вытянул папиросу. Прикуривая от тлеющего фитиля, я старался заглянуть в кормушку и увидеть лицо нашего благодетеля. Невозможно. Очевидно, он стоял вплотную к стене, и в поле моего взгляда была только рука, круто согнутая в локте, как бы отрезанная от тела. Мы никогда не узнали, кто был этот Человек.

Человек! Живой человек с сердцем и душой, который не убоялся помочь брату в беде. Он не убоялся совершить самый

тяжелый для служащего МВД проступок. Если бы этого надзирателя поймали на месте преступления или по доносу, его бы сразу же арестовали и пришили бы ему статью за связь с заключенными. Во внутренних тюрьмах это равносильно петле, добровольно надетой на собственную шею.

Мое пребывание в стране чудес, в СССР, дало мне достаточно возможности познакомиться с системой взаимоотношений между надзирателями и заключенными, будь это в тюрьмах или лагерях. Если надзиратель даст папиросы или даже водку вору, убийце, блатному, ему ничего не будет. В крайнем случае его выругает старшой или опер. Если из лагеря убежит уголовник, его поищут, как бы отбывая номер, плюнут и вычеркнут из списка. Конвоира засадят на пару дней в карцер и выругают самыми отборными словами, а с него — как с гуся вода. Но если этот же самый надзиратель или конвоир даст кусок хлеба или окажет минимальную человеческую услугу «контрику» — пиши пропало! Сам сядет по той же 58 статье. Мне лично известен случай, когда за «попустительство в бегстве врага народа» весь конвой получил по 25 лет, а начальник конвоя был расстрелян. Если я был потрясен и почувствовал прилив благодарности в тюрьме Лефортова к моему невидимому благодетелю за пачку «Беломор» — папирос, то тогда я не мог еще проникнуться высшей степенью этих чувств. Я ими проникся позже и запомнил навсегда. Этот неизвестный примирил меня со многим. Он, память о нем во многом облегчили мои дни за Железным Занавесом. Он и ему подобные другие люди сроднили меня с моим, русским народом. Я почувствовал, что даже в болоте, в ядовитой плесени коммунизма, живет человеческая душа, жив Русский Человек.

Верю, что многие, читая об этом маленьком эпизоде, изумленно возденут глаза к потолку, пожмут плечами и скажут: Подумаешь! Пачка папирос! Что тут особенного!

Я бы очень хотел, чтобы они взглянули не на пачку папирос, а на руку, облеченную в рукав формы МВД, несколько иными глазами. Тогда бы они, вместо обычной руки, увидели милосердие, которое нам завещал Христос.

Чем темнее тени, тем ярче свет, ибо, если взять весь аппарат МВД, как целое, жалости у этих людей нет. Тут, действительно, можно применить пословицу, которую мне напомнил мой друг — испанец — «Москва слезам не верит». Не верит! В особенности она не верила и не замечала слез в тот первый период нашего пребывания, сталинский, с 1945 по 1953 годы, недоброй их памяти.

Какого-то числа сентября, в какой-то день недели, наконец, закончилось следствие о моих проступках. Все результаты были

подведены к статье 206. Меня вызвали к прокурору. Он сидел, удобно развалившись в кресле, и рассматривал мое «дело» в аккуратной папке, предложенное ему следователем. С акта он переводил взгляд на меня, и, стоя перед ним, я чувствовал, что его мнение обо мне было весьма негативным. Я ему определенно не нравился. Сильно осунувшийся, постаревший, с наголо выстриженной головой, в мятой, изрезанной немецкой форме, верю, что я производил довольно отталкивающее впечатление. Он морщился, недовольно выпячивая губы, собранные в узкую трубочку — хоботок, и зло щурил глаза.

— Краснов Николай младший. Хммм! Тип! Слово «тип» он произнес как-то особенно, выпукло и обидно.

— Как волка ни корми, все в лес глядит. По всей вероятности, получит десятку в ИТЛ. Жалко. Маловато.

«Кормили» они «волка» так, что от него одна кожа да кости остались, но насчет леса, в который мне суждено было смотреть, и «десятки», которой было «маловато», он не ошибся. Думаю, что «трафарет на десять лет» был уже давно готов, и все, вместе взятое, было очередной комедией, формальностью МВД.

Мое счастье, что я был судим в 1945 году. Тогда трафарет выражался в словах: «Высшая мера наказания, расстрел, заменяется 10 годами ИТЛ».

В 1947 году, однако, и до смерти Сталина «высшая мера наказания» заменялась «катушкой», т. е. 25 годами принудительных работ в исправительно-трудовых лагерях. Разница!

Стригли всех под одну гребенку. Украл ли у «дяди», т. е. государства пуд пшеницы, или убил человека, убил его в пьянстве, в самозащите или с целью грабежа — разницы не делало.

Странно, но в те годы люди принимали решение суда если не со смехом, то совершенно равнодушно. Чем, мол, он лучше других! Для того и лагеря, чтобы люди в них сидели! Восемнадцать миллионов рабов? Двадцать миллионов рабов? Одним будет больше!

Слышал я такие разговоры:

— Мужик, ты сколько получил?

— Полную «катушку»!

— Да ну!

— А вы что смеетесь? Лучшего ожидали?

И все, действительно, смеются. Смеется даже тот, у которого одним росчерком пера отняли четверть века жизни.

Однажды, в 1951 году, когда я попал в спец-лагерь «Озерлаг», Тайшет, в так называемый лагерь № 01, приняли нас с этапа.

Вызывают по списку. Один за другим проходят заключенные. Представляются.

— Заключенный Н.Н., год рождения. статья 58, пункт 16. Срок заключения 25 лет. Конец срока в 1972 году. Заключенный М.М., год рождения. и т. д.

Подхожу я. Рапортую.

— Заключенный Николай Краснов, год рождения 1918, статья 58, пункт 4-11, срок десять лет. Конец.

— Стой, стой, мужик! Вскричал надзиратель. — Почему, «десять лет»! Аи, да врешь! По этим-то статьям? А ну-ка, дай мне, товарищ, формуляр! обратился он к счетчику. — Для этой сволочи, «контры» проклятой, нет срока в десять лет!

— Да нет! отвечает счетчик. — Правильно он сказал. Вот смотри. написано: Краснов. Николай. Срок десять лет! Видишь?

— Белая шкура! Контрик! Это тебе по «блату» десять лет отсыпали!

Хорош «блат»! Но я все же был счастлив, что проскочил через все инстанции до 1947 года.

206 статью я подписал, не сморгнув глазом, сказав сам себе: «Не теряйте, куме, силы». Вернулся в камеру и стал отсчитывать дни, когда, по предположениям моих друзей, меня вызовут на Военный Трибунал. По их мнению, он будет меня судить. Мысленно я готовил целую речь, взвешивал каждое слово, задавал себе сам новые, совершенно каверзные вопросы, считая, что суд-то будет происходить по всем правилам, и мне придется вступить в бой с прокурором.

МВД решило иначе. Вскоре меня затребовали «с вещами», не дав мне даже по человечески проститься с теми, перед кем я остался в долгу на всю жизнь. В сопровождении надзирателей, после прохода всей, уже знакомой, гнусной и мучительной процедуры, я попал к одиночное «купе» воронка, а оттуда прямо в Бутырки. Я тогда не знал, что меня будет судить Особое Совещание.

Так началась третья фаза моего пребывания в Москве.

Бутырка

«От сумы да тюрьмы не зарекивайся,
От тюрьмы да сумы отказывайся!
Тюрьма ты моя, растюремная,
Рассея — мать, забубенн Забубённая, подъяремная,
От рождения и до смерти каторжная.»
(Из арестантской песни)

Рассея — мать забубённая, забубённая, подъяремная. Часто в моих ушах звучат слова и унылый, заунывный напев этой одной из многих арестантских песен. Складывает их народ. Забубённый. Подъяремный. От рождения и до смерти осужденный на каторгу жизни в СССР.

Кто-то мне однажды сказал:

— Вся наша жизнь здесь проходит в балансировании на канате между уголовным и политическим кодексами. Вот-вот сорвешься. Жизнь под тенью виселицы. Жизнь, на которую, как бы ее ни освещало солнце, все время падает тень решетки от тюремного окна.

Бутырка. Город в городе. Огромное здание, которое, мне кажется, насквозь пропахло кровью с первых дней революции. Этот запах никогда уже не выветрится из ее стен.

Бутырка, в которой когда-то сидел Пугачев, в особой, и сегодня носящей его имя, башне. Бутырка, через которую когда-то, в немного иных условиях, протекал период жизни «жертв проклятого царизма». Она изменилась с 1917 года. Выросла. Расширилась. Еще больше окаменела и ощетинилась.

Бутырка — город в городе.

В громадном корпусе томятся полторы тысячи женщин. В «спец-корпусе» сидят особо важные преступники. Тут и «техно-хим-атом-специалисты», из которых выкачивают все их знания. Тут сидели «военспецы», из которых вытягивали их тактические и стратегические тайны. Тут сидели родственники самого японского Императора, немецкие и другие генералы.

Бутырка, прежняя церковь которой переделана в пересыльный пункт для уже осужденных. Счастливчиков.

Бутырка, в которой эхом отдаются стоны замученных. Бутырка, в которой буквально исчезают люди, и в одном крыле которой ожидают своего последнею часа смертники. Смерть и жизнь в этой громадной тюрьме живут бок о бок. Может быть, это звучит парадоксально, но в стенах этой тюрьмы, в женском корпусе, рождаются ребята, и их первый взгляд падает на

решетчатые окна своей родины.

Странно, жутко звучит первый крик новорожденного в этих темных, каменных стенах. Рожают те, кого ждет смерть или медленное умирание в далёких лагерях. Забеременевшие еще до своего ареста. В Бутырке забеременеть невозможно. Режим строг и неумолим и в отношении арестованных, и в отношении надзирателей.

Питание в тюрьме ужасное. Оно в особенности губительно для женщин. Переведенные из других тюрем, т. е. прошедшие известный подготовительный режим, они кое-как переносят «бутырскую диету», но попадающие сюда прямо с воли в кратчайшей срок «доходят». Младенцы, рожденные здесь, большею частью похожи на головастиков, или скорее на паучков, с тонюсенькими ножками, громадной головой, малюсенькими сморщенными личиками, озарёнными с рождения бесконечно грустными глазами. В материнских грудях нет молока. Откуда ему быть? О пропитании «детей государства» заботится правительство. Надзирательницы разносят на опрятных подносах резиновые пузыри с наконечниками — сосками. Молоко для сосунков. Матерям не доверяют бутылки. Ведь с них станет — разбить склянку и перерезать младенцу горло или себе вены в приступе отчаяния.

Ребят оставляют при матерях до выноса решения суда. Тогда их отбирают и отправляют в гос-ясли. Мать пойдет своим длинным страдным путем срока в ИТЛ, и младенец никогда не увидит ласки, тепла и не будет знать, кто и где его родители. Он получит какую-нибудь фамилию попроще и в документе, в лучшем случае, около имени матери будет стоять неразборчивый росчерк. Его родителем становится партия. Великая партия большевиков.

Система отчуждения детей штрафных родителей ведется десятилетиями. Мне пришлось встретиться в лагере с здоровыми парнями, которые понятия не имели, кто их отец, и в рубрике, вместо имени матери, стоял росчерк или, в лучшем случае, «Мария Ивановна», которыми в России хоть пруд пруди.

Деторождаемость в Бутырках потрясла меня с первого же дня моего прибытия. Воспитанный в крепких устоях семьи, привыкший с раннего детства с уважением относиться к женщине — матери, женщине — другу, столкнувшись наглядно с полным пренебрежением к самой святой роли ее, материнству, я был оскорбно поражен. За все время моего пребывания в границах СССР я глубоко переживал и страдал за русскую женщину, за всех женщин, против своей воли попавших в «социалистический рай», превращенных в вьючное животное или звериную самку.

Бутырка является как бы прелюдией для лагерей. Может быть, в ней легче режим, чем в Лубянке или Лефортове, но она является тоже внутренней тюрьмой МВД, и ее «диапазон» шире. Там люди сидят в среде себе подобных — политических. Здесь они впервые сталкиваются с уголовным миром.

Бутырская тюрьма постоянно перенаселена, что доказывает, как велико количество уголовных преступников. В Бутырке не существует «подбора» в камерах. Садят в ту, в которой есть место. Бытовиков с «контриками по 58». Если месту нет — его создают уплотнением, и уплотнение не имеет границ.

Уже в Бутырке начинается бесцеремонное обирательство заключенных. Не все же туда попадают без зубной щетки, в изрезанной на кусочки немецкой форме. Приходят некоторые в шубах с бобровыми воротниками, в аккуратных ботинках, с одеялом и подушкой через руку и в полном ассортименте нижнего белья. Такого обычно вталкивают в камеры, вмещающие предельно большое число заключенных. 25–30 человек без перенагрузки. Надзиратель взглядом оценщика осматривает все его «движимое имущество». Выходя, он делает условный знак блатным, указывая предмет, на который предъявляет свои права, первую же ночь уголовники «дают жизни» несчастному. Если он парень покладистый — операция проходит безболезненно. В крайнем случае, его немного «помнут». Если же он даст отпор — избиение принимает самые ожесточённые формы и часто кончается пожизненным увечьем. Вещи, все равно, отбираются. Лакомый кусочек или кусочки получает надзиратель, остальное тут же, на глазах у жертвы, разыгрывается и опять проигрывается посредством игры в до неузнаваемости засаленные карты.

Мне, казалось бы, было нечего терять, и все же на мои изрезанные сапоги и остатки бриджей попробовали польститься блатные. Я с детства изучал бокс и сразу же дал отпор. Урка полез на меня с ножом, но второй «апперкот» отправил его на пол, и он оставил меня в покое, пробурчав что-то на незнакомом мне блатном наречии в сторону своих товарищей. На следующее же утро надзиратель забрал меня из этой первой камеры и водворил, куда следует.

Блатные любят силачей и отчаянных людей. От здорового кулака они отступают и сторонятся, слабых уничтожают, как клопов, поэтому людям без бицепсов и сердца советуется отдавать вещи без боя, но на следующее же утро поднимать страшный крик, протестовать громко и настойчиво, доказывая надзирателю, что его ограбили до нитки и основательно помяли. Если он — «контрик», его быстро переводят в камеру «по 58 статье», в свою среду, и обещают «пошукать его барахло».

Таковое, как правило, не находится, но человек сидит со своими людьми, и ему становится все безразличным.

Прибыл я в Бутырки как-то не вовремя, поэтому меня, против правил, сунули на короткий срок в церковь — пересылку. Там обычно находится до 60 человек. Коек нет. Сплошные нары без матрасов, но с клопами. Вместо подушек — кулак под голову.

Счастливцы, имевшие верхнюю одежду, стояли перед проблемой — подостлать ее под свои костлявые бока или укрыться, чтобы хоть немного согреться.

На следующий день я прошел через нормальную процедуру. Прием. Баня. Высидка в боксе. В бутырском боксе меня «забыли» на трое суток. Одиночки еще меньше и ниже, чем в предыдущих тюрьмах. Они не имеют изоляции звука. Слышно все, что происходит в соседних боксах и в коридоре. Глазок больше, и в него можно заглядывать. В уборную выводят только тогда, когда заключенный начинает колотить кулаками и ногами в дверь.

Если не помогает — нужно орать во все горло. Я быстро воспринял эту систему и приравнял свой голос к хору соседей. Ясно слышалась виртуозная брань, проклятия и крики. Иной раз арестанты начинали колотить в стенки бокса, выбивая замысловатую дробь, сливавшуюся в темпе полковых барабанщиков. Вопли раздавались в самых разных тонах, от ломающегося тенорка мальчишки — вора, моего первого соседа, с которым я переговаривался, до хриплого баса «блатняка».

В Бутырках появилась необходимость проявлять личную инициативу и из выжидательной тактики перейти в наступательную. Я быстро приравнялся к этим правилам самосохранения. К моему негодованию, вскоре я узнал, что некоторые мои сосидельцы, «контрики заграничные», попавшие в Бутырки, были настолько запуганы, что боялись не только следователей и надзирателей, но и своей собственной тени. Их, очевидно, никто не наставил в том, что судьба их была давно решена, и что ничем они ее изменить не могут. Попав в «бокс», они и голоса не подавали, сидели в нем безвылазно до перевода в камеру, терпя все муки, до мокрых брюк и хуже, включительно, мечтая о том, что их «примерное поведение» улучшит их участь!

В 1945 году я встретился с некоторыми несчастными, чей позвоночный столб, в переносном смысле, был сломан на первых же шагах, и они все десять лет пресмыкались, дрожали, но не только не улучшили своего положения, а, наоборот, влачили самое жалкое существование всеми призираемых, всеми пихаемых червей.

В течение трех дней, во время прогулок до уборных я приставал к надзирателям с вопросом — когда же меня водворят

в камеру? У меня опять отекли ноги, и невыносимо болел седалищный нерв, из-за согбенности спины. Ответа я не получал. Наконец, перед вечером третьих суток меня повели к врачу.

Врач осмотрел меня в своей комнате очень поверхностно. Я был худ и, по пророчеству Меркулова, становился «звонким и тонким». Он приложил только один раз стетоскоп к моей костлявой груди и ткнул пальцем в живот. Готово! От него меня доставили в распоряжение очень миленькой, очень меланхоличной и печально-рассеянной русской девушки.

Ожидая ее расспросов, увидев перед ней целую кипу бланков, я невольно стал ее рассматривать, вспоминая эмигрантских институточек, гимназисточек и студенток. Верочек, Лизочек и Катюш. Она мне напоминала их до боли в сердце. Тоненькая, русая, сероглазая. Трогательная. Пальчики ее были замазаны чернилами, и она усиленно вытирала сине-черное пятно с сустава указательного пальца.

Эта «Катюша» заполняла анкеты. Опять трафарет. Рутина. Мое «дело» находилось в чьих-то других руках, и для нее я был новичок. Медленно она задавала вопросы, аккуратно вслух повторяя мои ответы, внося их в соответствующую графу Наконец, она дошла до слов: имя и фамилия лица, от которого задержанное лицо ожидает передачу (еду, табак и др. продукты), с точным адресом передатчика. Девушка, не поднимая головы, спросила:

— От кого вы ожидаете передачу?

Она не видела улыбки, невольно появившейся на моем лице.

— От Трумана.

— Так. От Трумана. Его имя?

— Гарри!

— Гарри! — повторяя вслух, записывает девушка. — Где он живет? Улица, номер дома?

— Белый Дом. Вашингтон. США.

— Как? — встрепенулась бедная «Катюша». Глаза ее испуганно забегали. Даже губки побелели. — Как вы сказали? Но вы же шутите! Здесь не место шуткам, заключенный, хм… Краснов. Лучше я быстренько заполню новую анкету. Значит, передач не ждете!

Я улыбался.

Теперь мне стыдно. Зачем я напугал бедную русскую девушку, Катюшу или Верочку? Она, бедняжка, по привычке, родившись под пятиконечной красной звездой, несла моральный крест режима. Она привыкла быть туго зашнурованной в корсете аппарата МВД. Она не поняла моего, в шутке выраженного, протеста против административной ерундистики. Откуда она

могла знать и думать, что у «контрика», доставленного из далекой Австрии, не может быть надежд на передачу, облегчающую жизнь других «заключенных»? Мне стыдно, что я поставил на пробу храбрость этой маленькой птички и ее человечность. Если бы она донесла о моем поведении, к моему уже оформленному «делу» был бы пришит еще один пункт — десятый. Меня могли обвинить в «контрреволюционной агитации» среди граждан СССР.

От «Катюши» меня опять отвели на парочку часов в бокс и затем отправили в камеру № 73, в которой находилось 25 человек.

Опять сочетание цифр «7» и «3».

Мои сосидельцы оказались, в общем, очень милыми людьми. Смешение всевозможных профессий. Тут сидели подсоветские профессора, простые рабочие офицеры советской армии, орденоносцы (!), солдаты армии генерала Власова, захваченные в плен еще до капитуляции Германии, артисты. Все они уже прошли через «игольные уши» МВД. В этой же камере я встретился с врачом, который мне рассказал о моем дяде, профессоре Димитрии Димитриевиче Плетневе, брате моей матери, севшем в Бутырки в 1937 году и впоследствии погибшем в лагерях МВД, имевшем лишь одну вину — безграничную любовь к русскому народу и России.

Камера меня встретила сердечно. За меня говорила моя фамилия. Набросились с расспросами. Часами я рассказывал о всем, происходившем за границей с 1941 года, о капитуляции, о выдаче.

«Наседок» в камере не оказалось. Все мои, отдам справедливость, — весьма несдержанные повествования прошли без последствий. Насколько я был по-мальчишески неосторожен, несмотря на все уже пройденное, я осознал позже, когда мне приходилось быть свидетелем терзания жертв доносчиков, «отстукавших» камерные разговоры тюремному или лагерному начальству.

Мои сосидельцы сразу же угостили меня папиросами и даже, я это подчеркиваю, даже хлебом. Особенно сердечны были власовцы, обрадовавшиеся мне, как родному брату.

Жизнь в Бутырках проходила несравненно легче, чем в Лефортовом. Мы могли спать, когда хотели, хоть круглые сутки. Постели были гораздо хуже, и «самообслуживание» причиняло массу забот, но зато мы шумели, галдели, разговаривали и даже пели, что в Лубянке и Лефортово строжайше наказывалось, и не только из-за этого, но самим на ум подобное поведение не шло.

Я только что упомянул слово «самообслуживание». Так

называлась внутренняя, камерная раздача хлеба и сахара. Каждый день на всю камеру выдавался рацион сахару. Дели на 25 человек, как хочешь. И вот тут сказалась смекалка русского человека.

В Бутырках разрешалось иметь нитки. Из двух маленьких кусочков бумаги, двух щепочек, приходивших к нам в камеру вместе с хлебом (об этих щепочках или костылях напишу отдельно) и ниток, сооружались примитивные весы. Бралась примерная, по наметанному глазу, первая порция сахару. Она насыпается в одну «чашку» весов и служит как бы гирей. Сахар отмеряется на двадцать пять порций, и если остается излишек, он чуть ли не по крупиночкам добавляется каждому.

Конечно, подобный способ развешивания далек от совершенства. Рука у развешивающего может дрогнуть, нитка какая окажется длиннее, и т. д… Поэтому разделенный на кучки сахар остается лежать на столе. «Дежурный раздатчик» (для беспристрастности он меняется каждый день), становится спиной к столу, и его спрашивают, указывая на невидимую ему кучку — кому, а он называет имя сожителя. И так двадцать четыре раза. Последняя остается ему.

Свободный человек, никогда не сидевший в советских тюрьмах, не может себе представить, с каким глубоким волнением, сказал бы даже, с вожделением, переживают ежедневно раздачу продуктов взрослые люди. Профессора университета, недавние герои отечественной войны, майоры танковых частей, актеры известных театров, буквально дрожа, не спускают глаз с кучки сахару, которая ему показалась самой большой. А в ней-то всего 12 граммов!

Голод, истощение, отсутствие самых необходимых витаминов и минералов, вырабатывают эту жадность и зависть. Каждому кажется, что его обошли, что его ежедневно обходят, и что «самые большие» кучки сахару или лучшие куски хлеба попадаются всем, кому угодно, только не ему.

Хлеб в камеры приходит разрезанный на порции, по 450 граммов каждая. Конечно, куски не похожи один на другой. Тут и горбушки — края буханок, серединки, «чистый» хлеб, т. е. целые куски, и «костыли», т. е. куски с довеском, прикрепленным к «порции» деревянной щепочкой, употребляемой нами впоследствии для весов. Хлеб сырой и недопеченный, поэтому лучшими считались горбушки. Больше корки. Какие только эпитеты не давались этой «пайке»: «птенчик», и «пташечка», и «разгорбушечка», и «симпомпончик». Эти горбушки доставались каждому по очереди. Велся, конечно, строгий учет, и вне порядка получить его не удавалось. «Пайка с костылем» вечно вызывала неудовольствие. Всегда казалось, что неизвестный нам тюремный

раздатчик именно на этих «костылях» наживается и обманывает. Сахар съедался, как конфета. Его сосали или разводили в миниатюрном количестве воды. Тратить его в кипятке не считали полезным для организма. Быстро, мол, рассосется в желудке. Некоторые посыпали им хлеб и называли «калачом».

В тюрьмах очень быстро человек поддается голодному психозу. Под его действием буквально сохнет мозг. Движения становятся вялыми, мысли сконцентрированы только на еде. Даже свободы больше не нужно, — дайте только пожрать до отвала! Жрать! — это крик желудка. Он становится хозяином человека, а не разум. Он требует. Он толкает на ухищрения, маленькие жульничества, а в конце концов, может создать почву и для страшных преступлений.

Вопрос удовлетворения голода является главным фактором жизни в советской тюрьме. Делаются научные вычисления, опыты, люди выдумывают «аксиомы сытости». Одни съедают хлеб сразу же, все 450 граммов, засыпав его сахаром. Они утверждают, что необходимо заполнить весь желудок и заставить его усиленно работать, пользуясь максимумом желудочного сока. Другие крошат 450 граммов хлеба в воду и выжидают, пока он не превратится в жидкую кашу. Уверяют, что в таком виде хлеб дает самый большой процент питания. Третьи разрывают хлеб на множество кусочков и жуют его в течение всего дня. Но 450 граммов остаются 450 граммами, и самообман не помогает.

Чтобы убить время, люди ложатся на койки, заворачиваются с головой в одеяло и мечтают. Мечтают о хлебе. Хоть раз еще в жизни, хоть перед смертью, но наесться хлеба до отвала. Даже не свежего, не душистого и пушистого, а любого, черного, с отрубями.

В Бутырках я еще не был таким изголодавшимся волком. Мой желудок все еще находился под контролем разума, но я не могу забыть один случай из моей жизни «там».

Я попал в Сиблаг МВД, у города Мариинска, в пересыльный лагерь «Мар-распред» (Мариинский распределительный пункт). Старые заключенные встретили меня в высшей степени приветливо. Старая артистка Мариинского Театра в Ленинграде, Лидия Михайловна Жуковская, знавшая моего отца в молодости, еще по Лейб-Казачьему полку, страшно обрадовалась нашей встрече. Она знала, что такое голод, сама голодав не раз, и, увидев меня, не могла не заметить, что я стою на границе полного физического краха. В те дни я действительно был «фитилем» или «доходягой».

Лидия Михайловна отозвала меня в сторону и, деликатная и добрая, не желая меня смутить (кто уж смущался в лагерях на

положении «огарков»), шепнула:

— Николай Николаевич, дорогой! — вам достала немного покушать. Ешьте, не стесняйтесь. Мы здесь. в лучшем положении. Пища, конечно, не очень аппетитная, но ее вдоволь. Здесь публика вся своя. Свои лагерники, сжившиеся и верные. Идите и ешьте вволю.

Меня подвели к ведру в десять литров, полному лагерного супа, так называемой баланды, из картофеля и капусты. Рядом стояло второе ведро, до половины полное овсяной каши. Конечно, без масла. И дальше — 4 куска хлеба, по 850 граммов каждый.

Я сел и стал есть. Я ел. Ел. Ел.

Мне никто не поверит! Но я ел с передышкой, с легким отдыхом, с небольшими паузами, и я съел все это богатство! Как я себя чувствовал после этого пиршества, не буду говорить. Но умереть я не умер, и у меня не произошло прободения желудка или заворота кишок.

Попав в свободный мир, я изумился, как мало может есть обычный человек. Стакан молока с сахаром, немного омлета, бутерброд с ветчиной, чашечка земляники, и я уже отказываюсь от банана или апельсина. Я сыт по горло. А тогда, в лагере, я съел 10 литров супа, 5 литров каши и 3600 граммов хлеба!

Царь — голод! Голод, хозяин желудка, хозяин мыслей, диктатор всех человеческих поступков. Это хорошо знает МВД!

Царь — голод — их лучший помощник и сотрудник. Поэтому в тюрьмах люди голодают. В них создается прекрасная платформа готовности работать, работать до смерти в лагерях МВД. Кто не работает — тот не ест!

Голод заставляет самых отчаянных врагов коммунизма работать на его стройку. Работаешь и выполняешь норму на все 100 процентов — получаешь 750 граммов хлеба. Выжимаешь 111 процентов — 850 граммов! Еще поднажмешь на 121 процент — «пайка» поднимается до 950 граммов.

Люди лезут из кожи, тощают, выжимают последние соки из своих мускулов для того, чтобы получить лишних 100 гр. хлеба, не думая о том, что организм сожжет его в пепел, не пополняя свои резервы. Об организме больше никто не думал. Ни и вылезающих волосах, ни о выпадающих зубах, стертых в кровь плечах, разбитых ногах. Ими руководило одно желание — лечь спать со вздутым, полным пузом.

В лагерях всюду царит страшный, кровавый закон бессердечия. Он гласит: Умри ты сегодня, а я завтра! Умри раньше меня! Пусть я живу только на день больше, но этот день будет мой.

Сколько раз я вспоминал слова Меркулова, ушедшего из

жизни легкой и короткой дорожкой. «Жить будете! — Говорил он отцу и мне. — Жить и работать!». И мы «жили», для того, чтобы работать на стройку великого социализма. Работали, для того, чтобы «жить»!

В Бутырках было время и летоисчисление. Пища выдавалась регулярно. Прогулки делались тоже приблизительно в определенное время и в определенные дни. Арестанты на стенах расписывали «календари», и мы точно знали, какой сегодня день и какое число.

На двадцать пятый день после моего приезда меня подозвали к окошку камеры. Надзиратель протянул карандаш и бумагу.

— Вот, распишись, Краснов! Твое дело с сегодняшнего дня, 24 октября 1945 года, направляется в Особое Совещание!

Коротко и ясно. А что такое Особое Совещание, я точно не знал. Даже мои испанец в Лефортово не мог мне объяснить.

Сосидельцы в Бутырках рассказали, что ОСО состоит из трех человек, «больших» людей МВД или МГБ, иной раз даже из правительства или прокуратуры СССР. Назначаются они по особому распоряжению и, вероятно, по сущности или важности рассматриваемого дела или самого преступника.

Суд происходит заочно. Своих судей арестант не видит. Никуда не вызывают, и остается только ждать, что произрекут три красных оракула.

Существует только три варианта приговоров: смертная казнь, 25, 15 или 10 лет лагерей.

На свободу ОСО не выпускает. Ею решение доставляется подсудимому, и он расписывается, подтверждая прием.

Злые языки в СССР рассказывали, что ОСО это — миф. Что «три оракула» вообще не решают дела, а это делают их секретари, и что все это опять же «трафарет» и «рутина». Во всяком случае, тогда, когда под вопросом стоит судьба какого-то мальчишки, вроде Краснова.

Жалоб против решения быть не может. Распишешься — хорошо. Не распишешься — тоже ладно! Все равно в лагерь поедешь, если жизнь подарили, а если прикажут вздернуть или расстрелять, то и вздернут и расстреляют.

Бывали, правда, чудаки, которые все-таки пробовали обжаловать решение ОСО. Проходили длинные сроки. Они гнули спины в лагерях, приобретали «звонкие и тонкие» формы, и, наконец, их вызывали к оперу, который им сообщал резолюцию на жалобу.

Ответ лаконический: «Сужден правильно. Дело пересмотру не подлежит». — Или «Дело рассмотрели. Сужден правильно». Не в лоб, так по лбу!

Все подобные ответы приходили на готовых формулярах, и опытные лагерники (бывали среди них отсидевшие по два срока по разным «делам») говорили, что жалоба валялась где-то положенный срок или немного дольше, затем к ней пришивался такой «штамп» и процедура была окончена.

Не могу сказать, чтобы срок до решения таинственного ОСО был приятным. Я волновался. Мне, казалось, было бы легче, если бы я был выведен перед настоящим судом, с живыми людьми, прокурором, защитником (?) и всеми остальными судебными личностями. Мне было бы легче читать на их лицах, угадывать решение и, по возможности, самому отвечать на вопросы. Уверовав в то, что моя судьба решена заранее, мне все же хотелось сказать им этим неизвестным судьям, мое мнение о многих вещах.

Я узнал уже тогда, что все это бессмысленно и глупо, но желать я мог! День за днем. Меняются люди в камере. Увели уже осужденного власовца, с которым я особенно сдружился. Исчез один из профессоров, которому пришили очень большой срок, а я все еще переживал ежедневную раздачу сахара и хлеба и отсчитывал квадратики нашего стен-календаря.

Водили нас аккуратно в баню. Маленькая подробность тюремной жизни. Баня — это почтовое информационное отделение. В предбанном помещении сообщали, кого вызывают на суд. Там же подписывались под решением ОСО. В последнем случае осужденный больше не возвращался в камеру. Его сразу же переводили по инстанции.

Людей, доставляемых на суд, возвращая, опять приводили в баню и оттуда уже «по инстанции». Арестанты шутили, что это делалось для успокоения расстроенных нервов холодным душем и для гигиенического очищения, после перенесенного страха.

Стены бани — история тюрьмы и ее людей. В определенных местах хранятся огрызки карандашей. Если такового нет — его заменяет ноготь. По возвращении с суда или по принятии решения ОСО, на влажной стене писалось: «Камера 73 Иванов или Сидоров. 10 лет. Прощайте!», или «Петров, камера 124. В смертную. Ничего. Заменят». Бывали и подобные надписи: «Козлов, 9 лет из камеры 15. Сексот. Бойтесь». Или еще яснее: «Всем. Зуев. Блондин. 42 года. Предал. Душите гада!».

Так мы узнавали бутыркинские новости о судьбе товарищей, определяли «стукачей» и даже ознакамливались с мировыми событиями.

Так узнали и об окончании войны с Японией. Сидя по камерам, слышали салюты из пушек и мучили себя догадками. Всякие высказывались предположения, до переворота и смерти

«гада Сталина» включительно. Кое-кто побывал в бане и принес весть. Прочел на стене: Всем. Сегодня, 14 августа, закончена война с «косоглазыми», и сейчас же рассказал в камере.

Конечно, против подобной «почты» и «информ-отдела» велась борьба. Надзор-состав проверял стены перед приводом группы заключенных, но баня — большая, стены высокие. Каждая камера имела свое местечко, которое знали только сосидельцы, и особое место было отведено для обще-важных сообщений. Наконец, пришел мой день. — Краснов, с вещами в баню!

Прощаюсь. Вещей нет, поэтому успеваю пожать двадцать пять рук. Если один в баню, а не группой, значит пришло решение ОСО. В камеру не вернусь.

Все желают мне получить не больше «десятки». Меньше все равно не дадут. В большом смятении выхожу из камеры. Еще одна страничка жизни перевернулась.

Советский суд и Красная Пресень

Я шел за надзирателем, будучи уверен, что меня сразу же проведут в баню. Нет! Меня спустили только на первый этаж тюрьмы. Прохожу мимо «боксов». Начинаются камеры. Перед одной из них мы остановились. Надзиратель открывает двери и коротко приказывает:

— Войдите!

Вхожу и чувствую, как у меня темнеет в глазах. Папа! Вижу папу!

Не верю сам себе и стою, глупо и растерянно улыбаясь. Не в силах выжать ни одного слова. Отец первый делает шаг ко мне, и я бросаюсь к нему в объятия. Молчим, крепко сжав друг друга руками. Мне кажется, прошла вечность, прежде чем мы разжали объятия и впились главами в осунувшиеся черты близкого лица.

Мы одни. Комната пуста. Очевидно, какая-то приемная, куда нас привели расписаться в принятии решения суда. Садимся на скамью, и папа начинает рассказывать о пройденном пути. Ему было очень тяжело на допросах. Много тяжелее, чем мне. «Воздействие» производилось моральными мерами, но его хоть не били. Не знаю, правду ли он мне говорил, или утешал, не желая возбуждать во мне новой волны злобы и отчаяния.

Жадно вглядываюсь в него. Пожелтевшая кожа плотно обтянула скулы. Нос заострился. Глаза ввалились. Губы — серая линия.

— Тебе стыдиться своего отца не приходится, Колюнок! Спину я перед гадами не гнул. Ни в чем не «признался». Никого не подвел. — заканчивает он свой рассказ, глядя мне прямо в глаза.

Делюсь с ним своими переживаниями. Опять обнимаю его и чувствую, как мои руки скользят, как по решетке, по выпуклым, лишенным всякого жира, ребрам. Вспоминаю Николая Краснова старшего, всегда аккуратного, педантного, внимательно следящего за своим видом, выправкой и в особенности за здоровьем. На что он похож! Его форма в таком же жалком виде, как и моя. Рубище.

Нам дали час на разговор. Отец был очень взволнован. Рассказал мне, что все выданные из нашей группы вели себя с достоинством, и один отстаивал других. И дед, который все время твердил, что, если уж кто виноват, то только он. И Семен. И Соламахин. И Васильев. И Шкуро. И Головко. И все другие. Только Доманов.

У отца упал голос. С трудом ему удалось выговорить слова.

— Доманов открещивался от всего. За все, что было в Италии, за казачью организацию он всю вину валил на деда, выгораживая себя.

Он поторопился переменить тему.

— С мамой что, Николай! Что с бабушкой и Лилей? Пробовал и так и сяк заставить следователей сказать хоть слово о их судьбе. Несколько раз пускал такой шар — спросите, мол, мою жену! Глазом не моргнули. Слова не сказали. Что ты думаешь? Неужели и их выдали советчикам джентльмены с Темзы?

— Береги себя, сын, по мере возможности не нарушая правил чести. Кто сможет, должен стараться так или иначе просочиться обратно в свободный мир. Мы еще не знаем, но, если нас не казнят — должна же быть какая-то возможность для бегства. Весь мир должен узнать о «случае в Лиенце», о нас, о Казачьем Корпусе фон Паннвица.

Тогда я не верил в возможность возвращения, но и я лелеял мечту о бегстве и дал слово отцу, что, если представится хоть маленькая возможность, я ею воспользуюсь.

Час пролетел, как минута. С тяжелым сердцем мы поднялись и перешли в соседнюю комнату, в которую нас ввел надзиратель. За письменным столом лейтенант войск МВД. Два стула.

— Садитесь, господа Красновы. Кажется отец и сын?

— Да!

Лицо у лейтенанта симпатичное. Человеческое, никак не гармонирующее с его формой и положением. Очевидно, по его инициативе, хоть он нас и переспросил о родстве, нам была дана возможность поговорить наедине.

— Слушайте приговор. Он почти одинаков для вас обоих. Начнем. Ну, начнем с сына.

«Особое Совещание при МГБ, на своем совещании 27 октября 1945 года, слушало дело обвиняемого Краснова Николая Николаевича младшего, рожденного в 1918 году, гражданина Югославии, по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьей 58 (4-11) УК РСФСР, и постановило:

— Признать виновным Краснова Николая Николаевича по пункту 4,58 статьи, за оказание помощи международной буржуазии в покушении свержения существующего строя в СССР, которое выразилось в его участии в войне на стороне гитлеро-фашистских войск.

Признать виновным его же по пункту 11 той же статьи, за участие в борьбе против СССР в эмигрантских организациях в гитлеровской Германии.

Именем Союза Советских Социалистических Республик, на основании всего вышеуказанного, приговорить Краснова Николая

Николаевича младшего к 10 (десяти) годам Исправительно-трудовых лагерей без лишения прав после окончания срока».

— Дальше следуют подписи, господин Краснов. Подписи членов ОСО. Ясно? Подпишите.

— Отказываюсь! Это подтасовка фактов. Ни в каких организациях в национал-социалистической Германии я не участвовал. До войны я был офицером Югославии. Во время войны я стал офицером регулярной немецкой армии.

— Как хотите! Приговор в силе, расписались вы или нет. Офицер немного насторожился. Приветливость пропала. — Теперь вы! — говорит он папе.

Все то же, только отцу пришили и пункт 8. Отец оказался террористом! Где же и когда он занимался этим самым террором? В 1918-20 году он был командиром, а в дни войны 1941 — 45 на территорию СССР не попадал. Ну, да все равно! Отец тоже не расписался.

Тот же ответ лейтенанта.

— Как хотите! Приговор остается в силе! Прощайте, «господа» Красновы.

Выводят вместе. Вместе отправляют в баню и, наконец, в церковь на пересылку. Попадаем в камеру № 11. Начинаем отходить. Напряженность отпускает. Начинаем верить в чудо, в особую милость палачей СССР, надеяться на то, что они нам вместе дадут провести «срок наказания».

Велико было наше изумление, когда мы в камере встретились с атаманом Терского войска, генералом Вдовенко. Для нас он был воскресшим из мертвых, правда ненадолго. Мы слышали, что после занятия Белграда большевиками, Вдовенко якобы казнили через повешение там же, в Белграде. Бедняга одряхлел и был смертельно болен.

Опять день за днем, но теперь мы цеплялись за них и с ужасом следили за их сменой. Так было хорошо вдвоем. Пусть деревянные нары без матрасов и подушек. Пусть голодно и холодно, но мы просто упивались нашей близостью, нашими разговорами.

Вероятно, атмосфера благоприятно действовала на душу людей. Все то, что мы говорили в те дни с удивительной легкостью, но бережно и вдумчиво в обычное время трудно было бы сказать на духу, на исповеди.

Никогда мы не были так близки, так родственны и так откровенны, как в этой бывшей церкви, переделанной под пересылку.

— Почему мне так легко говорить, папа? Почему я никогда раньше не был так искренен с тобой?

Отец ласково смотрел на меня, поглаживал меня по плечу.

— Это так понятно, Николай. Страдания сравняли нас. Утоптали разницу в летах. Сблизили. Раньше ты был ребенком и по-ребячьи побаивался родителей. Став подростком и юношей, ты прошел, а вместе с тобой и мы с матерью, через всем знакомый период «отцы и дети». Потом стал сам человеком и жил своей жизнью. В те времена трудно было перекинуть мостик через естественные, не всегда глубокие овраги. Теперь мы оба стоим перед неизвестностью. Если жизнь, так как долго? Если смерть — то когда и где? Мы — обреченные. И нам поэтому легче говорить по душам. Исчез ложный стыд, ложное самолюбие.

Затем, сын. что бы ни делали большевики из этого помещения — оно остается храмом Божиим, церковью. Тут был алтарь, на котором лежал Святой Антиминс. Тут совершались службы. Тут столетиями теплились свечи, зажженные руками грешников, возносили свои молитвы раскаявшиеся преступники, невинно осужденные, смертники, как мы. Я верю, что все эти молитвы создали особое духовно-возвышенное настроение, и его не могут уничтожить все бесчинства святотатцев, все злодеяния богоборцев.

Так говорил, так думал, так чувствовал мои отец.

Он погиб, как жертва красных палачей, истощенный, обессиленный в 1947 году. Царствие ему Небесное. Он был прямым, честным и смелым человеком. Если он делал ошибки, Господь Бог ему их простит за его смирение, терпение и христианское прощение всем обидевшим его. За Лубянку и лагерное горение он действительно заслужил вечный покой и вечную память.

Его отцовская любовь, которой я как-то раньше не замечал, считая все вполне естественным, принимая все, как должное, встала во всем своем величии в моих глазах в те дни, в пересылке.

Не могу забыть его заботы обо мне, проводимые с наивными, плохо скрытыми хитростями. Он знал, что 10 лет ему не протянуть, что он не выдержит давления лагерной атмосферы, и делал всю свою ставку на меня. Мы оба были голодны. Мы не могли не чувствовать сосущей боли в желудке. Паек пересыльных был еще более изнуряющим. И вот мой папка, мой дорогой осунувшийся, поседевший папка, припрятывал от своей «пайки» отломанный кусок граммов в 100–150, и затем вечером, как бы случайно натолкнувшись на этот ломоть, завернутый в его полотенце, делал изумленные глаза и говорил:

— А это откуда? Ах(как бы припоминая) это со вчерашнего дня осталось, не доел. Не хотелось. Не хочешь ли, Колюнок,

закусить немножко? Мне ненужно.

Святая ложь любящею отца! Вспоминая о ней, я и сегодня не могу сдержать слезы благодарности. За все время пребывания вместе, мы делили все пополам, и часто, наивно, как в детской игре, отец старался отвлечь мое внимание в сторону, для того, чтобы «незаметно» подсунуть лишний кусочек, насыпать больше сахару или пропустить очередь захватывания супа ложкой из нашей общей миски.

К этой же хитрости прибегал и я точно так же отвлекая его внимание глупостью, вроде — «Смотри, папа, муха летит» — подталкивал к нему кусочки и насыпал сахар.

Все лишения сказывались на мне менее заметно, а папа таял не по дням, а по часам. С ужасом я замечал его прозрачную бледность, физическую вялость, частые головокружения, которые он тщательно старался скрыть от меня.

Пришел день, и нас вызвали «с вещами». Попрощались с безнадежно усталым и ко всему безразличным генералом Вдовенко. Вывели из пересылки человек 60 и всех набили в воронок. Поездка не была очень длинной, но нас мучила неизвестность и страшная духота. Папа чуть не потерял сознания. Не зная, чем ему помочь, я старался задерживать дыхание, сам не дышать, чтобы «от него» не отнимать глоток воздуха.

Высадили нас во дворе тюрьмы Красная Пресня. Эта тюряга была особого порядка. «Свободная». Нас уже не прятали от других заключенных. Во дворе средь бела дня мы прогуливались и ждали, пола нас распределят. Мы могли разговаривать с кем хотели. Из всех тюремных окон, на которых не было козырьков, а только решетки, высовывались головы, главным образом, «блатняков», которые сразу же вступили в словесную перепалку с новоприбывшими.

Мы перестали быть «элитой». Советское правосудие было удовлетворено. Оно «облекло» наши преступления в параграфы и сроки по Кодексу советского союза. Где-то в архив положено было наше дело. «Контрики» отправлялись на работу, и когда и где они сдохнут — больше никого не интересовало. Хочешь вешаться — вешайся! Разбить голову? Бей по первому камню!

Я поддерживал отца, и мы, как нектар, пили свежий воздух. Мы радовались каждой минуте, проведенной под открытым небом. У отца этот избыток кислорода вызвал в первый момент сильное головокружение и даже, как ни странно, позыв рвоты.

Нас поразил тон надзирателей, которые, подходя к нам, говорили громко, даже весело, называя всех «парями» или «мужиками». Мы с интересом прислушивались к тому, что во всю глотку орали заключенные, торчащие в окнах.

— Эй! Фрайеры (простаки)! Из какой голубушки?

— С Бутырки! вопили им в ответ прибывшие с нами блатные.

Кто-то узнал «кореша», дружка по блату, имевшего свою воровскую кличку:

— Давай, Мишка — рука! Просись сюды, в камеру 162! Все своя шпана, да прихвати и того фрайера, у которого прохоря и лепеха, как надо!

Мы ничего не понимали, но нам сразу же объяснили, что Мишку-руку уговаривали захватить с собой папу, чьи сапоги прохоря и форма — лепеха, привлекли глаза «урок».

Даже изрезанные и вспоротые, они бросались в глаза своей необычной для СССР добротностью.

Там же я узнал, что выражение «оторвать угол» означало кражу чемодана у тех, кто их еще имел. Это были, главным образом, москвичи, попавшие в передрягу прямо из дому.

В предыдущих тюрьмах мы не соприкасались с уголовным миром СССР, и новый русский язык производил на нас ошеломляющее впечатление. Мы долю не могли привыкнуть к тому, что «опять» исчезло из употребления и заменено глупейшим и бессмысленным «обратно» (вроде — «обратно пошел дождь!и т. д.), но «блатной язык» из тюрем и лагерей просочился в страну, и многие его выражения совершенно вытеснили русские общепонятные слова.

На лагерном блатном языке говорит ежедневно 20 миллионов людей. Часть из них возвращается на волю и выносит его с собой, заряжая жаргоном остальных. Мне стало понятным, откуда знаменитый Меркулов так хорошо знал все лагерные выражения, с которыми в то время мы еще не были знакомы.

Выросши в Югославии, учась в сербских учебных заведениях, я сохранил, благодаря вниманию и заботам моих родителей, совершенно чистый русский язык. В лагерях меня сразу же определяли, как «иностранца, хорошо говорящего по-московски», т. е. правильно и грамматически, но, раздумав, прибавляли: никак из американцев будет! Почему-то решив, что моя физиономия — американского типа.

Я забыл написать о том, что, при выписке из Бутырки, т. е. из пересылки, мне вернули самопишущую ручку, иконку, пустую немецкую продуктовую сумку (?) и пакетик немецкого порошка для мытья — «Элида Шампунь», тоже неизвестного, как и сумка, происхождения. Я было заикнулся сказать, что эти вещи мне не принадлежат, но кто-то предупредительно толкнул меня в бок, и я замолчал.

В воронке мне пришлось в пустой темноте бороться с кем-то, кто старался выдернуть у меня из рук сумку. Папа пострадал. Он

сунул в карман кусочек хлеба «на всякий случай», и его выкрали.

Сидя на земле в ожидании размещения, мы с отцом размечались — эх, закурить бы сейчас! Сто лет, казалось, не курили. Подошел надзиратель.

— Ну, мужички, что есть в карманчиках? Вижу, вы вояки (военного сословия). Махнем (обменяемся) на махорочку?

Я обрадовался. Вот хороший человек! Показываю ему ручку и мыльный порошок. Он взял ручку, повертел и положил в карман. Взял и мыло. Понюхал. Тоже повертел, и оно исчезло в том же кармане. После некоторой паузы, из другого кармана он вынул пачку махорки.

— На, паря! — обратился он ко мне. — Хватит! И, повернувшись, быстро зашагал к зданию.

Вот тебе и «хороший человек»! Пользуясь незаконностью своего (и нашего на первом месте!)поступка, он знал, что мы протестовать не смеем.

Заработок «торговцев» по тюрьмам и лагерям превышает обычно 10000 Процентов. Великая теория Карла Маркса и его «Капитал» приобрели в СССР особый смысл.

Все равно, плакать не приходилось. Ручку я давно записал в убыток. Элида — сама приблудилась. Закурили. С наслаждением втягивали в себя вонючий, едкий дым махорки.

Время шло, и опять засосал голод, а тут опять появился «наш» надзиратель. Ходит и на нас поглядывает. Как на ярмарке: товары высматривает.

— Жрать хотите? — внезапно спросил благодетель. — Чего за хлеб дадите?

Все коммерческие сделки надзирателей были, главным образом, построены на новоприбывающих. Пока их еще не облапали «блатные» по камерам, надзиратели мариновали новичков на открытом воздухе, зная, что и голод и охота покурить вывернут не один карман, разденут не одного «фрайера».

— Вот сапоги, если хочешь, — показываю на мои хромовые, с надрезанными голенищами и оторванными подметками, подвязанными веревочками. У меня они вот-вот распадутся, а из рук приличного сапожника могут выйти совсем «фартовыми прохарями».

— Скидывай! приказал он мне деловито. Снял. На этот раз, умудренный опытом, снял только один. Он долго его щупал, нюхал, рассматривал и, наконец, сказал:

— Ладно! Для тебя, как для брата родного, сделаю «по блату». Семь паек хлеба и два стакана табаку. Идет?

— А я что ж, босым останусь?

— Дай сумку в придачу, сменку принесу, одно удовольствие сменка-то будет.

Пара разрезанных сапог и грязная парусиновая сумка защитного цвета, обшитая кожей и на кожаном ремешке. Боже, до чего ты голодная, босая и голая Русь! Даже в самые трудные военные дни на белградских базарах, где, как на барахолке, происходил размен одежды на продукты, никто, самый захудалый цыган не посмотрел бы на этакий товар. А тут, как я потом узнал, я прошляпил. За него можно было сорвать гораздо больше, и «блат» о котором мне, «как родному брату», говорил надзиратель, был определенным жульничеством и обираловкой. Но рядом, бледный — бледный, с прозрачно голубоватым лицом истощенного арестанта, давно не видевшего солнечного света, сидел мой дорогой, родной, любимый. Мой папа.

И сумка и сапоги перешли в жадные руки надзирателя тотчас, как он принес 3.900 граммов хлеба, два стакана махорки и пару довольно стоптанных, козловой кожи ботинок на резиновых подметках.

Теперь я вертел сапоги в руках и даже их понюхал. Воняли они жутко: смесью специфического запаха козла и чьего-то остро зловонного пота. Даже шнурков на них не было, но надзиратель бросился меня утешать.

— Я тебе веревочки оставлю, которыми ты подметки-то подвязывал. Вот ими и зашнуруй, мужик. А тебе так легче будет. Блатные со «слюнками» (ножами) не будут лезть. Ты теперь на «старца» (арестанта), прошедшего огонь, воду и медные трубы больше смахивать будешь. А сосед твой махать не хочет?

Нет. Я не хотел на первых же шагах раздевать отца. Я все еще верил в свои кулаки, считая, что сам смогу отстоять его в случае нападения блатных.

Медленно и с наслаждением мы съели эти почти четыре килограмма хлеба. Махорку разделили пополам и спрятали во внутренних карманах кителей, которые нам удалось зашить, после Лефортовских обысков, в Бутырках.

За едой разговорились с соседом, чеховского типа человечком неопределенных лет, в пенсне и с бородкой. Оказалось, что нас действительно «ограбили». Вся стоимость того, что нам дал надзиратель, по московским ценам, равнялась 18 рублям. Одни мои сапоги, пройдя известную починку, могли быть проданы на черной бирже за 2000 рублей. О таком заработке не могли мечтать даже «акулы Уоллстрита»!

Но «чеховский интеллигент» утешил нас заявлением, что и надзиратель хочет жить. Хотят жить, есть и учиться его дети. Каждый рвет, где может. Закон природы Советского Союза. Если

не ты за глотку, то тебя поймают и придушат.

Зарплата такого надзирателя равнялась приблизительно, с вариацией на стаж, 400–500 рублям. Полкилограмма масла, по словам человека в пенсне, на черной бирже (а где его достать без черной-то биржи) стоило 100 рублей. Хлеб, если его не хватает, тоже на блат-базаре достается по 20–40 рублей килограмм. Даровой хлеб из тюрьмы вынести нельзя. За это можно солидную «пришивочку» получить и самому сесть. А тут в тюрьме торгуй и помалкивай. Так себе тюремщики вырабатывали на жизнишку и детишкам на молочишко.

Этот же надзиратель повел нас на медосмотр. Тут нам был нанесен страшный удар. По состоянию своего здоровья, мой отец не подходил к содержанию пересылки Красной Пресни Отца взвесили, и оказалось, что его вес был только 50 кг. С мая месяца он потерял больше тридцати килограммов. Остались только кожа да кости. Врач сказал, что в таком состоянии он не может его определить для «дальнего следования обычным этапом».

— Вас отправляют в Сибирь. Еще не известно точно, куда, и мне совесть не позволяет. — ответил мне врач, когда я бросился к нему чуть ли не со слезами, умоляя не отделять отца от меня. — Если вы еще не знаете, что такое этап, то поверьте моему слову, и как сын, желающий добра отцу — не просите. Он этого не выдержит!

Никогда не забуду выражения глаз моего несчастного папы, его взгляд, которым он меня провожал, когда нас разделили. В них была скорбь и укор. Не мне, невольно покидавшему его, а всему человечеству, допустившему насаждение бесовского зла на нашей Родине, допустившему Лиенцевское и другие преступления 1945 — 46 годов, допускающему и сегодня все бесчинства коммунистов.

Мы расстались навсегда. Больше я не видел Краснова старшего. Он умер одиноким и измученным, но, по словам людей, которые были с ним, всегда стойким и гордым. Никогда мой отец не добивался, не просил никаких поблажек и облегчений. Он шел по своему крестному пути, морально не сгибаясь.

Где его могила на далекой северной земле? Лежит он один, или закопан вместе с другими мучениками, в общей могиле, может быть уже вспаханной и перепаханной?

Много еще лет пройдет, много воды утечет, но имена мучеников, оставивших свои кости в безымянных могилах далекой Сибири, Урала, Норильска, Мордовской АССР и других мест человеческого закрепощения, останутся навсегда жить в памяти их близких и навсегда останутся пятном на совести торговцев мировой политикой.

Осиротевшим, ничтожным и маленьким чувствовал я себя в пересыльной тюрьме Красная Пресня. Некоторые ее назвали «Кровавой Плесенью» и, думаю, не преувеличивали. Ей это название дало не поведение самого начальства, а его попустительство в произволе блатных, взявших тюрьму крепко в свои руки.

Двухэтажное здание делилось на камеры, но днем камеры не всегда запирались, ввиду того, что из Пресни можно было ходить под конвоем на работу. В ней сидел отработанный пар судебных процессов, и, как я уже сказал, подразделения в ней на блатных и «по 58» не делали.

Работа? — Разгрузка дров, и за нее хватались все. Производилась она далеко не стахановским темпом, и, конечно, было приятнее провести день на свежем воздухе, чем вдыхать в себя запах «кровавой плесени».

В камерах общие нары, рассчитанные на 50 человек. Помещали же 100 и больше. Ни повернуться, ни вздохнуть. В этой пересылке я прошел через подготовку к лагерям, вернее через «последний шлиф». Падая со ступеньки на ступеньку, с отменной Лубянки в коврах, я докатился до положения нуля, где мое прошлое, мое имя, мое как бы социально-арестантское положение не стоило ломаного гроша.

Новичку в Пресне предоставлялось «почетное место». У самых дверей. Рядом с вонючей парашей. Днем ему указывали на крайнее место на нарах. Ночью этого места больше не было. Тело до тела были нары укомплектованы, и новичку предлагалась возможность сидеть на деревянной крышке самой «Прасковьи», так как весь пол тоже был покрыт телами.

Ночью несчастный, впадая иной раз в дремоту, не замечал кандидата на «оправку». Случалось, что он бывал просто облит мочей, или какой-нибудь блатной с удовольствием воссаживался прямо на его колени.

Новички с нетерпением ждали первой очереди, если кого-нибудь убирали и отправляли в лагеря, и торопились занять любое место на нарах или на полу. Даже в декабре не топили в камерах. Людские тела, их испарения создавали просто невыносимую температуру. Форточки стояли настежь открытыми, и из них валил смрадный пар. Вперемешку лежали блатняки и «контрики». К стыду контрреволюционеров, воры и убийцы, как правило, занимали самые лучшие места, грабили и избивали, спали на мягких подушках, присланных из дому людям «по 58», а те молчали и никогда, даже если были в большинстве, не подавали голоса протеста. В такую пассивную камеру попал я на первых шагах.

На второй день по прибытии, отсидев одну ночь на параше, мне удалось заполучить местечко на полу. Морально истерзанный разлукой с отцом, физически смертельно уставший, я заснул мертвецким сном. В ту же ночь меня ограбили. Украли последний табак, вытащив его из внутреннего кармана моего кителя. Обнаружив кражу на следующее утро, я во всеуслышание объявил о совершившемся и стал протестовать. Ко мне сразу же подползла интеллигентская «58 статья» и стала уговаривать прекратить шуметь, а то изобьют, разденут, а могут и прирезать!

— Но нас же, контриков, больше! — возмутился я. — Мы можем им тоже «жизни дать».

— Ш-ш-ш! Что вы! Сумасшедший! Молчите!

Оттолкнув пресмыкающихся, я полез на блатных, предъявляя им свой «иск».

Урки стали смеяться.

— Ишь ты, вояка нашелся! Вот это да! А где корешки твои? Чай, тебе помощь окажут? А ну-ка, ребята, дай ему прикурить!

От одного удара я сразу же очутился распластанным на полу. На мне оказалось человек двадцать. Немного ошалев, я все-таки вступил в неравный бой. Дрался и вырывался из всех своих сил. Еще один удар, и из окровавленного рта я выплюнул зуб.

Удары острой болью отдавались в груди, в полости живота. Били «скопом», и в то же время, «контрики», интеллигенты, сидели молча, забившись по углам, делая вид, что они ничего не видят и ничего не слышат.

В полубесчувственном состоянии меня выбросили за двери камеры. Тут меня сразу же подхватили надзиратели и, не разбираясь, в чем дело, вбросили в соседнюю камеру. В ней тоже находились блатные и «58 статья», но на этот раз я натолкнулся на офицеров и солдат Первой Власовской дивизии. По каким-то признакам они сразу же определили, что я «свой», обмыли кровь с моего лица и расспросили, что со мной произошло. К ним присоединилось несколько бывших военнопленных, служивших во время войны в немецкой армии.

Я рассказал, кто я, и почему я так зверски избит и «разоблачен». Вояки, как в тюрьмах называют военных, рассвирепели. Собралось человек двадцать, столпившихся около меня. Наперебой меня утешали и обещали поддержку. Надобность в ней появилась вскоре.

Немного отойдя, я прилег на свободное местечко. Недалеко от меня уголовники играли в карты. Банкомет проигрался дотла и, как бы ища новые капиталы, взглянул на меня.

— Снимай френч! — мрачно сказал он, останавливая тяжелый взгляд на моем кителе. — Сними, говорю!

— Зачем? — из последних сил вспылил я.

— Я его чичас прошпарил! Платить надо!

— Какое мне до этого дело! — взвыл я не своим голосом.

И тут началось. Вояки повскакивали с мест. Несмотря на истощенность, два десятка бывших солдат дали такого перца шестидесяти блатным и их «шестеркам», что дым шел коромыслом. В ход пошли не только кулаки, но и оторванные от нар доски. Бой продолжался минут десять, и к концу урки сдались, умоляя больше не трогать их. В результате все лучшие места были за нами, и у изголовий нар лежал хлеб и табак, «добровольно, со слезами на глазах» преподнесенный уголовниками в «знак вечного мира».

Интересно отметить, что надзор-состав никогда в подобные ристалища не вмешивался, на чьей стороне ни был бы перевес. Он был глух и слеп и из подобных побоищ старался только найти для себя какую-нибудь выгоду, подобрать незаметно то, что случайно вывалилось, выкатилось, или «плохо лежало». Слава о контриках из 17 камеры пошла по всей тюрьме. Блатные прониклись к нам уважением. Когда нас выводили на прогулку, к нам подкатывались урки и шестерки, умильно заглядывая в глаза.

— А-а-а! Как приятно! Это мужики из семнадцатой! Не охота ли закурить? Вот махорочка-мать! Вот и газетка! Хошь «пайку» хлеба?

Они просили нас только об одном: не вмешиваться в дела других камер и в их личные, блатные, операции.

В Красной Пресне я научился многому. Я узнал, что человек человеку волк и что бороться нужно только сплоченной стаей, хватать мертвой хваткой, никогда не отступать и ни в коем случае не поворачивать неприятелю спину.

Я увидел, что дальнейшее мое пребывание в СССР ничего общего с Николаем Красновым не имеет. Он стал заключенным номер такой-то, и если хочет жить — должен сам выть по-волчьи.

В Пресне я узнал, что нужно искать себе подобных и стараться связаться с ними крепкой спайкой. В этом можно позавидовать блатным, самым организованным гражданам великого СССР. Чтобы сохранить свою грязную, порочную жизнь, они идут на любые преступления, до мокрого дела включительно. Если один блатной, матерый убийца, совершает новое преступление, его скрывают его же сотоварищи. В лагере или в тюрьме негде скрыть «корпус деликти». Дело замять невозможно. Но уголовники защищают своего друга. Они выбирают в своей среде «пацана», малолетника лет пятнадцати, уже имеющего 25 лет сроку, отсидевшего пару месяцев. Он «признается» в убийстве, и ему «обратно пришивают» к 25 годам эту пару отсиженных

месяцев. Так это идет. На колу мочала. У подобных типов срок отсидки — в день Последнего Суда. Их это не беспокоит. Двадцать пять лет или десять — какая разница? К тому же для воров и убийц и амнистия другая. Они — самый близкий режиму элемент. Кореши до самой смерти.

В 1953 году вышел указ Президиума Верховного Совета. За убийство заключенного заключенным же, в лагерях или тюрьмах, преступление наказывалось смертной казнью. Указ не произвел никакого впечатления на преступный мир. Несмотря на то, что нам в лагерях довольно часто читали о том, что такой-то, за убийство такого-то, повешен, согласно решению такого-то военного трибунала, убийства продолжались, может быть, немного в меньшей мере.

Преступность развита в СССР, как нигде в мире. Преступность в лагерях перещеголяла все меры. Правда, с 1955 года, вследствие изменений условий жизни в лагерях, она немного упала, но только в отношении убийств. Воровство на воле и воровство в лагере являются «общественной особенностью», с которой не умеют бороться. Воруют все. От министров до карманников. Воруют, потому что жизнь не дает необходимого. Если раньше говорилось: «Не обманешь, не продашь», то теперь говорят: «Не украдешь, не проживешь».

Советские воры боятся только смертной казни. Заключение их не пугает. «Лагерь — это наш дом! — любят они хвастаться».

С 1955 года началась борьба с рецидивистами. Их стараются изолировать, помещая в особые лагеря, считая, что этим локализуется зараза. Это — паллиативы. В СССР должен произойти сдвиг, переворот, смена режима. Народу нужно дать стандарт нормальной человеческой жизни, свободу, собственность и инициативу в выборе труда. Преступность постепенно вымрет сама.

Отправка в лагерь оттягивалась. Я маялся от скученности и ничего неделания. Однажды мне удалось примазаться к группе заключенных, отправленных на разгрузку дров на Москва-реку. Разгружали с баржей.

Стояла чудная погода. Ясное, как голубой атлас, небо. Вдали была видна красавица — Москва. Какой-то мост повис, в преломлении света в воздухе, как кружевной и нереальный, над невидимым изгибом реки. Мимо нас пролетали электрические поезда по каменной набережной. Шумела жизнь. Проходили люди.

Уже по дороге меня удивила бедность прохожих. И мужчины и женщины не в пальто, а в телогрейках. Гимнастерки, сапоги и бушлаты стали основной одеждой послевоенного люда в СССР.

Женщины в платках. На ногах войлочные сапожищи. Часто в ватных брюках. Спешат на работу.

Вольные не отворачиваются от заключенных. Они неприветливы, но и не брезгуют разговором, если это разрешает надзиратель. Они просто равнодушны. Ничего необычного в заключении нет. Десять процентов населения перманентно сидит в тюрьмах и лагерях. У вольных — заключенные родственники. У вольных мысль, «сегодня ты, а завтра я».

Разговорился с москвичами, сосидельцами, работавшими на разгрузке. Почему все так бедно? Почему так убого выглядят дома? Серые, грязные, в подтеках. Крыши бедлам. Окна залеплены газетами. Заборы покосились.

— Как почему? Попробуйте хорошо одеться, сейчас же вам пришьют «дело». Откуда? Честным путем до шевро и шевиота не дойдешь!(верх вожделения советских франтов), — ответил мне, как бы с обидой, собеседник. Франтят верхи. Им все дозволено. В их руках «туфта», и она почти узаконена. А вот насчет домов? Чьи они? Дядины? Так пусть «дядя» их и чинит! Откуда жителю материал взять? Разве что «достать», а достанет, донесут, «дядя» по головке не погладит.

Кроме убожества, вас поражает и неопрятность, но и она являлась наследием режима. Все торопятся. Все боятся опоздать. Всем нужно и служить и работать, и хозяйством заняться, и за покупками сбегать, и очередях постоять. А вечером то на сходку, то на заседание, то на сверхурочную работу. Вот крутится народ городской, как белка в колесе. Откуда уж тут опрятность разводить! С одной тарелки по неделям едят и только в воскресенье ее вымывают.

Грустное впечатление на меня произвело то, что я видел и слышал в этот день разгрузки дров.

Наступили этапные дни. Начали нас без всякой надобности и логики гонять из камеры в камеру. Иной раз переселяли дважды, трижды в сутки. Перемешивали, как карты для пасьянса. Безалаберщина длилась дней десять. За это время я успел растерять всех друзей — вояк, успел встретить новых и с ними расстаться. Впопыхах некоторые камеры наполовину пустовали. В других люди ««доходили» от духоты и вони. Друг у друга на головах сидело по 150–200 человек. Камеры запирались, и «зайцевать» не удавалось. Я был на границе полного отчаяния, зажатый в месиве потных тел, когда 12 декабря вечером внезапно выделили нас человек шестьдесят и бросили в совершенно пустую камеру, вперемешку 58 статья и воры.

Начался шмон. Отобрали весь табак. Опасно! Можно махоркой глаза конвою засыпать. Пересыльным разрешается

иметь папиросы, но откуда их взять? У меня вторично отобрали иконку. Она — де из металла. Можно наострить край и того!

В углу камеры я натолкнулся на старые, насквозь дырявые штаны и бушлат. Надел. Пригодятся. Кроме того, они скрыли остатки моей военной формы. Она до сих пор являлась предметом вожделений блатного мира. — Шшши-виотова! — говорили они с придыханием. Не доехать бы мне было в ней до лагеря. По дороге бы раздели, а могли и придушить. Кроме того, этот вид сравнял меня с остальной массой, и «замаскированному» мне было легче избегать ненужных столкновений. Построили нас по пять в ряд. Вывели во двор.

— Садись! — команда. Сели на землю.

Считают по головам. Сбиваются. Опять считают. В воздухе повис мат. Принимает нас начальник конвоя. Обращается с традиционным приветствием:

— Внимание, заключенные! Вы переходите в распоряжение конвоя. Шаг вправо, шаг влево считаю побегом. При движении в строю за малейшее нарушение порядка приказываю конвою открывать огонь без предупреждения. Ясно? Вперед!

Встаем и идем. На первых же шагах воры действуют противоположно прочитанной лекции. Они горланят, визжат. Делают право и влево не один шаг, а по четыре — пять. Но нюх у конвоя поразительный. Они сразу же определяют, кто «блат», а кто «контрик». Вор выйдет из строя, наплевать! Прикрикнут — и все. Контрик пошатнется от слабости, или споткнется — поднимется дикий, богохульный мат, и в ход пускаются палки. Стрелять не стреляли, правда. Мы все еще в Москве, хоть и бредем по ее окраине.

Приводят нас на товарную станцию. За нами бредут другие группы. Станция специально приспособлена к отправке заключенных. Вероятно, с основания концлагерей. Нас быстро проводят в баню. Времени мало. Эшелон ждет. Не успеваем вымыться, как уже кричат: Одевайся, да чтобы поскорей! Выскакиваем, подтягивая штаны по дороге. Кругом — ни души. Прожектора ярко освещают вагоны, закутанных в шубы часовых, сторожевых собак породы волкодавов и проволоки. Телефонные проволоки протянуты во всю длину состава. Вагоны товарные. Напоминают ежей: они буквально оплетены колючей проволокой. Двери на шарнирах чуть-чуть открыты. Влезть можно только бочком. Когда погрузка заканчивается, дверь закрывается на засов, замок и еще оплетается проволокой. Под вагонами висят «кошки», крюки. Если бы заключенные пробили пол и выпрыгнули на путь между рельсами — жутко подумать об их конце. Все придумано для того, чтобы подтвердить пословицу:

«Жить нам стало веселей, жить нам стало лучше!»

Мою партию в шестьдесят человек подводят к вагону. У других вагонов тоже стоят группы по шесть десятков и больше заключенных. Все еще подтягиваются новые серые колонны арестантов. Эшелон составлен из 40 товарных вагонов. Между ними, в середине состава, вагон для офицеров штаба эшелона, вагон для конвоя, кухня для заключенных, кухня для солдат и продуктовый вагон.

Товарные вагоны двух типов: четырех- и двухосные. Нас грузят в малый вагон. В него следует грузить 40 арестантов; нас вгоняют шестьдесят и грозятся по дороге добавить.

Лесенок нет. Двери, как я уже сказал — узкая щель. Карабкаемся на высоту в полтора метра и стараемся скорей проскользнуть в вагон. В это время счетчик молотком ударяет кого по спине, кого по голове, как придется, без всякой милости, и громко считает. Мне, молодому, было легко тогда, но каково старикам, а их было не мало.

По обе стороны вагона в три яруса поперечные досчатые настилы для спанья. По середине печка и 4 полена дров. Стены покрыты льдом. Напротив дверей, у другой стены, в полу сделана маленькая дырочка. Из нее торчит трубочка, не больше двух вершков в диаметре. Это — латрина, место для отправления человеческих естественных надобностей. Я еще нигде не встречался с подобным издевательством. Пусть вагон ледяной, пусть отпустили всего четыре полена для отопления на день, пусть мочеиспускание нужно совершать с особым прицелом, но другие отправления шестидесяти человек нагромождаются пирамидой, частично растекаются, частично замерзают и все же распространяют невыносимую вонь. В этом же вагоне люди спят и едят. В этом вагоне в пути умирают более хилые и слабые, и их трупы лежат неубранными, «пока черед не придет».

Меня и тогда интересовало, меня интересует и сегодня, знает ли об этом просвещенный, гуманный мир? Знают ли свободные люди, так охотно посещающие СССР по туристическим визам? Почему и сегодня пишут статьи дотошные журналисты западных стран, вспоминая «о страшной Сибири», в которую русские цари, эти «бессердечные самодуры», отправляли несчастных революционеров?

О! Если бы цари так поступали с революционерами, как сегодня СССР поступает с десятью процентами своего населения, ни один из них не дожил бы до 1917 года. Они бы вымерли своевременно, и Россия осталась бы цела.

Сродность режима, его слуг и уголовного мира сказалась и тут. Вперед в вагоны пропускали воров. Они сразу же заняли

третий ярус нар. Там было теплее всего. Второй ярус заняли воровские шестерки. Нижний был предоставлен нам, контрикам.

Забравшись в угол, я радовался тому, что сейчас запрут двери, и мы больше не будем слышать озверелых окриков конвоиров и хриплого лая собак. Какой там! Не прошло и полчаса, как заскрипели на шарнирах двери, и раздалась команда: Все в одну сторону, вправо, марш!

Мое место в углу оказалось очень рискованным. Шестьдесят человек ринулось вправо к стене вагона. Те, кто был направо — только прижался поближе. Остальные в каком-то оголтелом состоянии метались, мчались, падали. Я был крайне левым!

В вагон влезли солдаты. Опустевшую половину обстукивают молотками. Не проделали ли за это время дырок? Освещают карманными фонариками и, закончив инспекцию, подходят к двери. Старшина конвоя подает новую команду: Все в одну сторону, влево, марш!

Пулями пролетаем мимо него. На этот раз мне повезло; одним из первых я забился в свой угол, но и мне попало молотком по плечу.

Опять обстукивают вагон, его вторую половину. Как новичок, я считал, что на этом церемония заканчивается. Нет. Опять команда. — По одному, бегом!

Заключенные летят мимо конвоя. Это — счет. Необходимо промчаться мимо счетчика, который молотит молотком и кричит: один, два три.

Сзади налетают люди, сбивая передних с ног. Упадешь на пол — затопчут ногами арестанты, или изобьют молотками конвоиры. Замешкаешься и собьешь счет — опять заставят всех бегать и потом, после ухода солдат, получишь крепких тумаков от своих же.

Солдатам это доставляет удовольствие. Это — главная забава. Если они найдут жертву, какого-нибудь неудачника или увальня, выуживают раба при каждой считке и отбивают на его спине молотками арию «Ах вы сени, мои сени». До отхода эшелона нас считали несчетное число раз. По дороге пользовались каждой остановкой хотя бы на пять минут. Лезут в первый попавшийся вагон и наслаждаются процедурой, официально называемой «проверка».

Долгие и мучительные 48 часов, двое суток простояли мы на запасном пути памятной товарной станции в Москве. Как нас торопили с купаньем в бане! Как нас в шею гнали при погрузке! Для чего? Все сорок восемь часов нас не кормили, но зато от наших конвоиров несло водкой, и мы слышали их пьяные песни.

Позже я узнал, что конвой всегда пользуется периодом между

погрузкой и отправкой и меняет на водку продукты арестантов. Мы, мол, больше не в Москве, и мы еще не в дороге. Значит, нас «нет», а если нет, то и питать некого! Замечательная логика.

Третьей ночью из тяжелой дремоты нас пробудил страшный толчок, пробежавший, как искра, по всему составу. С оглушающим стуком ударялись буфера, заскрипели буксы, стукнули колеса, и мы пошли навстречу неизвестному. В путь. В Сибирь.

Эшелон Москва — Мариинск

Мой первый эшелон. Первое знакомство со способом пересылки заключенных на места их дальнейшего существования. Я уверен, что рабы на галерах ужаснулись бы, если бы им предложили с нами поменяться.

Мне вспоминается исторический случай, охотно пережевываемый досужими иностранцами, о том, как Император Павел I, прямо со смотра, походным маршем отправил один полк в Сибирь, в наказание за «неудовлетворительность в экзерсисах».

Западный мир считает этот случай «возмутительным и ничем не оправдываемым зверством самодержавного самодура». Западный мир, однако, избегает присовокупить, что этот полк, пройдя в парадном обмундировании каких-то 12 верст, был возвращен обратно.

История российских декабристов, описанная столько раз столькими писателями, истории осуждения на каторгу и ссылку подрывных элементов в дни «кровавого царизма», «ужасающие поступки жандармов» и т. д., являются до сих пор тем трамплином, с которого враги России скачут к выносу суждений о том, что «каков царь, таков и комиссар», и что «русский народ никогда ничего лучшего не видел и, по сравнению с царизмом, он теперь имеет относительную свободу».

Прекрасны сказания о Гарун Аль Рашиде, который, переодевшись, уходил в народ и, смешиваясь с толпой, узнавал ее настроения, скрываемые от него вельможами. Как мне жалко, что творцы мировой политики, торгующие Россией и ее народом в течение почти сорока лет, как мне жалко, что попустители и разжигатели коммунизма на нашей родине, сидящие на берегах Темзы, в Вашингтоне и в Париже, бывшие верные союзники нашей Родины, не могут стать современными Гарунами и проделать хоть раз дорогу в этапном порядке, скажем, от Москвы и до любого лагеря.

О России со времен Иоанна Грозного плелись сказки и небылицы. Поступки европейских монархов, современников Иоанна Васильевича и позднейших русских царей, всегда рассматривались с известной снисходительностью. Нашим же ставилось не только всякое лыко в строку, но, при помощи клюквы и увеличительных стекол, доводилось до супер-гиперболических размеров.

Французские галеры (уж не говорю о римских) давно забыты и изредка появляются на экранах кинотеатров в трогательно-жутком оформлении, но никто еще не поставил картины, с

которой не сравнится и ад Данте — историю концлагерей и эшелонов смерти МВД в самой счастливой в мире стране — СССР.

Четыре жалких полена сгорели в буржуйке в течение первого же часа, не согрев воздух вагона.

Теплушками назывались эти вагоны в прежнее время. Теплушками были товарные вагоны, уютно попахивавшие потом и навозцем. Теплушками были те вагоны, в которых ехало 30 солдат, спавших на душистой соломе или сене, посапывавших под потрескиванье и гул огня в печи. Мы же ехали в леднике на четырех колесах.

К утру нам удалось своим дыханием довести температуру до сравнительно сносной, т. е. не на очень много выше нуля. Постепенно начал таять лед со стен и потолка, и мутно-грязная, зеленоватая вода полилась по полу и стала капать на блатных, кое-как устроившихся на верхних нарах. Воры заерзали, зашевелились и вскоре оказались на средней полке, предоставив возможность своим «шестеркам» принять «сталинский душ». Так дальше и пошло. «58» находилась внизу, поближе к потокам мочи и кучам экскрементов, а блатные ночью лезли наверх н днем разворачивались в среднем этаже.

Насколько дальше мы отъезжали от Москвы, настолько ниже падала температура. Наш эшелон шел 12 дней, с 12 декабря по 24. Последние дни она не была днем выше 15 градусов ниже нуля, падая ночью до 35 градусов.

Ко мне прибился несчастный, худенький, белобрысый немчик, чья вина против советского союза заключалась в том, что он был денщиком «кригс-фербрехера» — выданного в СССР немецкого генерала. Генерал уже закончил свой земной путь, а бедного Франца ОСО осудило на 10 лет ИТЛ. По-русски он не говорил, что с ним произошло, не понимал и, узнав, что я говорю по-немецки, привязался ко мне всей душой.

Мы помогали друг другу, чем могли. Часто, ночью, я чувствовал, как Франц изо всей силы дышит мне в затылок, стараясь меня согреть своим дыханием. Я его научил, благодаря тому, что мы оба случайно имели две пары штанов, свои солдатские и советские ватные — снять ботинки и стянув ватники ниже бедер, их штанинами завернуть, как культяпки, конечности ног. Благодаря этому, у нас не были отморожены ноги, и, согревая дыханием руки, мы до минимума уменьшили их повреждение.

Есть нам стали давать только на второй день пути, т. е. на четвертые сутки после погрузки. Раз в день нам подавали бочку с супом, который успевал остыть на сильном морозе, пока попадал в наши руки. Полагалось по 650 граммов хлеба и кусок селедки

— 75 грамм. Теоретически нам полагался и сахар — 15 грамм, но он очень редко доходил до нас. Раздатчиком или «старшим» вагона был урка, убийца-рецидивист, который делил сахар между своими «ребятами», и все наши протесты и даже жалобы конвою ни к чему не приводили. Сахар был главным топливом наших истощенных голодом и холодом организмов. Урки отлично знали его калорийность и жрали его узким кругом, громко хрустя крепкими зубами, а мы только, глотая слюни и слезы обиды, смотрели, как наша жизнь исчезает в их глотках.

Рацион выдавался только при длительных остановках на больших станциях. Поэтому мы его получали рано утром, а затем после длинного интервала, только на следующий день вечером или ночью.

По три — четыре полена дров для отопления вбрасывалось тоже не каждый день. Мороз был настолько невыносим, что сначала мы сожгли свои деревянные ложки, вперемешку с тряпьем, с которым решили расстаться. Тряпье только дымило, и ему нужно было дать «силы». Вот этот разжигательный потенциал приобрелся сожжением ложек. Затем пошли в ход доски нар. Конечно, у «58» отобрали их на первых же порах, и мы полегли на пол. Потом был сожжен верхний этаж и уже напоследок средний. Шестьдесят человек полегло на грязный, мокрый вонючий пол.

Характерные являлось поведение конвоя. Просьбы о дровах не удовлетворялись. Если часто приставали, солдаты мстили. Настежь открывалась дверь на каком-нибудь полустанке, выветривалось и последнее, относительное тепло, а затем, для согревания «давали духу». Начиналась «считка с перебежкой», по пять — шесть раз. Молотки работали, как в кузнечной. Наковальней служили наши спины и головы. И в то же время они, эти слуги режима, конвоиры войск МВД, совершенно равнодушно смотрели на уничтожение государственного имущества. Они не могли не замечать постепенного сжигания нар, и когда мы все оказались на полу, ржали, говоря: Ничего! Сами на лесоповале поработаете, сами доски резать будете, самим и нары для другой партии настилать придется! Богатая страна Россия, и ее леса не идут в счет в СССР. Дров нет, но досок — сколько хочешь!

Среди нашей группы были и рецидивисты, отправляемые в лагерь не первый раз. Этапные поезда были им знакомы, и они и тут чувствовали себя, как дома. Первые захватывали при помощи «старшого» горячий паек, сливали в наши за все двенадцать дней не мытые миски жидкую баланду, оставляя себе гущу.

— Эй! — кричали они. — Услужим фрайерам! Первым по очереди дадим контрикам, а нам — тех же щей, да погуще лей!

Эти же рецидивисты рассказывали о том, что в составе поезда

находился мед-вагон, — настоящий пульман, с мягкими койками, с простынями, одеялами и подушками, жарко отапливаемый и с электрическим освещением. Там и пища была иная! Насколько это верно, утверждать не могу. Но, во всяком случае, на больших остановках, после «считки с перебежкой», к нам заявлялся эшелонный врач МВД. Об его приходе заранее объявляли конвоиры, открывая дверь и крича:

— Больные есть? Врач здесь!

Врач входил, вернее поднимался по приставленной лесенке и, с выражением брезгливости на лице, оставался стоять на самом пороге. Равнодушно выслушивал жалобы отмороженных и больных, и так же равнодушно отвечал: Ничего! Выдержишь! И не такие выдерживали! Если ему в глаза бросалось красное, от жара воспаленное лицо — совал в рот градусник. Температура ниже 40 градусов не производила на этого вельможного эскулапа никакого впечатления. Из нашего вагона вынесли только одного, метавшегося в бреду. Попал ли он в «пульман» или на тот свет — не знаю.

Я не заболел в этом эшелоне. Даже не простудился. Даже простого насморка не поймал. Выжил и мой Франц. Возможно, мы друг другу спасли жизнь, грея то спины, то грудь, растирая обледеневшие ноги и руки в кровь. Как это ни странно, в нашем вагоне помер только один старичок. Он все время жаловался на сердце, которое отказывалось работать. С вечера он громко стонал и икал. Никто не обращал на него внимания. На утро нашли его окоченевший труп.

— Гы! Жмурик! — объявил колхозник — мужичок, проведший всю ночь «в объятиях» с трупом.

В вагоне загалдели. Считали необходимым сообщить об этом конвой-составу. Вагонный старшой и его приятели — рецидивисты сразу же воспротивились.

— Чаво заявлять! Туды вас — растуды! Ему, жмурику, не все равно, где лежать? Что здесь, что в могиле, а нам убыток! Баланду на него дают? — Дают! Сахар отсыпают? — Отсыпают! Чаво ж тут заявлять!

Так мертвого старичка и оставили с нами, благо морозы сильные. Несколько раз, подхватывая труп под мышки, воры пробовали уговорить начальника конвоя взять их в мед-вагон.

— Глянь, начальник! — по-бабьи голосили они. — Занемог мужичок, мы его и тащим. Считай нас трех сразу и сдавай врачу в мед-вагон!

Не рассмотрев, что блатные поддерживают уже давно окоченевший и совсем промерзший труп, начальник крыл их самым отборным матом.

Так до конца нашего пути «жмурик» делил нашу судьбу. Во время проверок урки таскали его с собой, перебегая из края в край вагона. Кто его в этот день таскал, тот в виде награды получал или «пайку» хлеба или 15 граммов сахару. Не могу себе представить, чтобы никто, ни разу не заметил этой проделки, но конвой предпочитал притворяться дурачками. Им так было удобнее. Думать о том, куда «ложить» труп, составлять акт по этому поводу и прочее делало не мало хлопот. Не в нашем же одном вагоне выдавались продукты на мертвые души.

Когда мы прибыли на место выгрузки, подъехали сани, и из всех вагонов, кого за руки, кого за ноги, как туши из рефрижераторов, потянули отошедших в лучший мир. Считали нас, считали сразу же и «мертвяков» и всем табуном, живым и мертвым, сдали лагерному начальству. Пусть — де оно разбирается! Принято столько, сдано столько же. Никто не сбег. Никого не убили. Сами дошли.

В темноте — все двенадцать дней. Глаза отвыкли от света. Моменты проверок при открытых дверях и лучи карманных фонариков, направленные прямо в зрачки глав, причиняли невыносимые страдания. В особенности отражение света от снега. Обильные едкие слезы жгли веки, и временами казалось, что слепнешь.

Человек — изумительное животное. Он поддается не только стадному чувству, но и настроению ближайшего соседа. Мой немец Франц был ласковый, тихий и какой-то светящийся, скорбный. Его тихость перешла на меня.

Чтобы не раздражать воров непонятным, незнакомым и ненавистным немецким языком, мы разговаривали шепотом. Франц рассказал мне все о своем доме, о родителях, о невесте, оставшейся его ждать. О генерале своем, которому он в душе оставался верен. Тихо и покорно изумлялся, почему он не попал в простые лагеря для военнопленных и не был отпущен домой.

Если я делился с новыми товарищами по тюрьмам и камерам политическими и военными «новостями», происшедшими в то время, когда они уже «вышли в тираж», если мы вели известные споры, защищая одних и нападая на других — я никогда и ни с кем не говорил о моей семье, о ее женской части.

Бывший рабочий, пролетарий, Франц Беккер открыл самую заветную дверку в моей душе. Грея друг друга, растирая застывающие руки или ноги, массируя леденеющую спину того, кто по очереди лежал прижатый к стенке, я тоже открывал все свои сокровенные мысли, говорил этому бледненькому, тающему на моих глазах «врагу народа» о маме, о Лиле, о моей разлуке с отцом, о том, что было еще недавно целью моей личной жизни, и

что ушло навсегда.

Тогда никто из нас не верил в возможность выжить и вернуться обратно. Даже немец Франц и тот покорно соглашался с фактом, что ему суждено оставить свои кости в чужой, ненужной, холодной и враждебной стране. Как он был прав, бедняга!

Временами я загорался и с ненавистью говорил о всех тех, кто равнодушно и спокойно спал, даже не умыв, по-пилатовски, руки после совершенного гнусного предательства. Я проклинал Гитлера, безумца, сгубившего свою родину, и антикоммунистическую идею, Рузвельта, Черчилля, де Голля. Меня даже физически согревали эти приступы отчаяния и гнева, но я в темноте слышал ровное, легкое дыхание Франца Беккера и его шепот:

— Sei nicht boeae, Nikolai! Es zahit sich nicht aus. Das ist nur Schicksal! Jeder hat seine Vorsehung, — die Kleinen und die Grossen: so auch die Laendern!.. (Не сердись, Николай! Не стоит! Это… судьба. И маленькие и большие люди имеют свою судьбу. Судьбе следуют и государства…)

Мне хотелось иногда ударить его за эту покорность, и сразу же затем я подпадал под влияние его тихой обреченности и стихал. В тайнике моей души Франц Беккер навсегда занял место, и в своих угловатых нескладных молитвах я всегда поминаю его душу.

Прислушивался я в пути к пению заключенных. Разные были песни. И скабрезные, с грязными припевами, сопровождаемые всевозможными звуками, которые горланили воры, и грустные, родившиеся в народе. На меня они навевали глубокую тоску. Помню одного тенорка, молодого мальчишку, уголовника. Мне казалось, что он еще не совсем погряз в своей среде, что по душе он был не плохим, и в его преступлении, грабеже какой-то старухи, винить нужно было не его, не его садить на скамью подсудимых, не ему выносить приговор, а Сталину и его банде.

Его мягкий голос как-то особенно брал задушу. Он вкладывал в слова столько чувства, что его песни приобретали смысл народных баллад нашего времени.

— Бродяга Байкал переехал. Навстречу — родимая мать. — Ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная! Что можешь ты мне рассказать?

Люди в вагоне не выдерживают. Смолкают споры, брань и разговоры. Несколько голосов стройно подхватывают последние две строфы.

— Отец твой давно уж в могиле, землею засыпан лежит, а брат твой, в холодной Сибири, давно кандалами гремит.

Пение крепнет. Все больше поющих. Остальные затихли, притаились и, сдерживая дыхание, слушают.

Паренек умолк, опустив русую, коротко остриженную голову. О чем он думает? О своей судьбе? О матери, живой или умершей матери? О судьбе всех русских пареньков родившихся в проклятое время?

— Поет! — с чувством, на растяжку, прогудел «старшой» вагона. Даже его, закоренелого преступника, тронул мягкий, ласкающий слух голос и слова песни. — Жалится на судьбу свою кандалашную. пацан-то! Гиблое его дело, что и говорить!

Гиблое дело. Гиблое дело миллиона русских пацанов, детей раскулаченных, в смерть загнанных крестьян, изувеченных войной, проданных Европой русских солдат, просто русских детей, потерявших семью, связь с ней и покатившихся, как яблочко, под красную горку.

Пел этот паренек и песню, которую я слышал еще в Белграде, песню «урки», с надрывом, со слезами в голосе.

— Вот умру я, умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя. Никто не узнает, никто не придет, только ранней весною соловей пропоет.

Слова были те же, что и в белградской передаче, но мелодия звучала иначе, и воспринималась она по-другому. Там, в дни беспечных «страданий эмиграции», в ночных ресторанах, под звон бокалов, в чаду папиросного дыма и в клубах запаха жареного мяса и лука, мы слушали песню «урки», закатывая глаза, умиляясь, жалея этого неизвестного беспризорного, но жалея и себя, так бедно влачащего свои дни за пределами родины.

Тут, в ледяном мраке товарного вагона, под аккомпанемент стука колес на стыках рельс, упиваясь лирической мягкостью голоса, вкладывавшего всю обреченность и неизбежность в слона, мы забывали и вонь отхожего места, и молотки конвоиров, и хриплый лай собак, из друга человека перевоспитанных в кровожадных бестий.

Туда, куда нас везли, с нами бок о бок ехала сама смерть. Там не поют соловьи. Не цветет сирень. Там воют ветры и дикие звери. Там царствует произвол в лице тысяч слуг МВД. Там никто не найдет мелко выкопанную могилу, кроме голодного волка, и я знал, что мальчик — певец мечтал о том, чтобы умереть в теплом ласковом крае, с соловьями и кустами сирени. Он знает, что жизни нет и не будет, и он знает что, где бы его ни похоронили, он будет одиноким, не оплаканным, забытым.

Пение этого несчастного ребенка России всегда вызывало обильные слезы на моих глазах. Я страдал. Страдал за страну, в которой я родился, не видя ее, не сознавая, покинул и в которую

вернулся при таких ужасных обстоятельствах. Я страдал за русскую мать, не имеющую сил задержать своих детей при себе, воспитать их в Божеских и человеческих законах. Я искал в своем сердце злобу, веря, что в ней будет таиться моя сила, но я ее не находил. Я вспоминал слова деда:

— Помнишь, Николай, солдат в Юденбурге? Хорошие ребята. А они ведь Россия.

Сиблаг МВД

К сумеркам, 24 декабря 1945 года эшелон Москва — Мариинск закончил свой длинный и страдный путь. Паровоз, плотно укутанный облаками пара, втянул состав на одну из запасных веток станции Мариинск, маленького сибирского городка. Разгрузка произошла быстро, под барабанный бой молотков. Строили по пять человек по-вагонно. Когда весь транспорт был приведен в порядок, дали команду: садись!

Сели в рыхлый свежий снег. Еще раз пересчитали. Тронулись в дорогу. Нам сказали, что нас ведут в пересыльный лагерь Марраспред, в двух километрах от вокзала. Шли по дороге, по обеим сторонам которой был выстроен конвой. Как березы или липы вдоль аллеи. Солдат хватило на всю длину пути: войск МВД — хоть пруд пруди.

За нами плелись санные дроги, с нагруженными на них трупами. Больных и отмороженных мы несли на руках, или вели, держа под мышки. Франц не отходил от меня и все молил Бога, чтобы ему удалось и дальше быть со мной в одном бараке. Бедный мой друг, беленький Франц Беккер, несший на своих плечах всю тяжесть непонятной ему 58 статьи!

Подвели нас к трехметровому деревянному забору. Построили опять. Упорядочили ряды, как нам приказывали сопровождающие конвоиры. Наконец, открылись широкие ворота. От забора в сторону дороги, вокруг всего лагеря трехметровая запрет-зона, обнесенная колючей проволокой. Сейчас все покрыто снегом, на котором ясно виден каждый след. Летом эта полоса вспахивается и боронится, чтобы тоже запечатлеть дерзкий шаг решившего ее перейти. Часовые зорко следят, чтобы и вольные люди обходили эту полосу. Чуть что, сейчас же кричат и грозят открыть огонь.

У ворот — вахта, тоже защищенная колючей проволокой, деревянный барачек, мигающий ярко освещенными окнами: мигает от силуэтов людей, непрерывно ходящих внутри помещения между окнами и лампой.

По шестьдесят человек вводят в зону. Вечер. Трудно разглядеть, но все же видим, что мы как бы вошли в посад, маленький своеобразный поселок. Бараки, вкопанные в землю, для теплоты обложенные снегом — только верх крыши и дымящаяся труба видны. Это — землянки. Деревянные же одноэтажные домики — барачного типа. В них расположены больница, баня, пекарня, кухня и клуб для заключенных. Бараки получше — для персонала. Немного дальше каменный дом, как

мы вскоре узнали — изолятор. Лагерная тюрьма или «тюрьма в тюрьме». Дальше водокачка и еще дальше небольшая зона, густо заплетенная колючей проволокой. Это — кар-зона. Карантин. Нас ведут прямо туда.

Обращаю внимание на опрятность дорожек, по которым мы шагаем. Снег расчищен, утрамбован пирамидками по обе стороны. Много небольших деревьев. Летом хорошо, зелень. Мы идем по «главной магистрали». По боковым гуляют люди в бушлатах и ушанах. Всматриваюсь и поражаюсь — на некоторых штаны, на других юбки. Мужчины и женщины. В одном лагере. Гуляют. Вечерняя прогулка.

Когда нас ввели в карантинную зону, опять затеяли считать: не сбежал ли кто по дороге прямиком в лагерь? Уже была ночь, когда нас ввели в бараки. Франц — за мной, но тут вмешался счетчик и, оттолкнув несчастного немчика, обрезал: Столько-то сюда, и ни одного больше.

Карантинный барак производил подавляющее впечатление. Хуже Красной Пресни. Стены только от половины вверх деревянные. Вниз — земля утрамбованная. Пол — липкая грязь, смешанная с талым снегом Нары сплошные, рассчитаны на 100 человек с каждой стороны.

Я попробовал урезонить конвоира, пустить в этот барак моего «кореша», немца, который не понимает по-русски. Ответ был пересыпан самыми отборными ругательствами, и к моему носу была поднесена здоровенная, посиневшая от холода дуля.

Одно преимущество я нашел в кар-зоне — бараки были жарко натоплены. Но за это я поплатился. С непривычки стало страшно жарко. Я прилег было на нары, но они зашевелились от миллиона голодных, жадных клопов. Скатился на пол и пристроился у стенки. Жара донимала. Снял сначала бушлат и сделал из него подстилку, потом снял и китель и, свернув, подложил под голову. Утром проснулся — кителя и след простыл, а я даже не почувствовал. От моей былой формы остались одни брюки. Остальное — типично лагерное. Погрустив, я пришел к заключению, что так лучше. Совсем с серой массой смешаюсь. Авось, легче будет. Все же пожаловался одному соседу, так, не поднимая шума.

— Молчи! — посоветовал он. — Тебя надзиратели ночью обобрали. Так здесь делается. Может быть, легче теперь лагерное барахлишко получишь. Знаешь, как в тюрьмах говорят: у меня, как у латыша, шиш в кармане, но душа!

Невольно я улыбнулся и отошел. Но, в общем, мне было не до улыбок. Белье почти истлело. От голода или грязи появилась какая-то сыпь. Последнюю жратву дали две ночи тому назад. На

запросы, когда дадут рацион, ответили, что нас еще не зачислили. Прибыли мы, говорят, на сутки раньше, чем нас ожидали. Заведомая брехня. На станции нас встретил чуть ли не полк МВД. Бараки были натоплены (чтоб клопов разбудить, говорили урки). Но почему оперативному уполномоченному и всем его помощникам не заработать на партии в несколько сот заключенных?

Из кар-зоны выходить запрещалось. Нам сообщили, что мы должны отсидеть 21 день, пока пройдем карантинный срок. Тогда введут в жилую зону и распределят. Но не всех. Большинство отправят сразу же в другие лагеря. Только маленькую часть задержат в пересыльном лагере.

К концу первого дня в карантине я совсем ослаб плотью. Меня стало знобить. Несмотря на жару, зуб на зуб не попадал. Появилось страшное головокружение. Замелькали мотыльки перед глазами. К вечеру принесли каждому по небольшой «пайке» хлеба и раздали по пол миски какой-то совсем жидкой баланды.

— Котлы помыли и помои с барского плеча прислали! — протестовали урки.

Я одним глотком проглотил хлеб, но, когда попробовал запить баландой, едва удержался, чтобы не выбросить все содержимое желудка. Сидел на полу весь облитый холодным липким потом, держась за живот, стараясь руками задержать то, что неудержимо поднималось к горлу.

Мне кажется, что я тихо, по-собачьему, подскуливал. Мне казалось, что я отравлен каким-то смертельным ядом, и особенно жутким казалось отсутствие верного, доброго Франца. Мне казалось, что я слышу откуда-то его тихий, соболезнующий голос:

— Oh, Herr Oberleutnant! Herr Oberleutnant! — как он, вероятно, раньше говорил своему господину «генерал-лейтенанту». И мне становилось легче.

Невероятным усилием я задержал в себе съеденный хлеб и заснул, свернувшись клубочком, как бездомный, облезлый щенок.

Блатные безобразничали. Скандалили. Дрались между собой и били контриков. Меня никто не замечал. Я был «обсосан» до косточек, и никто больше не бросал алчного взгляда на мое «имущество». Шишом в кармане и моей душой никого я привлечь не мог, но мое моральное состояние было близко к полному отчаянию. Миллионы клопов. Грязь. Вонючая, влажная жара. Голод и привязавшиеся ко мне мотыльки, порхающие в глазах. Неизвестность. Из разговоров я понял, что, кто останется в окрестностях Мариинска, может надеяться на сносную «житуху». Кто останется в самом Марраспреде — кум королю и брат солнцу. Но существуют и другие возможности, страшные возможности, и

вот туда-то обычно и отправляют «по»58».

На третий день в наш барак зашел какой-то человек, пожилой, прилично одетый. Правда, по-лагерному, но все на нем чистое и новое. Остановившись около печи, он брезгливо поморщился, покосился на ее раскаленную поверхность и спросил, есть ли среди нас «придурки», умеющие красиво писать.

Я уже знал, что «придурками» называются интеллигенты, работающие по конторам, в бухгалтерии, и т. д. Когда-то, в военном училище, я отличался каллиграфическим почерком и считался одним из лучших чертежников. Хочу отозваться, и не решаюсь. Наконец, видя, что вопрос человека повис в воздухе, и желающих нет, выхожу и говорю:

— Я умею.

У меня плывет в глазах. Слабость мешает говорить.

— Вы откуда?

— Из Югославии.

— Эмигрант?

— Да. Вывезли родители.

— Ну, прекрасно! Однако, выглядите вы, как самый заправский. Ладно! Разговаривать будем после. Ступайте за мной.

Вышли. На дворе потеплело. Небо серое, но, как ватным одеялом, прикрыло природу. Ветра не было, а я качался как в сильный шторм. Господин заметил и замедлял шаг. Нас беспрепятственно выпускают из кар-зоны. Вслух выражаю свое изумление.

— Кто вы?

— Не бойтесь. Такой же заключенный, как и вы, только с большим стажем, работаю в распределительном лагере в КВЧ (культурно-воспитательная часть при лагере). Может быть, и вас туда пристрою.

Я вспомнил внезапно сон прошлой ночи. Мне снилась жена. Как во всех тюремных снах, мы были радостны к беспечны, но вдруг она серьезно посмотрела мне в глаза и спросила: ты молишься?

— Молюсь! — ответил я. — Молюсь! Тогда не бойся, слышишь?

При пробуждении этот сон исчез из памяти, но сейчас он вернулся, как явь, и я бодро зашагал рядом с неизвестным благодетелем, стараясь не отставать.

Мы вошли в помещение клуба. Уютно, чисто, светло. Большая сцена. Рядами стоят опрятные скамьи для зрителей. В одном углу собралась группа женщин. Они — в городских платьях. Рядом мужчины в костюмах обще-советского типа. Смеются. Разговаривают, как люди. По краям за столиками сидят люди и

играют в шахматы. Лежат газеты, книги, журналы.

Мне кажется, что я сплю. Что это продолжение сна о Лиле. Прохожу мимо большого зеркала и буквально замираю. Жуткий оборванец смотрит на меня. Узкое, грязное лицо заросло чуть ли не до глаз щетиной. Волосы на голове, той же длины, торчат ежом. Глаза ввалившиеся, безумные.

— Это… это я? — спрашиваю громко.

— Это вы, — отвечает новый знакомый, — но это пустяки. Все поправимо. Лидия Михайловна! — зовет он кого-то. — Вот новичок, прибывший последним эшелоном из Москвы. Говорит, что красиво писать умеет и сможет написать программу для концерта на воскресенье. Он из Югославии. Если сделает — будем рады, а если и соврал — не прогоним, правда? Видите на что, бедняк, похож!

Нам навстречу идет пожилая женщина. Нет! Это дама. В длинном черном платье. Седая. Голова повязана старинным русским шарфом, какие носили наши бабушки.

— Ну, и герой! — воскликнула она мелодичным, грудным, не по возрасту молодым голосом. — Это кто вас так, ворюги разделали? Давайте знакомиться.

Маленькая ручка тонет в моей, огрубелой, грязной, потрескавшейся от мороза.

— Я, Лидия Михайловна Жуковская. Бывшая актриса и бывший режиссер бывшего театра в Ленинграде. Все здесь бывшие люди. Хорошо. В нашу среду мы плохих не принимаем. Это — островок в волнующемся концлагерном океане. А вы кто?

— Николай Краснов.

— Николай? А как по батюшке? Не Николаевич ли? Вы не сын Колюна Краснова, лейб-казака, который когда-то за мной ухаживал?

Мной опять овладевает слабость, но на этот раз радостная. Мне петь хочется. Мне кричать хочется. Я с людьми! Не с урками. Не с конвоирами. Не с МВД. С настоящими людьми, которые имеют душу, сердце. И эта милая старушка с ясно голубыми детскими глазами знала моего папу.

Меня куда-то повлекли. Воткнули в одиночку-кабинку с душем. Дали вымыться. Кто-то достал новенькую лагерную одежду, терпко пахнущую бумажной материей и типичным запахом складов. Мне дали возможность выбрить физиономию и, наконец, сдали обратно милой Лидии Михайловне, которая и накормила меня, как я уже описал: 10 литрами супа, 5 литрами каши и почти четырьмя килограммами хлеба.

С этого момента я стал питомцем большой артистической семьи лагерников, сплоченной, чудной семьи. На первых

лагерных шагах мне неожиданно повезло, и я постепенно стал чувствовать себя тоже человеком.

В Сиблаге я встретил впервые настоящих, хороших, чисто русских людей. Интеллигентных «зубров», если я смею их так назвать, не желая ни в коем случае их обидеть или обвинить в какой-либо косности. Люди, которые остались в России, ради России и ради ее народа. Не ушли в эмиграцию, потому что, как они мне сказали — нельзя же было всем, двухсотмиллионному народу уйти куда-то, оставив свою страну пустой.

Мои друзья по Сиблагу, милейшая Лидия Михайловна, ставшая мне как бы второй матерью, актриса Минского театра Альфредова — Розанель, актер Мезенцев, певица Зубова и другие, были осколками чудесного мира служения искусству и народу. Они жили и работали для них, а не для режима, как бы не замечая его, пока режим их не заметил и не заклеймил каторжным клеймом.

Эти люди помогли не только мне. Они помогали всем, кто нуждался в этой помощи и, по их мнению, заслуживал ее. Они вытащили из кар-зоны Соламахина и Васильева, пристроив их на легкие работы. Они вытащили моего Франца Беккера, продлив его жизнь. Они помогали французам, немцам, венграм, австрийцам. В Сиблаге создалась здоровая традиция помощи новоприбывающим, если не во всей массе, то поскольку это позволяли возможности. Начальство Сиблага удовлетворялось дисциплиной, прекрасным поведением культурно-воспитательной части и тем, что люди работали не за страх, а за совесть, ценя создавшееся положение.

Работяги, т. е. рабочие, пристроившиеся при Сиблаге и окружающих его предприятиях, наслаждались теми крохами уюта, которые им давал клуб, теми проблесками подобия человеческой жизни, о которых они перестали мечтать в тюрьмах и по этапам.

Большинство наших благодетелей попало в лагеря в 1937 году. Подходили сроки их освобождения, но они к нему не стремились, заранее говоря, что предпочтут остаться на поселении. Центральная, Европейская Россия их больше не привлекала.

— Подальше от Кремля и ярко освещенных рамп столичных театров! — говорили они. — И, кроме того, мы здесь больше нужны. Мы только здесь чувствуем, что служим искусству и народу. Там мы были закрепощены, зашнурованы, как в корсет, партийной линией и требованиями коммунизма.

Меня расспрашивали, но многое из того, что я им говорил, они уже знали. В Москве я был новинкой в тюремных камерах, но

тут прошло уже не мало людей, выданных Западом в разных пунктах Европы. Прошли уже партии осужденных за «колоборацию» несчастных «остов», крестьян и рабочих, насильно вывезенных немцами и насильно же возвращенных, по призыву «любимого вождя». Прошли уже массы власовцев, рассказавших правдивую и страшную историю. Не первым был я и из эмигрантов.

Вели мы долгие беседы, делились мыслями. Безрадостны они были для вершителей человеческих судеб по ту сторону Железного Занавеса.

Со странным конгломератом людей повстречался я, в лагерях. Среди «контриков» я натыкался не только, далеко не только на настоящих противников коммунистического режима. Рядом с «репатриированным» эмигрантом из Парижа, по колено в воде, работал бывший гордый носитель партбилета, генерал, профессор-экономист, сов. дипломат маленького ранга и даже бывший полковник МВД.

Не ко всем этим «по 58» мы чувствовали симпатию. Не всем доверяли. Один штамп, даже одни и те же муки через которые мы прошли, все же не могли соединить масло и воду. Но люди были. Много людей, которых я запомнил с теплым чувством.

Натыкался я на членов центрального комитета республики «ин корпоре» (Грузинской), на целый обком (Иркутский). Они получили по «катушке» в 25 лет. Рядом с главным художником — декоратором Большого Театра СССР, Максимовым, «не угадавшим линию», сидел прокурор Кемеровской области, засадивший не малые сотни людей, а может быть и тысячи, в те «злачные места», в которых сам погиб под тяжестью непосильного труда.

Бок о бок, тянул я вьючную лямку через плечо с командующим Московским укрепрайоном, генералом, профессором Военной Академии имени Жуковского, просидевшим без суда в Лубянке и затем в Бутырках с 1941 по 1951 гг., затем получившим от ОСО десять лет ИТЛ. Послали старика на Тайшетскую трассу и вдогонку пришили еще десять лет, посчитав, очевидно, что мало.

— За что? — Да за то, что он в первые же дни войны осмелился критиковать какое-то «гениальное» распоряжение Сталина.

Умер Сталин. Уничтожен был Берия, и вдруг приказ: освободить генерала профессора Н.Н. из-под стражи и срочно, самолетом, в полной военной форме доставить в Москву. Слышали мы потом, что вьючное животное, одно из очередной «восьмерки», тягавшей арбы с деревом и углем, было с полным почетом отправлено в Крым, на государственный счет, поправлять

здоровье.

Вспоминаю народного артиста Пичковского, утаптывавшего рядом со мной снег по бедра, для прохода части МВД. Помню народную актрису Русланову, остриженную под одну гребенку с ее мужем, генерал-полковником, командующим укрепрайоном Москвы в 1941 году и командовавшим армией в период 1942-45 гг., получивших «поровну» в 1947 году по четверть века ИТЛ.

Сегодня ты, а завтра я! Так шло и, вероятно, идет в СССР и будет идти, пока там царит коммунизм. Не раз я слышал такую фразу:

— Ну, что ж! Я даже рад. Если я «дохожу» физически, то я отдыхаю внутренне. Мои сроки подошли. Мне легче, а то все время я балансировал, плясал под дудку, кривил душой, торговал совестью. Во имя чего? Во имя жизни в Москве или Киеве? Во имя казенной квартиры и относительной материальной обеспеченности? Но разве был я спокоен? Спал твердым сном? Каждое утро, приходя на службу, я дрожал, всматриваясь в окружающие лица, боясь на них прочесть то выражение, которое часто имел я, глядя на обреченных, которым еще не сообщена их судьба. Каждый вызов к высшему начальству заставлял меня мысленно перебирать в голове все возможные грехи или ошибки. Как плясун на канате, натянутом над пропастью. Нет! Если доживу до конца срока, ни за какие коврижки не поеду обратно. Тут и осяду. Выстрою себе землянку и буду доживать свои век.

То же говорили и артисты. Здесь, в лагере, они играли те вещи, которые им нравились: классику, произведения дореволюционных авторов, перед благодарными, внимательными зрителями. Они удовлетворяли свои художественные требования, без передвижной сцены, современной экипировки сцены и роскошных костюмов, и они знали, что их игра переносит в другой мир сотни людей, дает им моральные силы, будит в них человека, замедляет процесс самоуничтожения и превращения в бездушного зверя.

Не во всех лагерях, конечно, было так, как в Сиблаге. Не всюду люди могли служить высшим интересам, но на первых шагах я столкнулся с этой средой, и она мне дала тот крахмал, который помог мне все десять лет идти, морально не сгибаясь.

Меня пристроили работать на прялке в ткацком отделении лагеря. Первое мое знакомство с этим инструментом стоило мне больших мук. Пряжа рвалась. Прялка ломалась, но тут, под боком, был пристроен и генерал Соламахин, который вдруг открыл в себе исключительную способность чинить орудие моих пыток. Я сам себе напоминал знаменитого зайца, который

научился зажигать спички. При ежедневной десятичасовой работе я, наконец, стал ткачом, но к этому времени, из-за недостатка витамина «С» в моем организме, а может быть и идиосинкразии к пряже, я покрылся чем-то вроде чесотки.

Я должен прибавить, что, если моральная сторона была на высоте, то мне вскоре стало ясно, чем пожертвовала Лидия Михайловна и ее друзья, уступив мне лукулловский ужин в первый день моего с ними знакомства. Жизнь у нас была голодная. В Марраспреде, да и во всем Сиблаге, мы никогда не были сыты. Баланда ничем не отличалась от баланды других лагерей. Ужуливание рациона непрерывно повторялось, а десять часов работы даже у прялки, приняв во внимание норму, выматывали и последние силы. И все же Сиблаг имел свою особо хорошую сторону. Это был сельскохозяйственный лагерь. Совхоз.

Большинство заключенных работало на полях. Там гнул спину и мой верный Франц Беккер. Работали в зернохранилищах, в свинхозяйстве, в коровниках.

Паек МВД для всех лагерей одинаков. Варьирует он, только благодаря индивидуальному отношению лаг-начальства. Где крадут больше, а где по-божески. Но в Сиблаге и во всем Марраспреде была возможность, работая на очистке пшеницы, насыпать себе в штанины полкилограмма зерна. Обыск бывает каждый день, но все же люди ухитрялись, завязав штанины вокруг ног, проносить понемножку, сварить в бараке и по-товарищески поделиться с теми, кто работал всухую, т. е. в ткацкой или на других производствах механического порядка.

Работая десять часов в ткацкой, я умудрялся посвящать еще четыре — пять часов моей новой, театральной, деятельности, к которой, несмотря на всю мою застенчивость, меня привлекли мои новые друзья. Я горел, как спичка, подожженная с двух концов. Наконец, упал на работе и попал в госпиталь.

Увидев мою сыпь и определив степень истощенности, врач, такой же заключенный, как и я, доктор Гринько, сказал:

— Я был бы рад, Николай Николаевич, сделать вам вливание специальной сыворотки, но у меня ее нет. Ваш случай не исключение. Многие болеют истощением и нуждаются в витаминах, но главврач, капитан МВД, все обещает, и не доставляет. Ничего, молодой человек! Мы что-нибудь придумаем.

Друзья придумали. Меня устроили так, что я мог пользоваться «сверхпитанием».

Перевели на молочное производство, и, за спиной надзирателя, я, как и другие, попивал молоко. С овощехранилища товарищи по несчастью стали приносить, кто морковку, кто головку молодого лука, кочерыжки от капусты. Все это я пожирал

в сыром виде. Во время окапывания картошки, там же на месте, на кострах, в пепле пекли этот превосходный фрукт, к которому, по степени его питательности, мы все питали особое уважение.

Мы крали. Обкрадывали «дядю», как принято говорить в СССР, т. е. государство, но ни у кого из заключенных ни разу не шевельнулась совесть. Работали мы в то время совершенно бесплатно. Работали, как волы, 10 часов в сутки. Что-то создавали этому же «дяде». Создавали его благополучие миллионы бесплатных рабов. Рабы теряли здоровье и жизнь, а «дядя», пользуясь их бесплатным, фактически неоплатным трудом, сам, при помощи ближайших родственничков, т. е. партийцев, расхищал это богатство, «туфтил» на все стороны и, самое обидное, плевал на сокровища, которые падали в его подол.

Зерно гнило в одном месте, в то время, как в другом царил голод. В послевоенное время, которое я пережил «там», царила полная разруха и неурядица. Царила эта разруха с первого дня постройки социалистического благополучия. Крал каждый, только один крал катушку ниток и получал за нее в 1947 году «катушку» в ИТЛ, а другой в то время строил только в докладах несуществующие заводы, проводил непроведенные дороги и наполнял свои карманы премиями, продвигался по иерархической лестнице коммунизма, ездил в отпуска в Сочи и Крым и смеялся в кулачок. Смеялся потому, что вся советская «туфта», как иголочка с ниточкой, прошивала и скрепляла круговой порукой на смерть от бригадира, от обычного надзирателя в лагере, заведовавшего работами на лесоповале, до самых главных шишек МВД.

Невольно в моей памяти воскресают мужики — колхозники, которые, работая бок о бок рядом с «дошедшими» заключенными, с жадностью подбирали ту вонючую хамсу, которую последние, не в силах проглотить, бросали на землю.

Франц Беккер, крадший морковку или перья лука в день, спасал жизнь Краснова, Соламахина, Васильева, Петрова, де Мартиньяка или Яноша Сабо. Краснов, проносивший в штанинах две пригоршни пшеницы, давал возможность бороться с болезнью корейцу, румыну и своему русскому, родившемуся или прожившему всю свою жизнь в колючих лучах красной звезды.

Круговая порука спаивала наших рабовладельцев. Круговая порука помогала «58» бороться сразу с двумя организованными неприятелями — МВД и блатными, рвущими в лагерях, что называется, «серьгу вместе с ухом».

Три фронта: МВД, блатные, «58». Если первые были почти одноликими, на один «профиль», вторая и третья группы были очень смешанными.

Бандиты, разбойники с широкой дороги, воры, не брезгующие в случае нужды и мокрым делом, просто воришки и мелкие карманщики так и стояли на «социальной лестнице». Последние обслуживали первых. Их связывало страшное слово. Они имели свой собственный суд, и услуга всегда должна была быть оплачиваема. Их дерзость была безгранична, их свирепость тоже. Никто себе не позволял так хамить начальству, как они, и само МВД, главным образом расплодившее их, сам «дядя», иной раз приходили к заключению, что этот «классово-близкий» элемент» нужно время от времени полоть с советской нивы.

«58» была многогранной, как отшлифованный бриллиант или, вернее сказать, как кривое зеркало. В мои годы под эту статью подходили многие, логически с ней ничего общего не имеющие, и потому в «58» спайка была только групповая, а, следовательно, слабая. Однако, и «58» приобрела в последующие годы свой вес, по замыслу МВД просеянная, пробранная, очищенная от плевел и ссыпанная в закрома так называемых «спец-лагерей», но так далеко пока забегать не буду.

Я указал на эти три фронта потому, что они сливались в одно, в маленьком масштабе Марраспреда, в те моменты, когда говорило искусство.

В темном зале клуба заключенных, в то время, когда на сцене жили люди из другого мира, и бессердечные надзиратели, и сухой, по-звериному эгоистичный офицер МВД, и бандит, обагривший не раз руки кровью своих жертв, и генерал-полковник советской армии, и колхозник, раскулаченный и добитый, переносились в заоблачные края, отдыхая душой и забывая свое личное я.

Лидия Михайловна, видя подавленное состояние, в котором я находился, решила:

— Слушайте, молодой человек. Жить одной прялкой и рисованием программ нельзя. Вы когда-нибудь играли на сцене? Нет? Ну, заиграете. Извольте появиться сегодня вечером на читку. Ставим «Не все коту масленица» Островского, и нам необходим Ипполит. Вы читали эту вещь? Видели ее на сцене?

К моему стыду, я никогда даже не слышал об этом произведении Островского. Кроме того, я никогда не играл, если не считать «школьных спектаклей», когда я участвовал в инсценировках сказок «Дедка и репка», «Кот в сапогах» и т. д.

— Я не знаю. — пробормотал я. — Вы, Лидия Михайловна.

— Я знаю, что я Лидия Михайловна. Итак, Ник-Ник младший, в 8 часов вечера в клубе.

Приходил я, как на урок. Разбитый, усталый, голодный. Я не мог теперь, зная положение пропитания в лагере, принимать

подарки от моих друзей, тем более, что они все были в два раза старше меня. Возвращался в барак взбудораженный, смущенный, даже несчастный. Я думал, что из меня никогда толка не выйдет, в особенности, когда режиссер кричал:

— Краснов! Вы не на военном плацу! Не шагайте, как Каменный Гость! Что вы делаете с вашими руками! Чего напружинились, как тигр перед скачкам?

— Ничего, Ник-Ник! — утешали меня дамы. — Привыкнете, обмякнете и научитесь управлять голосом, лицом и конечностями. Не унывайте!

Мой первый выход на сцену был сплошным фиаско. Мой Ипполит был заикающимся, с блуждающими глазами и натопыренными ушами, ловя шепот суфлера. Бесцветная, жалкая фигура.

Я чуть не плакал, но меня полюбил режиссер МХАТА Должанский. Он и Лидия Михайловна взяли меня, чурбана, в оборот. Под их чутким руководством я заразился духом театра и играл на сцене разных лагерей до 1951 года. Затем наступил трагический перерыв — время пребывания в спец-лагерях, где я чуть не оставил костей, но в 1954 и 55 годах я опять купался в свете рампы.

Играл я Незнамова в «Без вины виноватые», Молчалина в «Горе от ума», Подхалюзина в «Свои люди — сочтемся». Выступал даже, как лже-Димитрий в отрывке драматизированного «Бориса Годунова», в сцене у фонтана.

Вкратце перечисленный репертуар говорит о том, к чему стремилась лагерная театральная интеллигенция, угадывавшая вкус зрителей: классика. Только классика. Изредка — классические же комедии.

Вспоминаю особо ярко спектакль, когда шла пьеса «Без вины виноватые». Я, Незнамов, в заключительной сцене с матерью Кручининой, которую играла великолепная Альфредова — Розанель, глубоко переживал свою роль. Временами мне казалось, что я говорю с моей далекой мамочкой, я забыл, что нахожусь на подмостках, что наши лица покрыты гримом, что кругом дешевые, лагерные декорации.

Так же реагировала аудитория. Когда упал занавес, нас рукоплесканиями вызывали на авансцену, и мы видели слезы на глазах, казалось бы, окаменевших под ударами судьбы людей.

Самые заядлые грубияны, бандиты, чекисты вспоминали, вероятно, свою жизнь, своих матерей. Мне потом рассказывали друзья, что наш знаменитый «опер» так же аплодировал и утирал глаза, как и Васька — оторви — ухо, жуткий прохвост и убийца.

Я часто задумывался, можно ли вернуть русский народ к

нормальной жизни, к подчинению человеческим и божеским законам, или он погряз в той тине, которую развел коммунизм. Там, в Марраспреде, в лагерном театре, я убедился, что все, что происходит — наносное, что жив народ, и что даже у Васьки — оторви — ухо может быть семья, могут быть дети, которых он постарается воспитать, как следует. Нужно только ко всем этим людям подойти гуманно, с запасом большого терпения, без осуждения и лозы. В каждом из них под толстым слоем пепла теплилась хоть одна искра, зажженная Богом при их рождении. И не их нужно винить за ту нищету, в которой они живут, а попустителей, охраняющих только свое благополучие, считающих, что нет лучшего объекта, чем русский народ, для роли козла отпущения.

Немногим выданным удалось, как я уже писал, после мучительного сидения в тюрьмах, этапа и всех с ним связанных зверств, подняться, так оказать, «пер аспера ад астра». Они обычно сначала попадали в самые тяжелые условия и потом, с годами, как-то пристраивались, если их на первых же шагах не убила атмосфера, как она убила, заела моего отца.

Если бы «Ник-Ник старший», как его, вспоминая, называла старушка Жуковская, попал со мной в Марраспред, если бы его не отделили от меня в Красной Пресни — возможно, он жил бы и сегодня. Все мои усилия установить связь с папой, найти хотя бы его след, оставались безрезультатными до того дня, когда мне сообщили о его смерти 13 октября 1947 года. А в это время я тянул свою лямку рабочего в течение 10 часов в день и потом переселялся туда, где мне, кажется, не был страшен ни Сталин, ни Меркулов, ибо в мире Островского, Чехова и пр. им не было места.

Я не могу утверждать, что типы из «Грозы» или «Бесприданницы» были близки и понятны блатной Машке — дырявый нос, или Косте — рецидивисту, но они тянулись к этим новым знакомым, переживали с ними вместе их судьбу, плакали, смеялись и. хоть на час после этого добрели, пока их не захлестывала среда.

В общем, не так уж долго длилось мое счастье. Весной 1946 года меня перевели сначала в Мар-отделение, как художника, но там мне не удалось задержаться, хоть я и рисую очень прилично, и часто поддерживал свое бренное тело заработками при содействии кисти или карандаша. Очевидно, я просто не пришелся ко двору занозистого опера и покатился дальше. До 1949 года я поработал и строителем, и землепашцем, и рабочим у сверлильного станка, и трактористом, переменив много лагерей при Сиблаге. Мне изредка удавалось попадать, при оказии, за

инструментами или для врачебного осмотра в мой ставший мне близким Марраспред, но это были короткие и грустные встречи.

Проездом я увидел и самый Мариинск, маленький сибирский городок, когда-то, во времена Екатерины Великой, бывший пересыльным пунктом, известным своей большой тюрьмой. Тюрьма и до сих пор стоит целехонька. Другие в то время были постройки. Вокруг нее — деревянные маленькие, покривившиеся домики, в которых живут «вольные». Клуб чинов МВД является «архитектурным украшением»: большой, современного стиля. Больница, тоже из новых построек, и несколько заводов, в которых работают и заключенные и вольные. В городке Мариинске находится центр Управления Сибирских лагерей Кемеровской области. Сюда приходили все приказы из Москвы. Отсюда управляли нашей жизнью.

У читающих мои воспоминания, может быть, создалось мнение, что Сиблаг, вообще, был раем для заключенных. Фактически это не так. Я описал только лучшую сторону этого «рая». Его теневая сторона была такой же мрачной и страшной, как и в других местах поселения рабов. Не везде удавалось создавать возможность отдушин, и, конечно, отрицательного элемента было много больше, чем положительного.

Мне приходилось попадать в самые невероятные переплеты. Для того, чтобы их все описать, нужно издать отдельную книгу. Один, особо разительный, считаю нужным рассказать.

МВД и тут фаворизировало хулиганов, воров, проституток. МВД не допускало какой-либо селекции, и Марраспред не был исключением. В бараках одним воздухом дышали профессора университетов, специалисты — хирурги с мировым именем, чьи труды украшали все университетские и больничные библиотеки, офицеры японской или немецкой армии, карманщики из Ростова, хулиганы из Ленинграда, добровольно в 1931–1940 годах приехавшие иностранные коммунисты, почти все, в заключение, попавшие в концлагеря (другие были расстреляны), священники тайной церкви, сектанты-изуверы, абсолютные атеисты и проповедники новых религий.

В женских бараках на одних нарах спали убийца из Красноярска, жена наркома из Москвы, возвращенка из Парижа и балерина Одесской оперы.

Среди двух до четырех тысяч людей, в среднем, вечно назревала и часто доходила до апогея классовая вражда.

Главными, как и везде, считали себя блатные. И мужчины, и женщины. У них свой закон. Они не работают в СССР ни на воле, ни в тюрьме, ни в лагерях. Среди них царит разврат, гомосексуализм, пьянство и картежничанье. Каждый блатной

выбирает себе блатную же подругу. За ее ласки он ей платит защитой.

Блатные презирают режим, ненавидят своей особой ненавистью коммунизм. Они в лицо называют чинов МВД грязными чекистами и собаками, кроют их матом и терроризируют. Они терроризируют надзирателей, шантажируя их, ибо там действительно рука руку моет, и надзор состав обирает заключенных и спекулирует на них, опираясь на помощь блатных. Блатные в ответ требуют контруслуг, которые приходится оказывать.

День у блатного проходит в валянии на нарах в объятиях блатной подруги и игре в карты, когда они, не имея других ресурсов, проигрывают не только имущество «работяг», но часто и их жизни.

— Что ставишь на карту? Партнер чешет затылок. Карман пуст.

— А вот, если проиграю, подколю того бородатого, что в углу спит и каждый вечер молитвы шепчет.

— Врешь!

— Не вру!

— Ну, давай!

Карта бита, и урка, без зазрения совести, «подкалывает» совершенно неизвестного ему старика. Дело всплывает наружу, и ему пришивают обратно «заплату», т. е. уже отсиженный им срок для пополнения «катушки». Просто!

При блатных состоят и их ученики, мелкие мерзавцы, «шестерки», чешущие им спины и пятки удовлетворяющие их извращенные половые наклонности, млеющие при одном их ласковом слове и стелющиеся по грязному полу в моменты гнева их царьков.

В противовес этому блатному элементу, существуют их неприятели, тоже преступники, уголовники, которые пошли на службу МВД. Их общепринятое имя — «суки». Они являются как бы лагерным балансом, отвечающим за безделье своих полубратьев, но их ненавидят все, и блатные, и работяги.

Из этих податливых типов вырабатываются нарядчики (подрядчики по-русски), бригадиры, надзиратели и даже коменданты, поскольку они умеют писать и читать. Разлюбезным положением является быть лагерным вахтером, который палкой, дубинкой, молотком выгоняет людей на работу. Физически «суки» не работают и заставляют работать других. Ни один чекист не выполняет своей роли так тщательно и с такими изощрениями в выискивании методов, как «суки». Все, чем брезгует даже эмвэдист, всегда готов исполнять сука. Нужно убить — убьют.

Украсть для начальства — украдут, да и себе припасут. Один, мол, расчет. Между ними и блатными — вечная вражда не на жизнь, а на смерть. В лагерях всегда существуют работяги, тянущие честно лямку за всех. Не по тому, что они хотят выслужиться, даже не потому, что для них одних существует закон «кто не работает — тот не ест», а просто потому, что их честность заставляет их работать. Работяги остаются в стороне от этой жуткой вражды. Им некогда. Они устают до смерти. Они голодны и нуждаются в отдыхе.

В лагерях существуют и придурки, работающие на чистой, интеллигентной работе. Они дружат с работягами и всегда стараются им помочь. Таким образом, и позитивная часть ИТЛ имеет две группы, в противовес первым — дружные.

Если в лагере сильнее группа сук — воры молчат «в тряпочку». Выжидают. Если блатные в большинстве — суки гибнут. МВД, устав от выбрыков и одних, и других, часто путаясь в сети их шантажа, нарочно разжигает эту вражду. Насколько больше чекисты запутываются в сетях сделок с уголовниками, настолько больше они подливают в огонь масла.

В начале 1947 года начальство Сиблага решило отделаться от известной группы сук и выхлопотало разрешение послать их дальним этапом на Колыму. Для сук это было равносильно смерти. Этим же этапом слали несколько блатных. Этап соединялся с транзитным, которым отправлялся преступный мир из других лагерей, и суки знали, что, как только они окажутся в вагоне с ворами, их всех передушат и перережут.

Суки наотрез отказались ехать. Пользуясь еще недавним привилегированным положением, они захватили в свои руки баню Марраспреда, забаррикадировались, набрав горы кирпичей, кухонных ножей, ломов и других смертоносных предметов. Пятьдесят человек сук — группа достаточно большая.

Собрав военный совет, чекисты, злые, как осы, что проморгали действия своих вчерашних покорных слуг, решили действовать своими средствами. Весь надзор-состав окружает баню и предлагает сдаться без боя. В случае отказа, грозит открыть стрельбу из автоматов и винтовок.

— Врешь! Стрелять не смеешь! Это против закона! — кричат суки.

Они правы. Стрелять в зоне запрещено. За один выстрел весь чекистский состав может попасть на наше положение.

Предложили прислать парламентера, но осажденные отказались. Тогда у чекистов остался один, но блестящий выход: натравить блатных на сук.

По баракам, в которых на мягких матрасах, в окружении

одалисок и чуть ли не под опахалами, скучали уголовники, разошлись надзиратели.

— Хотите повеселиться? Вот вам ножи, ломы и топоры! — предложили они. — Нужно сук немного почистить.

— А кто отвечать будет? — оживившись, спросили урки.

— Никто. Так сойдет. Судить не будут!

Чекисты отлично знали, что на 50 сук набросится пара сотен озверелых, давно жаждущих крови волков.

Я был свидетелем этого страшного боя. Вероятно, в престарые времена могли происходить такие битвы между враждебными племенами железного века. В атаку пошли не только мужчины, но и женщины. Налитые кровью глаза. Пена в углах рта, разинутого в экстазе. В руках сжаты длинные, острые ломы, топоры и ножи, привязанные крепко проволокой к длинным палкам, как пики. Особенно омерзительны были блатные подруги. Ими овладело какое-то безумие, массовая истерия.

В момент на здании бани не остается ни одного целого окна. Суки отстреливаются метко бросаемыми кирпичами, но им не устоять. Их головы разбиваются страшными ударами, как яичные скорлупки, брызжет мозг, фонтаном льется кровь из горла, перерезанного, как у цыпленка.

Бараки работяг охранялись чекистами, которые боялись, как бы и эти смирные овечки не озверели и не пошли мстить и одной и другой воюющей стороне за все обиды, кражи и увечья.

Бой продолжался недолго. На поле его осталось свыше сорока человек. Тридцать — одних сук. Остальные выскочили и бежали под защиту флага МВД, т. е. прямо в руки надзор-состава, который на следующий же день упрятал их в эшелон и послал на смерть. Из вагонов не вышел ни один. Всех на следующей остановке вынесли ногами вперед. Чекисты потирали руки. Слова у них нет. Не прошло и месяца, как пришел приказ из Центрального Управления Сиблага: всех воров, принимавших участие в сражении, срочно отправить в другой лагерь, где суки были в перевесе. Результат ясен. О нашей бойне пошла молва по всему краю.

Правда, этот случай, «раздели и властвуй», не сошел с рук чекистам. Месяцев через шесть из Москвы пришло приказание провести дознание и установить причины бойни и поставить под следствие нач-лага и опер-упа. Их сменили, и дальнейшее нам, мужикам, было неизвестно.

Подобные драки случались и случаются каждый день, только в разных лагерях. Это «чистка крови». Это ассенизация, дезинфекция, ничего общего с восстаниями не имеющая.

Восстания поднимаются только работягами. К ним могут присоединиться и уголовники, но никакой роли в организации и проведении восстаний они никогда не играли. Восстания — это стихия. Это революция в малом масштабе, но настоящая, народная революция, и подавляется она всегда с большим количеством жертв с обеих сторон.

Маленькие восстания в малолюдных лагерях обычно не проникали ни в печать, ни в радиопередачи. О них свободный мир ничего не знает, но мы узнавали по беспроволочному лагер-телеграфу, т. е. через этапы. Гибли люди за свои права, из протеста против насилия, против власти, которая, сидя в Москве, и в ус не дула. Эти маленькие восстания подавляли пулеметами, ручными гранатами и очередями из автоматов. Но большие, о которых, я надеюсь, услышал и узнал равнодушный свободный мир, эхом разнеслись по всему СССР и привели ко многим облегчениям и улучшениям.

Вспомним вспыхнувшее на Колыме восстание в 1949 году! Бунт на Воркуте! В 1953 году восстание «58 статьи» в Инте! 1 августа 1953 года является лагерным днем траура, в память героев, сложивших свои головы на Инте. В память не только павших в боях с МВД, но и тех, кто был расстрелян после усмирения.

Вспомним восстание в Казахстане, в лагере Джаскасган в 1954 году, уже после смерти царя царей, всевеликого вождя Сталина. Возможно, что оно сыграло большую роль в ускорении поворота политики коммунистов по отношению к своим рабам, смягчении режима и переключении на другие, более гладкие рельсы, хотя это восстание было подавлено с применением танков и аэропланов, стрелявших с бреющего полета в почти голорукую массу заключенных. Коммунисты чесали свои затылки, ибо они отлично знали, что бунтовавшая «58» являлась самым конструктивным элементом, и что дальнейшая стройка возможна только при смягчении лагерных порядков.

Всячески нас допекали чекисты. Обкрадывали, как хотели. Урезали паек, руководясь всевозможными причинами: то порчей продуктов, то опаздыванием транспорта (дополнительно никогда не выдавалось), то в виде наказания.

Многое мы терпели, но, когда нас «посадили на диету» без соли — лагерь взвыл.

Все делалось периодически. То нас кормили пересоленной хамсой и селедками, то они совершенно исчезали из нашего пайка, и пошла сплошная безвкусица. На наши просьбы и протесты начальство отвечало цинически: А вы поплачьте! Солонее будет. И вдруг пришло сообщение, что в наш лагерь вот-

вот прибудет «комиссия из Москвы». Разыгрался очередной акт из «Ревизора». Лагерь скребли и мыли до десятого пота. Весь лагперсонал стал невероятно любезен и податлив, но соль все же не появилась.

Председателем «комиссии» был какой-то полковник МВД. Осмотрев все и, по-видимому, оставшись доволен, он все же обратился к заключенным, собранным на дворе, и спросил, есть ли жалобы, как кормят, и каково отношение.

— Говорите свободно. Не бойтесь. Я к вам приехал специально из Управления лагерей в Москве.

На режим жаловаться было бесполезно. Отношение? Даже если тебя и били, то пойди, докажи! Но вопрос соли интересовал нас, пожалуй, больше всего. Баланда без соли была настолько противной, что люди просто отказывались ее есть, удовлетворяя свой голод одним хлебом, в котором она тоже почти отсутствовала.

Я выступил вперед и сказал полковнику, что люди совсем ослабели, ничего не едят, и что, если можно себя заставить с голоду съесть почти пресный хлеб, то остальная пища вызывает только тошноту. Не успел я договорить, как вся толпа загомонила, зашумела, присоединилась.

— Есть невозможно, начальник! Доходим! Сил нет! Прикажи соль дать!

За спиной «ревизора из Москвы» наш начальник показал увесистый кулак. Полковник прямо пошел на кухню. Попробовал пищу и приказал составить акт на начальника, найдя жалобы заключенных совершенно оправданными. Отдал приказ: найти соль! Через полчаса из города пришла грузовая машина и привезла два мешка соли. Была ли она привезена из склада или вытянута из-под кровати жены какого-нибудь чекиста, собиравшейся на этой соли спекульнуть — не знаю, но с того дня недостатка в ней больше не было.

Комиссия уехала. Пошел ли акт против начальника в ход — неизвестно. И через год он все еще был на своей месте, а я на следующий же день «по блату» получил пять дней «ИЗО», т. е. карцера, с назиданием: за грубый разговор с начальством из Москвы. Если бы не опер — этот сумасшедший набросился бы с кулаками на полковника, и кто знает, чем бы это закончилось!

Протестовать было бесполезно. На пище святого Антония я отсидел свой срок и вернулся на работу. Это была месть опера за ту неприятность, которую я ему причинил. В общем, все это были лишь брызги жизни, о которых сегодня вспоминаю без особенной боли. Многие за тот же период, который отсидел я видали не такие расправы и проходили не через такие только мучения.

МГБ спец-лагеря для фашистов

Жизнь в ИТЛ протекала спазматически. Все зависело от настроения в Москве, от «генеральной линии партии», от личности, стоявшей во главе МГБ и МВД, от событий во внешнем мире. Гайка то прикручивалась, то отпускалась.

В 1949 году, в связи с международными событиями, блокадой Берлина, крайним напряжением в отношениях между СССР и свободным западным миром, Кремль должен был считаться с возможностью вооруженного столкновения. Он, очевидно, в то время переоценивал пружинистость позвоночника своих бывших союзников и не ожидал от них такой сговорчивости, близорукости и податливости на все удочки. МГБ не смело рисковать возможностью внутренних беспорядков в лагерях МВД, считаясь с настроением 10 процентов своего заключенного населения, в особенности же с настроением «контриков», поэтому срочно приступило к реорганизации всей системы, разбив лагеря на специальные и бытовые.

Весть об этой реорганизации облетела все лагеря с быстротой молнии. Еще не пришел ни один конкретный приказ из Москвы, а заключенные уже знали, что вскоре их разделят по двум основным признакам: на «58» и бытовиков. Нигде в Советском Союзе не существует такой изумительной информативной службы, как в лагерях.

Вольные, по горло утонувшие в борьбе за существование, питаются рассчитанными, взвешенными и перевешенными сведениями, даваемыми правительством через прессу и радио. Они обычно очень поздно узнают о «чистках», восстаниях, брожениях и т. д. Лагеря информируются почти что немедленно.

Первые сведения поступают в тюрьмы вместе с арестованными. Из какой-нибудь бани, с ее стен, они расползаются и плывут вместе с этапами по всему 20-миллионному «государству в государстве», т. е. лагерному миру. От лагеря до лагеря. От колонны до колонны. Из бригады в бригаду. О всех тревожных событиях в СССР мы узнавали очень скоро и почти всегда от очевидцев.

Весть о разделении овец и козлищ вскоре оказалась точной. Контриков стали срочно переводить в спец-лагеря с новыми, даже по советским понятиям, ультрастрогими методами содержания заключенных. В бытовых лагерях сохранялись прежние, годами установившиеся порядки.

Со всех лагерей потянулись этапы, набитые до отказа доходящими людьми. Тянулись они и выгружали «фитильков» в

семи основных спец-лагерях: Колыма (город Магадан), Норильск (дальний север), Тайшет (Иркутская область), Камыш-лаг (Кемеровская область и город Омск), Пешлаг (Карагандинская область), Инга (север центральной России), Воркута (крайний север Коми АССР).

По тогдашним вычислениям, только в районе Тайшета, на трассе, проводимой заключенными Озерлага, находилось около миллиона рабов. Я не могу ручаться за точность сведений, но лагерники считали, что в спец-лагеря попало около 10 миллионов человек «по 58». Одновременно были учреждены и спец-тюрьмы для «фашистов», одна в городе Владимирове под Москвой и Александровский Централ под Иркутском.

Десять миллионов людей потеряло свою личность. Исчезли Красновы, Беловы, Сидоровы, Шульцы, Рэйлисы и т. д. Родились номера, А-360, Д-840, АК-987 и тому подобные.

По всему пространству, заселенному заключенными, поползли самые мрачные слухи. Говорилось, что эта селекция производилась на случай нужды в срочной и массовой ликвидации «фашистов», «контриков», «классово враждебного элемента». Не даром же их засылали в самые глухие, менее всего населенные районы. Недаром у вольнонаемных брали расписку в том, что они нигде не будут распространяться о том, что они видели, что они слышали, что знают, в том, что они ни в какие сношения и разговоры с заключенными вступать не будут. Под угрозой ареста и той же знаменитой «58», как дамоклов меч, нависшей над головой каждого гражданина СССР.

К спец-лагерям приставлялись и спец-части МВД, с открытыми полномочиями на расстрелы, убийства, «особые меры» взысканий и т. п. Поговаривали и о возможности ликвидации заключенных путем взрыва атомной бомбы. Слухов было много, и они носили крайне подавляющий характер. Конечно, переселение 10 миллионов людей, даже в ударном порядке, заняло много времени. Моя очередь пришла в январе 1951 года. Пришел черед Сиблага, и всех нас, рабов Божиих по 58, забрали, сконцентрировали в Марраспреде и стали группами отправлять в дальний этап.

Началась самая страшная страница в существовании лагерника. В спецвагонах, с применением «строгих наручников», голодные, сжатые в «купе» с минимумом воздуха, без воды, без вывода на «оправку», под охраной пулеметов, озверелых бандитов-конвоиров, в сопровождении бестий, в свободном мире называемых собаками, двинулись мы вглубь Сибири, в Тайшет.

В купе вагона для этапной пересылки, рассчитанного на шесть человек, всаживали по 20–24 несчастных раба. Ни

повернуться, ни сесть. Сжатые до степени удушья люди, одетые в толстые ватные бушлаты и ватные штаны, теряли сознание от жары, несмотря на то, что снаружи трещал мороз. Многие не выдерживали и проделывали все отправления, пачкая свою одежду. Атмосфера делалась настолько густой, что люди желали себе смерти. При воспоминаниях об этапах, я и сегодня чувствую приступ рвоты, приступ дикого, ни с чем не сравнимого страха.

Мою группу, в которую попал и немчик Франц Беккер, немного отошедший, попривыкший на сельскохозяйственных работах, пригнали на работы по трассированию пути вдоль новой железной дороги Тайшет — Братск, параллельной главному Транссибирскому пути. Строилась новая, в военном отношении крайне важная коммуникация. Транссибирский путь мы должны были (что и было сделано до 1955 года) связать с дорогой, идущей от Комсомольска-на-Амуре до Владивостока. До тех пор СССР имел только одну магистраль через Сибирь, по которой шел весь транспорт до Охотского моря. Сегодня советы «заимели» уже три линии: одну через Тайшет на Комсомольск, вторую через Барнаул, так называемую Юг-Трансиб, и третью, Алма-Ата — Пекин, соединяющую СССР с Китаем.

Советские мудрецы этим хорошо продуманным шагом убили сразу двух зайцев. Они поставили под контроль всех контрреволюционеров, окружив их спец-частями МВД, командный состав которых состоял из «провинившихся», лезших из кожи вон, чтобы реабилитировать себя в глазах начальства. Москва, наказывая проштрафовавшихся, одновременно вытягивала из них максимум пользы.

Контрики, в большинстве своем, являлись непримиримыми врагами советского режима, и в то же время они были единственным конструктивным элементом, который правительство должно было использовать. Без подхалимства, без выслуживания, просто из основной и прирожденной порядочности, они делали основательно свою работу, несмотря на все, почти непреодолимые трудности. Труд их ничего не стоил. Платилось ударом приклада в спину или пулей в затылок.

Конечно, правительство считалось с возможностью каких-нибудь бунтов, но, я думаю, не предполагало, что эти бунты могут принять размеры, равные хотя бы восстанию на Воркуте или Инте, Считалось, что лагерный режим, голод, непосильный труд и холод уничтожат тех, чьими руками СССР строил свою мощь. Недаром же заключенным говорили чекисты: «не труд ваш нам важен, а ваши муки».

Муки должны были держать десятимиллионно-головую массу в подчинении. Игра стоила свеч. Игра довольно рискованная,

если бы свободный мир рискнул воспользоваться шансом, который ему буквально вкладывался в руки. В те годы достаточно было небольшого сравнительно воздушного десанта, чтобы восстала вся масса заключенных. Спец-лагеря были, главным образом, сконцентрированы в Сибири. Если бы поднялся Тайшет, отрезана была бы сибирская магистраль, если бы поднялась Колыма — открыт был бы путь десанту в Магадане. Воркута открывала путь на Ленинград. Омск? Опять была бы перерезана одна из важнейших артерий.

Берия, являвшийся, как говорили, творцом плана использования «58» в спец-лагерях, и Сталин, санкционировавший этот приказ, очевидно, прекрасно знали настроение Запада, его политику «миролюбия», его вечный страх возрождения настоящей России, и потому они знали, что играют в беспроигрышную лотерею. СССР отстраивал свое могущество руками рабов, а мир сосуществовал или, вернее сказать, соучаствовал в этом преступлении.

Спец-лагеря просуществовали с 1949 по 1954 годы, сыграв свою роль. К их ликвидации приступили только после ликвидации Берии, но быт в них потерял свою остроту сразу же после смерти Сталина, вернее, сразу же после первых организованных восстаний, когда правительство увидело, что доведенный до границы терпения, издыхающий от голода волк все же имеет острые зубы.

Конечно, и ликвидация спец-лагерей и известные облегчения и уступки в виде введения зарплаты в лагерях — все это было только полумерами и считать теперешнее положение сносным, терпимым, человечески понятным нельзя. Оно кажется таковым только тем, кто прошел через всю мясорубку и был счастлив каждой мелочью, на которую было вынуждено МВД.

Все то, что произошло и происходит теперь в системе ИТЛ, можно подвести под одно понятие — утверждение тыла СССР. Утверждение тыла на случай войны, которую не народ, а правительство считает неизбежной.

Почти у каждого из 20 миллионов политкаторжан и бытовиков есть родственники, составляющие громадный, перевешивающий процент населения. Сглаживание его настроения дает возможность верить в консолидирование внутреннего настроения и перевес чувства патриотизма над нелюбовью к правительству, в случае агрессии извне. Россия, ее народ до сих пор не могут простить немцам их обмана и жестокости. Россия и ее народ не верят западному миру, запомнив раз навсегда, что западники — не донцы, запад не Дон, и что никогда вырвавшимся из ярма СССР людям не скажут: «С

Дона не выдают!»

Таково настроение в СССР. Таково настроение в ИТЛ, в этом «государстве в государстве».

Недавно вернувшись оттуда — ведь прошло мало времени, я уже не могу говорить, что «я все знаю», «я во всем прекрасно разбираюсь». Внутренняя жизнь СССР меняется, как хамелеон. Как я уже сказал, гайки то откручиваются, то подтягиваются, и с каждым годом жизнь меняет свой вид, но одно я осмеливаюсь утверждать — это стремительные и неукоснительные подготовки коммунистов к «последнему и решительному бою».

Правительство СССР, в известных направлениях эволюционируя, идя как бы навстречу народу, все же преследует свои цели и в «сосуществование» не верит. Кто первый прыгнет, тот и будет победителем, считают в Кремле, а прыгать нужно, считаясь с настроением народа. Отсюда и временное попустительство.

Трасса Тайшет — Братск тянется через бесконечную тайгу на протяжении 270–300 километров. Население малочисленное, поселки редки. Народ суровый. Потомки бывших каторжан дореволюционного периода. К ним теперь присоединились новые поселенцы, т. н. советские спецпереселенцы. Тут можно встретить людей из Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, Западной Украины и граждан ново приобретенных стран-сателлитов, до Восточной Германии включительно. Это — «недорезанные», т. е. те, кому не пришили статью, а просто забрали (по примеру немцев, создавших «остов») людей, вырвали их с корнем из родной почвы и запрятали подальше. По тайге, на протяжении всей трассы, разбросаны колонны, лагерные пункты, с численностью заключенных, редко превышающей 300–400 человек. Пункты обычно находятся в 2-15 км от железной дороги. Через тайгу проводится только одна дорога, связывающая колонну с железнодорожным путем. Кругом же, как в своеобразных ледяных джунглях. Собьешься — потеряешься и погибнешь.

По мере продвижения работ, колонны перегоняются с места на место. Заключенных шлют в дичь. Спят они в ими же выкопанных землянках, пока поднимается лагерь. Вырубается лес, вытягиваются корни, все вручную, примитивным способом. Редко на грузовиках, так как сама дорога только прокладывается, а почти всегда вьючным способом, с применением человеческой силы, тянется строительный материал. Строятся бараки для конвоя МВД, кухня, баня, наконец, бараки для заключенных и дома для вольных.

Лагеря окружали высоким, трехметровым забором. По обе стороны забора, шириной в четыре метра каждая, вокруг всего

лагеря тянулась так называемая «огневая зона», вспаханная, пробороненная летом, без травы. К этим полосам нельзя было подойти на пять метров. По углам и в центре забора — вышки для часовых, которые имели право без предупреждения открывать огонь в заключенных, «пытавшихся» нарушить эти правила.

За лагерем, со всех его четырех сторон, на расстоянии метров пятидесяти от забора — пулеметные гнезда для охраны, особо необходимые в случае бунта заключенных. Ночью вдоль специально протянутой проволоки на цепях бегали собаки — ищейки, прошедшие специальную тренировку «на кровожадность». Лагерь всю ночь освещается сильными прожекторами, к которым идет специальная проводка. Если бы заключенные в бараках злонамеренно произвели короткое замыкание — прожекторы никогда не погаснут.

Внутренняя часть лагеря называется «зоной». Бывают жилые и рабочие зоны. В каждом лагере устанавливается своя электростанция, обычно паровой котел, реже — дизель. В более крупных лагерях бывают запасные станции на случай порчи. В маленьких зажигаются костры вдоль забора, и ставятся часовые на каждые 5–6 метров.

В то время бараки запирались на ночь. Заключенных выводили перед помещением, считали, впуская по одному в барак, и запирали сначала на ключ, затем накладывали тяжелую металлическую перекладину и вешали замок.

На ночь в барак вкатывалась обычная бочка для совершения нужды. Она издавала совершенно одуряющий запах, вызывающий с непривычки конвульсии в желудке. Окна в бараках были заделаны тяжелыми решетками. Свет не тушился. Койки были двухэтажные, по особому патенту сделанные, без единого гвоздя. Над изголовьем прикреплялась дощечка с номером, под которым заключенный внесен в списки лагеря.

Если арестованный до суда был предметом особой заботы, чтобы он не ушел из жизни по своей воле, если после осуждения он терял свою особую важность и в лагерях, вроде Сиблага, был серой вшой, будь он советский генерал, белогвардеец из эмигрантов, немецкий денщик или бывший высокий партиец — тут, в спец-лагерях, он терял свое имя, становясь номером, но одновременно подвергался новым моральным и физическим пыткам. Ему опять припоминались его прежние грехи.

Днем, работая в мороз, под ледяным ветром, под дождем, по колено и выше в грязи, или летом, в облаках жалящей мошкары, заключенный «№ такой-то» мог рассчитывать, что ночью в барак ворвется надзиратель с парой солдат — конвоиров и отведут его к оперуполномоченному «на разговор».

Пьяный, обозленный сам на себя, на тех, кто его загнал в тартарары, обычно мало интеллигентный «опер» срывал свою злобу на «контриках».

— Сдохни! — вопил он в часы такого «разговора». — Сдохни, гад! Из-за тебя и тебе подобных приходится мне сидеть в этой медвежьей дыре! Скорее передохнете, скорее мы освободимся! Мне не труд ваш нужен, а труп!

Вызывали несчастных на ночную беседу часто. Опер днем отдыхал, в то время, когда конвоиры охраняли рабочие бригады, и ему было в высшей степени наплевать, что просидевшая у него жертва, обессиленная голодом, холодом и трудом, прямо с допроса пойдет на работу.

Каждому «номеру» полагалась тумбочка для имущества. Там могло лежать мыло, если были — порошок и щетка для зубов, нитки и одна иголка. Если находили гвоздь, сажали в ледяной «изо», карцер-изолятор. Табак — в карцер. Спички — в карцер. Табаку разрешалось иметь только порцию на день. Остальной, вместе со сменой белья — в каптерке. Там же лежали домашние вещи, у кого они чудом сохранились.

Человеку отпускалось одно одеяло, соломенный матрас, плоская, как блин, подушка и одно полотенце. Обмундирование состояло летом из рубахи, кальсон, брюк, куртки, пары ботинок и головного убора. Зимой — валенки вместо ботинок, и прибавлялся бушлат и ватные брюки.

В спец-лагерях раба украшали номера. На верхней одежде были пришиты тряпки с крупно написанным личным номером. На груди. На спине. На правой ноге выше колена и спереди на шапке. Выглядели мы, как письма, облепленные марками.

Зимняя одежда выдавалась не раньше 15 ноября, а морозы стягивали землю и спирали дух уже с конца сентября. Летняя — только в мае, а уже с апреля в тех краях мы задыхались в ватной одежде от жары. Снимать куртки с номерами или оставлять штаны, щеголяя в подштанниках, строжайше воспрещалось и пахло тяжелым наказанием.

Многие были осуждены без права переписки. Нас, заграничных, это не касалось, потому что мы механически были отрезаны от близких, но и те, кто смел писать — мог отправить всего два письма в год. Советские граждане могли так же часто получать посылки. Их подвергали самому тщательному осмотру, и из них вынималось все, что находили предосудительным надзиратели. Все газеты вынимались. Писчей бумаги оставляли только два листа и два конверта.

В СССР махорку курят лишь в газетных бумагах. Получившим в посылке махорку выдавали газеты, которые были свежими год

тому назад и не содержали никаких, даже правительственных новостей. Если какой-нибудь заключенный скручивал козью ножку из куска газеты, на котором находился портрет Сталина, и его на этом страшном преступлении ловил надзор-состав или конвоиры — он получал отсидку в «изо» и не короткую, а в то время трудно было найти газету, в которой на каждой странице не было бы по несколько раз «великого».

В жилой зоне лагеря не терпелась никакая зелень. Ни деревца, ни травки. С весны и все лето тщательно за этим следилось, и все выпалывалось с корнем. Нам всем казалось это символичным. Так выпалывалась самая жизнь. Так выпалывались в СССР все ростки стремления к свободе.

Мы, прибывшие в 1951 году, были в немного лучшем положении. Мы пришли на пополнение колонн. Лагеря уже были построены, и «старожилы» перебрасывались вперед по трассе для новых постов, как более опытные, умелые и жилистые, т. е. выдержавшие все передряги.

Конечно, нечего было и думать о каких-либо «клубах» для заключенных, о музыке, лагерном радио и даже о газетах для чтения. К этому присоединилась и атмосфера Лефортовской тюрьмы. Запрещалось громко говорить, в бараках нельзя было петь. Мне кажется, что в то время пение никому уже не шло на ум.

Нормы пайка были сведены на минимум. Купить негде, да и денег ни у кого не было. Работали мы 10 часов в сутки. Если кому-либо из надзор-персонала приходило в голову назвать какую-нибудь работу срочной, работали и в темноте, при свете фонарей.

Работали до потери сознания. Вспоминаю несколько таких периодов, когда мы работали по 20 часов в сутки, падали мертвыми на два часа сна, поднимались и опять шли на работу.

По какому-то садистическому принципу, несмотря на то, что лес был тут, под самым лагерем, на лесоповал нас гоняли километров за пять, а то и больше. Уставали по дороге. Уставали на работе. Уставали те вьючные лямочные вроде меня, которые впряжкой в восемь человек тянули лес к железнодорожному пути или на место штабелевания.

Побудка была очень ранней. На скоростях бежали в кухню, получали горячую воду и баланду Все с жадностью выпивалось. Еще темно, а нас уже выстраивали перед воротами и обыскивали. После «шмона» поднимался шлагбаум, и шествие, по пять в ряд, выходило за ворота. Там работяг ожидало два пулемета, большой конвой и множество собак.

Ожидание перед выходом за шлагбаум, ожидание, пока

конвой будет готов нас принять, пока начальник конвоя не прочтет нам «ектению» о «шагах влево, шагах вправо», которые будут считаться «попыткой к бегству», занимало иной раз час времени. Летом это принимали без особой злобы, но, когда нам приходилось трястись на морозе в 35–45 градусов, на ледяном ветру, в рваной одежде — это приводило нас в отчаяние. Я видел взрослых людей, пожилых, которые от бессильной злобы и обиды плакали крупными слезами.

За воротами церемония продолжалась. Давалась команда — садись! Садились в снег, садились в лужи. Начальник конвоя начинал вызывать по картотеке. Эта процедура отнимала еще больше времени. Нач-кон вынимал из коробки картонки, на которых были налеплены фотографии арестантов «ан фас», вписано имя, фамилия, личный номер, год рождения, место, статья, срок и конец срока.

Каждый опрашиваемый, вызываемый только по номеру, должен был отрапортовать все свои данные, для того, чтобы убедить нач-кона, что именно он, Петр Иванов, № А-300 вышел на работу, а не «х» или «у».

После опроса производится снова счет работяг, и тогда двигаются в путь. По прибытии на место лесоповала или земляных работ, опять «садись» по пять в ряд, опять счет. Конвой занимает сторожевые места, и тогда только приступают к работе.

Рабочее место тоже имеет свои границы и свою зону огня. Обычно это прямоугольник (его облик зависит от конфигурации земли), километра полтора шириной и километра два, два с половиной длины. Все высчитано: и сколько человек на нем работает, и каков должен быть срок эксплуатации. По границе зоны располагаются конвоиры. Их места точно предусмотрены. Каждый должен иметь максимум обозреваемости. Он должен видеть работяг. Он должен видеть своих соседей-конвоиров. Пулеметы ставятся в самых «рискованных» местах. Собаки распределяются тоже в той местности, которая может по своему облику служить известным прикрытием для заключенных.

Заключенные находятся не только под наблюдением конвоя МВД. С ними выходят бригадиры и нач-кол. Несмотря на то, что побег буквально неосуществим — отчаявшиеся люди бежали. Бежали для того, чтобы погибнуть и прекратить свои муки. Сколько раз я доходил до такого состояния. Только мысль о близких заставляла меня взять себя в руки. Я все еще ничего не знал о маме и жене и мог предположить, что они тоже мучаются где-нибудь, в одном из женских лагерей.

Если заключенным удавалось проскользнуть мимо собак и конвоя, их все равно в тайге ждала верная смерть. Или их

настигала погоня, или они, заблудившись, без еды, по леденящему холоду или в невыносимую жару, когда над человеком вилось целое облако немилосердно жалящей и всюду проникающей мошкары, «доходили» сами.

Часто устраивали поверку во время работы. Обычно в зоне работы к какому-нибудь дереву привязывалась рельса. Удары в этот гонг означали, что рабы должны срочно построиться для счета. Если кто-либо замешкался и не добежал к месту построения — его жестоко избивали конвоиры.

Если в жилой зоне над нами издевались надзиратели, нарядчики, бригадиры, то на работе нашу последнюю кровь пил конвой. В обязанности оберегающих нас чекистских гадов — я не могу их иначе назвать, входило не только стеречь заключенных, но и следить за тем, чтобы они непрерывно работали. С каким наслаждением я вспоминал мои годы пребывания в Сиблаге, где мы работали много, тяжело, но не под ударами прикладов и палок, где мы голодали, но не пухли, не падали, как падает скот.

Чекистские гады прошли спецшколы, в которых им наговорили небылицы о «врагах народа», которых им предстоит стеречь, в особенности о «фашистах», под ранг которых подходили все привезенные из за границы, бывшие солдаты Освободительной и других европейских армий, «свои» люди, «передавшиеся в лагерь нацистов». Им приписывалось все. Все несчастия. Все горе. Они жгли. Они насиловали я убивали. Они отвозили людей в немецкие кацеты, на работы. Они. Они. Они.

Почти весь состав конвоя пополнялся из молодых пацанов. Поскольку они были склонны к садизму, или имели свой личный чуб против «контриков», они развлекались, они мстили на каждом шагу. Даже те, кто был более или менее мягким по природе, попадая в среду преступников, сначала старался не отставать и занимался из озорства всеми издевательствами, старался выслужиться перед начальством, а затем, по привычке, и сам шел на путь садизма.

Конвоиры не смели с нами разговаривать, но, если от скуки за спиной у других они вступали в разговор, через день — два они менялись, делались более доступными, даже, поскольку это было возможно, помогали заключенным, задумчиво говоря:

— Что ж, вы тоже люди. А нам говорили.

Но это были редкие случаи в то страшное время, которое привело к восстаниям и гибели множества заключенных и множества самих солдат МВД.

Вспоминаю несколько случаев, свидетелем которых я был. Работали мы на прокладке «узкоколейки». Бригада маленькая, всего шестнадцать человек. Охрана — четыре конвоира, нач-кон и

один собаковод. Район работы, вдоль полотна дороги, захватывал каких-нибудь 25–30 метров. Конвоиры расположились на возвышении. Все нас видят, и мы их. Собаководу захотелось прикурить. Спичек у него не оказалось, а у нас горел маленький костер, в котором грелись клинья для забивки в шпалы.

— Эй, мужик! Дай огня! — крикнул он молодому парню, работавшему рядом со мной.

Солдат находился вне «зоны», которая даже на такой работе была определена. Парнишка знал, что любой из конвоиров имеет право стрелять, если он перейдет, или даже только подойдет к линии огня. Он сделал вид, что не слышит собаковода, или не принимает приказ на свой счет.

— Слыш, гад фашистский! Эй, мужик! Дай огня! — повторил злобно солдат.

— Войдите в зону, и я вам дам огня, — ответил паренек. — Вы же знаете, что я не смею к вам подойти. Вы будете стрелять.

— Выходи, сволочь, я тебе говорю! — совсем освирепел собаковод. — Неси уголек прикурить!

— Не выйду! Я жить хочу!

— Ну, что ж! — вдруг по-звериному оскалил зубы солдат. — Коли так, я сам к тебе пойду, чтоб ты и дальше жил.

Встал. Привязал собаку к дереву. Медленно поправил ремень и медленно пошел к нам. Паренек широко открытыми глазами, весь побелев, смотрел на идущую к нему смерть в шинели МВД. Солдат подошел в упор и, хладнокровно вынув из кобуры наган, четырьмя пулями сразил несчастного.

— Ложись! — крикнул он нам, прибавляя к этому целую тираду самых богомерзких ругательств.

Мы легли. Чекист нагнулся, вынул уголек, прикурил и, сбросив его на землю, с «цигаркой» в зубах, подхватил под мышки еще теплое, трепещущее тело нашего друга и потянул его за зону.

По телефону (каждый конвой связан телефоном) он сообщил в штаб, что заключенный номер такой-то убит при попытке к побегу. Не прошло и полчаса, офицеры были на месте. Поговорили с конвоем, шагами измерили какое-то расстояние, поорали на нас, сдабривая несусветным матом, пригрозили, что и нам мозги выпустят, если будем бежать, и уехали, захватив с собой несчастного.

Самым ужасным для них и для бедного нашего друга оказалось то, что он все еще был жив. Он пришел в себя, когда его выбросили из саней в снег перед штабом. В зоне были люди. Были вольнонаемные. Был врач. Пришлось перенести его в сан-барак. Пришлось вызвать высшее начальство. Пришлось произвести дознание и передать его врачам.

Вытащить пули не удалось. Магнита в санчасти, конечно, не было. Бедняга, при полном сознании, умирал в страшных мучениях. Раненому вспрыскивали морфий и адреналин. Врачи, сами заключенные, записали весь рассказ. Опросили нас, сравнили показания. Примчались следователи из Управления Озер-лага. Солдата-убийцу увезли. Что с ним было дальше, не знаю, но безобразия продолжались.

В августе месяце 1952 года я попал в колонну № 01. Лесозавод, рабочих было немного больше семисот человек. Какова была моя радость, когда я там опять встретился с Францем Беккером! От него остались одна кожа и кости. Если я был рад, то мой Франц просто изошел в рыданиях от счастья. Ему казалось, что все мучения его, этого невольного «врага народа», кончились в тот момент, когда он, припав к моей груди, почувствовал около себя старого, испытанного товарища.

В план нашей работы входил не только лесораспил, но и другие обязанности. Каждый день полагалось вывозить опилки за зону, во избежание самовозгорания и пожара.

Зона была окружена традиционным трехметровым забором. Вывоз опилок происходил по договору между начальником лесозавода и начальником конвоя. Вне зоны расставляется несколько дополнительных сторожевых. Они внимательно следят за тем, чтобы за зону выходили только люди с тачкой, быстро ее выворачивали и бегом возвращались за следующей. Опилки вывозили метров за пятьдесят от забора.

В тот несчастный день было получено разрешение разгрузки опилок. Меня назначили для нагрузки тачек, а несколько человек, в том числе и Франца, для вывоза. Все формальности были соблюдены. Нач-кон выставил сторожевых. Я открыл ворота и проложил трап. Все благополучно. Возвращаюсь, и с первой тачкой побежал Беккер. Вдруг я заметил, что конвоир, сидевший как раз. напротив ворот, медленно стал поднимать автомат.

Каким-то шестым чувством я угадал его намерение и закричал:

— Zurueck, Franz! Er schiesst!

Франц бросил тачку и, повернувшись, побежал к воротам зоны. Солдат вскочил, выругался и выпустил целый диск в спину бегущего. Мой бедный друг упал уже в зоне завода, приблизительно метра полтора, за воротами.

Я бросился было к Францу, но солдат выпустил и по мне очередь. Я успел упасть и закатиться за штабель леса.

На стрельбу собрались все конвоиры. Подбежали и работяги. Мы хотели подойти к Францу, но нас к нему не подпускали, кладя огневую дорожку между нами и телом.

Так погиб денщик немецкого генерала, скромный деревенский парень, не нацист, ничего о политике не знавший, добрый и отзывчивый друг.

Я страшно тяжело переживал его смерть. Я винил себя. Мне казалось, что мой окрик мог быть неправильно понят конвоиром, и что я неправильно понял его движение. Но вскоре мы узнали, что не будь Франца, был бы убит Фердинанд, или Янош или Ванюха. Сами конвоиры говорили, что солдат стремился в отпуск. Он знал, что отпуск дают тем, кто отличится по службе. Самым большим отличием являлось пресечение попытки к бегству. Конвоир долго ожидал возможности попасть на такое положение, когда убийство арестанта дало бы ему все привилегии. Возможность нашлась. Франц Беккер был убит, а чекистский гад получил в награду часы и долго желанный отпуск.

Случай с Беккером вообще не вызвал никакой реакции на заводе. Немец пытался бежать, и все тут. Мы пробовали поговорить с опером, он отогнал нас, как назойливых мух, и еще пригрозил, что «пришьет» нас к делу побега Франца Беккера, как соучастников.

Когда часовые сдавали свои посты, они рапортовали: — Пост номер 1, по охране врагов народа, сдал! Этому их учили и так их воспитывали. Враги народа! Преступники. Они вешали. Они выжигали глаза. Они жгли ваши села на Украине, в Белоруссии, всюду, где стал гитлеровский сапог. Для солдат мы все были на одно лицо. Они в нас не разбирались. Немец Кинцберг или русский Краснов — им все равно. Им должно было быть все равно, поэтому в ряды войск МВД никогда не брались солдаты, побывавшие за границей. Как я уже сказал, это были или старые служаки войск МВД, где-то проштрафившиеся и из бытовых лагерей загнанные в наши тьму-тараканские районы, или совсем зеленые рекруты, которым предоставлялась возможность именно на этой службе пройти стаж, подготовку к будущим беспринципным зверствам при усмирениях, арестах, на этапах и пр.

Мы были на одно лицо для конвоиров, но мы были очень многоликими для начальства. Бывали случаи, что именно начальство отдавало приказ о ликвидации арестанта № такой-то. Он прошел следствие. Он осужден. Получил 10, 15, 25 лет ИТЛ, и вдруг появляется какой-то дополнительный материал, что-то новое, весьма опасное, и этому арестанту необходимо срочно и навсегда закрыть рот. Тогда при участии конвоиров, а иной раз и без них, производится экзекуция; как правило, поводом служит попытка к бегству.

Просто убить в лагере человека, в особенности бывшего

человека, занимавшего большую должность — опасно. В СССР все люди — временщики. Крутится колесо коммунистической карусели. Одни получают ордена, зато, что донесли на других.

Последних садят в лагеря, прячут за тысячи километров, подальше от столицы. Колесо двигается дальше, и тот, кто был наверху, может очень легко оказаться среди опальных. Опала еще не значит суд, но опала может привести обратно неудобных лиц, еще так недавно оклеветанных. Тогда к расчету стройся!

Когда начинает под ногами колебаться почва, временщик, предчувствуя возможность последствий, использует все возможные средства. Гада, находящегося под известным номером в спец-лагере, нужно срочно ликвидировать. Пока еще не поздно. В лагерь приходит негласный приказ. Чекистам, которым осточертела жизнь в Караганде или на Инте, обещается, за ловко проведенное дело, отпуск, награда, продвижение и даже перевод.

Однажды я был свидетелем такой ликвидации.

Было это в самое тяжелое для нас, спец-лагерников, время. Мы буквально «доходили» на невыносимо тяжелой работе. Питание было ниже всех советских возможностей. Работали рекордное количество часов. Даже по воскресеньям нам не давали отдыха, и если не слали на лесоповал, гнали собирать ветки и щепы для снабжения горючим кухни и бараков.

Стоял трескучий мороз. В наших отрепьях мы тряслись от холода. Истощенный организм не давал никакого отпора, и мысль о том, что мы сможем принести в наш барак лишнюю вязанку хвороста, заставила нас почти с радостью пойти в лес. Три конвоира получили от бригадира семь человек заключенных. Нас отвели на место лесоповала и приказали собирать сухие ветки и готовить вязанки. За топливом должны были придти санные дроги, а мы имели право каждый взять по вязанке для себя.

Наша работа подходила к концу. Положенное количество вязанок было аккуратно сложено на отведенное для этого место при дороге. Внезапно появился офицер. Мы знали этого типа. Садист. Негодяй. Пьяница и развратник. О нем поговаривали, что, за открытый разврат и извращенность, после двух скандалов, которые не удалось замять, его послали в наши злачные края, несмотря на «блат», который он имел в центральном МВД.

Он что-то шептал старшему конвоиру, сержанту. У того лицо приняло недовольное выражение. Тогда чекист, старший лейтенант, прикрикнул:

— Это приказание! — требую выполнения полученного приказа! Ясно? Офицер ушел. Старший подошел к нам и, не смотря нам в глаза, с неохотой проговорил:

— Так что, старший лейтенант недоволен, что дровишек мало

собрали. Идите немного поглыбже, где в последний раз лес то валили. Там и наберите веток. А один из вас тут со мной пусть останется и, что разбросано, посвязывает. Ну, оставайся хоть ты, старик!

С нами в группе был старик, которого мы мало знали. Прибыл он не так давно, жил в другом бараке. Вид у него был интеллигентный, но не очень симпатичный. Молчаливый, замкнутый человек, как бы избегавший любого проявления лагерного внимания и дружбы.

Работал он без сноровки, тяжело. Казалось, что он был из «белоручек» и прямиком, еще не приученный к лагерной работе, попал в нашу колонну.

Мы пошли с двумя конвоирами. Сержант и старик остались. Место лесоповала, о котором нам сказал сержант, находилось метрах в 300. Не успели мы туда дойти, как услышали резкую очередь из автомата. Наши конвоиры рванули свои автоматы и, взяв нас шестерых на мушку, заорали: Ложись!

Все, как один, нырнули носами в снег. Лежим и слышим: скрипит снег под чьими-то ногами.

— Встать!

Встаем. Сержант. Лицо белое. Зубы стянуты. На щеке мускул ходуном ходит.

— Ну, мужики, — говорит он, — пошли назад. Там произошло. Старик-то, утекать хотел. Впрочем вы ничего не знаете и ничего не видели. Понятно?

Саней не ждали. Сложили из веток что-то вроде носилок и потянули в лагерь тело убитого старика, заключенного № А-387. Безымянного. У него был совершенно разнесен затылок. Кругом — ожог. Стреляли в упор. Так в беглецов не стреляют. Не сумел сержант. Не выдержал. Не пустил очередь издалека, по спине.

Убийства. Избиения. Медленные истязания. Труд, который убил бы и слона. Голод, который бы уничтожил и верблюда. Чекистский мед-состав, против которого не могли бороться доктора, врачи из заключенных. Врачи МВД, большей частью, потеряли всякое понятие о милосердии, о самаритянстве, о врачебной этике. Все, как прикажет начальство. Избитых заключенных, прежде чем бросить в изолятор, влекли к такому врачу. Здоров! Все кости целы! — объявлял он, и несчастного бросали на хлеб и воду (стакан воды и кусок хлеба через день) на несколько суток. В «изо» — температура 35–38 градусов ниже нуля.

«Ликвидируют» очередную жертву «при покушении к побегу». Доктор пишет: «убит наповал», а несчастный мучается часами, пока Бог принимает его душу.

«Строгими наручниками», особого вида стальными браслетами, врезавшимися в мясо рук при малейшем, минимальном движении, изрезаны запястья почти до кости. Доктор пишет: «покушение на самоубийство». Чем? Ножей нет. Бритв нет. Даже гвоздей нет. Но выход для доктора есть: «инструментами на работе».

Вокруг спец-лагерей вырастали кладбища. Без крестов, без означений. «Дошедших», «фитильков» догорелых, высохших в мумии, сволакивали в общие, мелкие могилы. Их кости, под вой вьюги, растягивали дикие звери. Так уничтожалась «контра», чьими руками СССР строил свое могущество, строил крепость обороны, трамплин для агрессии, строил тюрьму для всего мира.

Двадцать миллионов заключенных имели минимум 40 миллионов близких, рассеянных по всему СССР. От них нельзя было ожидать любви к правительству, поддержки режима. Но сила солому ломит. Люди, семьи, чьи отцы, братья, сыновья, матери и жены мучились в Заполярье, за 70 параллелью, в Казахстане и других изнуряющих местах, стянув зубы, тянули дальше свою лямку, стараясь сохранить хоть свою свободу, хоть кусок жизни, взрастить своих потомков.

Прошел угар упоения победой над Гитлером. Рассеялись, как дым, надежды на обличения и уступки правительства. Из оккупированных стран стали приезжать в отпуск или уходить в резерв герои войны, увешанные орденами танкисты, храбрецы-партизаны. Что они находили дома? Нищету, отчаяние, болезнь и могилы.

После трех и даже пятилетнего отсутствия, побывав за границей, насмотревшись на «потустороннюю» жизнь, хотя бы и в изуродованной, военной и послевоенной форме, эти солдаты, герои Отечественной войны, защитники Родины, находили решение тайны — почему они не имели писем от своих близких. «За коллаборацию с неприятелем», жена героя, принужденная немцами на исполнение любой работы, до подметания улиц включительно, оказывалась в женском лагере за 70 параллелью. Детишки — в гос-яслях.

Настроение создавалось далеко не в пользу Сталина и его сатрапов. Там, в Заполярье, я встречался с этими героями Отечественной войны, израненными, даже инвалидами, которых за «дискриминацию власти», сорвав все ордена, отправляли дохнуть рядом с белыми эмигрантами, с немецкими «эс-эс», с японскими «камикадзе».

Нас всех называли врагами народа, не рискуя дать правильное имя «враги режима», «враги правительства». Народ же в своей толще отлично разбирался в том, кто его враг, и с

особенной симпатией относился к заключенным по 58 статье, к заключенным спец-лагерей.

Солдаты и офицеры МВД не рисковали появляться одиночно на темных улицах городов. Без пулеметов на автомобиле и ручных гранат, они не смели двинуться в путь по малолюдным дорогам. Вольное население, солдаты регулярной армии и в особенности матросы страстно ненавидели «чекистских гадов», которые перед силой всегда отступали. Я был свидетелем, во время одною из этапов, когда на станции железной дороги матросы Черноморского флота, бросавшие нам в щели вагонов пачки папирос и махорки, буханки хлеба и даже консервы, встретив отпор конвоя, так избили его в пух и прах, что некоторых конвоиров пришлось отправить в местную больницу и вызвать срочно пополнение. Матросы были в численном преимуществе и такие здоровяки, каких я уже давно не видел. Конвой — соплявые подонки населения, золотушные мальчишки, выплевывали свои собственные зубы и утирали грязными кулаками кровавые носы.

Когда заключенных спец-лагерей перебрасывали на новые работы и нас вели под усиленным конвоем, в сопровождении целых стай собак, по улицам сибирских городов, мы слышали реплики:

— Сволочи, как изуродовали людей! На что они похожи, кожа да кости! Самим бы чекистским гадам номера всюду налепить, чтобы народ знал и стерегся!

Когда мы работали у основного полотна железной дороги Тайшет — Братск, конвой заставлял всех нас садиться на землю в тот момент, когда мимо мчался пассажирский экспресс. Боялись, что кто-нибудь из нас в припадке отчаяния прыгнет под поезд.

Подобное упущение отозвалось бы очень строго на всем конвое, до расстрела включительно. Шутка сказать — поезд, полный народу! Могут быть и иностранцы. Состав должен остановиться. Пассажиры повылезают из вагонов, и несмотря на то, что экспресс мчался полным ходом, из окон его летели пачки табаку, дорогие папиросы, спички, продукты, белый хлеб и даже цветы, которых мы годами не видели.

Если это богатство попадало в зону нашей работы, конвоиры ничего не могли сделать. В один момент все исчезало под нашими бушлатами, в штанинах ватных брюк. Если же ветер и инерция относили блага земные на насыпь, где стояли конвоиры, они с жадностью прятали по карманам и, под нашими голодными взглядами, жевали брошенный нам хлеб.

Надзор-состав лагерей и конвой МВД поражали своей алчностью. Рвали, где могли. Спускали с заключенных по семь

шкур, если могли что-нибудь отнять или заработать.

Заключенные не смели держать на руках деньги. Если таковые имелись (до 25 руб.) они лежали в кассе лагеря, и два раза в год выдавался чек на эту сумму для покупки в лагерном ларьке конфет, папирос и дешевых (не для нас!)рыбных консервов. Если у кого-нибудь из арестантов находили завалявшийся рубль, неизвестными путями к нему попавший, он получал минимум два месяца спец-тюрьмы, в которой режим превосходил все самые ужасные ожидания. За сто рублей? — Смерть.

Лагерный ларек находился обычно в здании комендатуры. Туда привозили продукты. Богач, у которого «состояние» лежало в кассе, должен был «заявляться» к старшине с просьбой определить, имеет ли он право получить бон на сумму до 25 рублей для покупки «жрачки». Старшой проверял списки, и, если «буржуй» имел за последних три месяца хоть один день карцера, срок покупки откладывался на следующую половину года.

У меня был друг, с которым мы не мало пудов соли вместе съели. Бельгиец, офицер. У него каким-то чудом, сохранилось четыре приличных рубашки. Берег он их долго, как зеницу ока. Гоняли нас на работу на лесопилку, и там был вольный мастер, который купил у него все четыре за 100 рублей. Деньги на руках — беда! Начальство найдет — деньги отберут, и хорошо еще, если под суд отдадут. Обычно — деньги себе, а бывшему хозяину — пулю в затылок. Бежал — мол! Мертвые уста молчат. Бельгиец поделился со мной своей тайной сделкой и попросил:

— Скоро продукты продавать будут, так постарайся деньги в консервы и махорку превратить. Сколько дадут!

Я рискнул. Пошел без всякой проверки в ларек. Большая очередь. Стал последним. Подошли люди. Я нырнул, как бы оправиться. Вернулся, пошумел, что место в очереди заняли, и опять последним пристроился. Только перед самым закрытием решился сунуться к дверям. В ларек впускали по одному. Слышу голос— следующий! Конвойный пропустил.

— Гражданин начальник, — начал я. — Хочу купить что-нибудь для еды и махорки.

— Номер! Номер свой говори, а не то, что ты хочешь купить!

— Вот мой номер, — буркнул я и сунул ему в руку сторублевый билет.

— Сколько дадите — мне ладно!

Начальник повертел деньги, посмотрел внимательно в мое лицо и спросил:

— Ты, мужик, откуда?

— Заграничный!

— То-то! Кто еще знает о деньгах-то?

— Вы, да я.

— То-то! Ннн-да! — подумал, почесал затылок и вдруг быстро сунул сотку за голенище сапога. — Бери, что дам, и молчи!

Выдал он мне конфет, папирос, махорки, рыбные консервы. Вылетел я от него пулей, боясь, что заключенные и чекисты увидят, на сколько я «купил».

С бельгийцем мы подсчитали. На 80 целковых начальник отвалил нам продуктов. Заработок его был равен 120 рублях: 100 за голенищем и 20 недодал. Как он отписался по книгам за выданное богатство — я не знаю, но обе стороны, и мы и он, были довольны.

На следующее утро этот же начальник присутствовал при утреннем разводе на работу и обыске. У одного поляка нашел в кармане свернутый в трубочку рубль. Этот же самый чекист, который взял у меня 100 рублей, обокрал государство на продукты, со всего размаху ударил несчастного увесистым кулаком в лицо.

— А-а-а! Гад! — взревел он. — Бегство приготовляешь? Деньги прячешь! — его туды-растуды — в карцер!

Как-то, по ложному доносу, из группы работяг дежурный сержант — нач-кон, взял на зуб несколько человек, в том числе и меня. Кто-то ему шепнул, что мы что-то «хапнули», что-то «ликвиднули» при помощи вольнонаемных, а он остался не при чем. Никакой сделки не было. Донос был подлый и не имел под собой никакой почвы, но сержант обозлился. Несколько раз подряд, днем на работе и ночью в бараке, он делал неожиданный шмон. Нас срывали с коек, взрезали мешки с соломой, перетряхивали всю одежонку, и сержант никак не хотел поверить, что у нас в кармане — вошь на аркане.

— Где прячете, сукины дети? — ревел он, пьяный, вонючий, с закровавленными глазами.

Террор довел нас до того, что мы даже от друзей боялись махорку взять, покурить. Заметит — скажет, что из потайного места вынули.

В нашей колонне «026» этот сержант был царем и богом. Начальник колонны пил уж совсем без просыпу, и все дела были возложены на этого садиста. Однажды ночью он ворвался к нам и вывел целый барак к ямам, которые мы же рыли для уборных. Выделил нашу злосчастную группу, и поставил лицом к яме, завопил:

— Сейчас будет смерть вам, фашистам! Молитесь вашему Богу! Командую: Внимание! Прожектора на вышках и пулеметы! Наводка к ямам! По фашистам и изменникам Родины — огонь!

Вспыхнули прожектора. Нащупали своими яркими пальцами несчастных людей, стоявших босиком, в подштанниках, в липкой грязи.

— Отставь! Ну, как, гады, гитлеровцы, испугались? Ха-ха-ха-ха! — хрипло заливался сержант. — В барак! Бегом! Все! — кто будет последний — пулю в затылок получит.

Весь барак, как один человек, и наша группа «смертников» рванула в помещение. В дверях — пробка. Последний пулю в затылок не получил, но это ночное развлечение стоило двух жизней. Два старика скончались от разрыва сердца, едва добравшись до своих коек.

В то людьми проклятое время особо запомнились начальники лагерей, славившиеся даже по лагерным понятиям из ряда вон выходящим садизмом.

Начальник 016, капитан Мишин, нес на своей душе сотни жизней людей, которых он замучил, тех, кого он «при попытке к бегству» лично пристреливал. Не лучше был капитан Юркевич, начальник лагеря 035, майор Громов и другие. Для них мы были безгласная скотина, рабы, на чьих плечах они строили свое благополучие, на ком они могли сорвать злобу и удовлетворить свое извращенное влечение к мучительству.

Все эти выродки к тому же обладали исключительным талантом вносить разлад в среду заключенных в спец-лагерях. Классовой вражды, как в смешанных колоннах, где бытовики, уголовники, работали вместе с политическими, в спец-лагерях не было.

По приказу свыше, стали разжигать антагонизм между русскими и украинцами, т. е. бендеровцами из Западной Украины. Этих же бендеровцев они натравливали на грузин. Грузин на армян. Французов на немцев. При помощи своих сексотов-стукачей, они раздували страсти, и, в случае нужды, откуда ни возьмись, появлялись ножи и даже топоры.

В Озерлаге не было междоусобных войн, но бывали подкалывания и удушения. В «Камышлаге» велись кровавые бои, самосуды типа Линча, ночные суды по баракам, с применением всевозможных мер наказаний, и часто погибали ни в чем не повинные люди.

Если перевес брали бендеровцы, чекисты вызывали к себе русских и нашептывали: Дайте им сдачи! Вам ничего не будет! Мы сами великороссы и эту шваль терпеть не можем.

Если русские брали верх — чекистские Макиавелли обрабатывали украинцев: Все русачье здесь — власовцы, изменники родины, гитлеровские слуги. Почище «эс-эс» расправлялись у вас на Украине! Дайте им жару! Вам ничего не

будет. Начальство будет только довольно, что гадов меньше останется.

Интриги МВД обычно находили благодатную почву. Люди шли друг против друга, как будто бы боролись за власть, как будто от их междоусобиц в лагерях зависели будущие границы, система управления, взаимоотношения государств, делимость или неделимость России.

МВД, как самка — тарантул, поедает и своих детенышей. Какой-нибудь «неудобный» человек, занимающий начальническое положение в лагере, должен быть ликвидирован. Следствие? Суд? — Чересчур большая волокита, и, кроме того, люди МВД, у которых под ногами колеблется почва, прибегают к вернейшему способу. Буду лететь, так не один. Парочку, а то и больше, захвачу с собой!

Опасаясь возможного «раздувания дела», такой неудобный чекист ликвидируется руками заключенных и действительно «захватывает» с собой не малое количество людей, но не из среды МВД, а контриков.

В феврале 1954 года, когда меня уже перевели в Омск, в пятое лаг-отделение Камышлага, я был свидетелем такой расправы.

Комендант зоны, типичный кацап, в общем очень неплохой человек, чем-то допек опер-уполномоченного. Слово за слово, вероятно, пригрозили друг другу жалобами по начальству. Опер-уп, как старший, решил не выпустить инициативы из своих рук. Не подавая виду, он в один из последующих вечеров, по ходу службы, вызвал к себе коменданта и приказал ему пройти в барак, в котором обосновались бендеровцы и литовцы, и посмотреть, нет ли там мест для уплотнения; к тому же, прибыла новая партия заключенных.

Одновременно этот Макиавелли послал кого-то из своих стукачей, которые шепнули, кому нужно, в бендеровском бараке, что к ним сейчас кацап проклятый, комендант, придет с кацапами же бить и украинцев и литовцев.

В барак вошел один лишь комендант. Его ударили дубиной по голове. Облитый кровью, не понимая, в чем дело, ошеломленный, он выскочил и бросился к русским баракам с криком:

— Братцы! Бендеровцы убивают!

Начался бы кровавый бой, если бы не нашлось несколько человек с холодными рассудками. Они выскочили вперед, загородили своими телами упавшего в грязь коменданта и крикнули:

— Стой, ребята! В чем дело? Первый, кто бросится к нам с

ножом, будет забит железными палками! Пощады ему не будет! Давайте лучше, разберемся, в чем дело.

За ними посыпались заключенные, главным образом, ребята Первой Власовской дивизии, люди солидные, видавшие виды. Украинцы отступили и послали «парламентария».

Конечно, о неожиданном исходе «ликвидации» узнал и оперуполномоченный. Он сейчас же по телефону вызвал роту солдат МВД с пулеметами, приказав им быть «на готовьсь» за зоной и бросился уговаривать заключенных разойтись. К его приходу и приходу роты, все уже было выяснено. Парламентарий рассказал о слухе, который был умело пущен, и горько сетовал, что «стукач» сбил их с панталыку. Раненого коменданта подобрали и отправили в сан-часть, где он скончался от кровоизлияния в мозг.

Опер-уп немедленно распорядился, и в один карцер посадил 100 человек бендеровцев и литовцев, в другой — 20 власовцев. Убийцы коменданта между ними не нашли и совершенно неожиданно замяли дело, переведя парочку украинцев в другую колонну.

Все это происходило незадолго до смерти Сталина. Его смерть, а затем конец Берии, конечно, внесли массу изменений в жизнь заключенных. Особенно, сказал бы, повезло уголовникам, но и наша судьба вылилась в совершенно неожиданные, новые формы.

Невольно должен забежать вперед. Период между смертью Сталина и ликвидацией Берии являлся как бы переломом и заправилы лагерями МВД еще не совсем потеряли курс и не тыкались, как слепые котята, в поисках новой «генеральной линии» своего ведомства.

Последний случай провокации в лагерях был, насколько мне известно, произведен в Джасказгане в 1954 году. Время спец-лагерей прошло. Опять стали вливать в одно корыто и «58» и уголовников. Политические из Джасказгана, наладившие до возможной степени свою жизнь в лагере, приноровившиеся к работе, узнав о возможном соединении с уголовниками, объявили всеобщую забастовку. Заключенные требовали приезда прокурора СССР и сообщили, что они до тех пор не выйдут на работу, пока не будут заверены, что МВД отказалось от своей идеи, и политические лагеря останутся чистыми.

Местное начальство немного опешило. Они торопливо послали извещение в Москву, оправдываясь тем, что соединение политических и уголовников идет на благо одних и других, и что сотрудничество и примирение могут благотворно подействовать на обе «касты».

Мужской лагерь был поддержан ближайшим женским. Начальство испугалось и поторопилось объявить лагерь на осадном положении, назвав забастовку бунтом против существующего строя. Из ближайшею центра была прислана танковая часть и отряд мотопехоты. Задание — задавить бунт!

Мужской и женский лагерь успели соединиться. Заключенные не растерялись. Срочно были заготовлены бутылки с горючим, из захваченных складов был вынесен динамит, и сделаны кустарные ручные гранаты.

Все переговоры ни к чему не привели. По приказу начальства танки двинулись в зону. За ними шла пехота. Вооруженные бутылками горючего, палками и ручными гранатами, политические бросились навстречу, быстро выходя из сферы танкового огня. Одни гибли сами, но другим удалось разоружить пехотных солдат, которые позорно бросились бежать к воротам.

Женщины обвязывались веревками, к которым были подвешены бутылки с бензином, и бросались под танки. Четыре танка было сразу уничтожено. Остальные поторопились скрыться за воротами, пока не пришло пополнение.

Бой был очень кровавым и длился два дня. Танки то врывались в зону, то уходили. К концу второго дня все затихло. МВД прекратило огонь. Заключенные узнали, что на аэроплане прилетел прокурор из Москвы и приказал прекратить бойню.

На следующее утро он довольно смело повел переговоры с «бунтовщиками». Он дал слово, что заключенных судить не будут, и на этот раз слово было сдержано. Все начальство было снято с мест и куда-то увезено. Все требования заключенных были удовлетворены. Урки в лагерь не попали. Погибшие герои были похоронены с известными почестями, при участии «контриков».

Новое течение, новое веяние уже стали набирать маху. Существование в лагерях и самый темп работы делались более или менее терпимыми, и начальство старой закалки просто теряло голову.

Особое внимание стало оказываться сидевшим в лагерях иностранцам. Венгры, привезенные в 1947 году, поляки, немцы из Восточной Германии, проявившие редкую храбрость в путче 1953 года, начали получать право переписки. Бывшие военнопленные, немцы и австрийцы, чьи правительства получили права, нажали на Москву, и их судьба тоже стала принимать другие формы.

В начале 1953 года, по особому этапному «радио-телеграфу», да и от начальства до нас стали доходить сведения о том, что «великий» болен. Газет мы не имели, за событиями следить не могли. Радио открывалось только на известное время, и за передачей по громкоговорителям строго следило начальство.

Смерти советского «небожителя» ожидал с нетерпением весь народ России. Все знали, что типы, подобные ему, рождаются раз в долгую эру. Все знали, что, кто бы ни стал на его место, ни тем авторитетом он пользоваться не будет, ни тем культом личности его не окружат. Никто больше не сможет держать двести миллионов людей в такой стальной рукавице.

Насколько хуже становилось «вождю», настолько больше нервничало лагерное МВД. По всем лагерям великого советского союза эмвэдешники дрожали за свою жизнь, за порядок, считая, что смерть Сталина может вызвать поголовный бунт. Но в то время лагерники представляли весьма печальное, достойное сожаления зрелище. Истощенные, «тонкие, звонкие, ушки топориком», качающиеся на ветру, как былинки, они только в сердце были бунтарями. Сил в них не было.

Помню, и навсегда запомню 5 марта 1953 года. Нас раньше времени сняли с работ и под усиленным конвоем погнали в жилую зону. Подходим к лагерю и видим, что на здании лагерного управления флаг СССР приспущен на полдревка. Ударами прикладов, под крики и гиканье, нас загнали в бараки и заперли на замки.

В это время по всей громадной стране было остановлено все движение. Гудели гудки заводов, фабрик, паровозов, протяжно и жалобно. Коммунисты приказали объявить о кончине своего великого и несравнимого.

Вечером нас выпустили и разрешили принять паек в кухне. На лицах всех комендантов, начальников, бригадиров, конвоиров и т. д. полная растерянность. Блуждают глаза. Лица бледны. Крепко сжимают оружие.

Ночь прошла спокойно, но на следующий день мы сразу же заметили, что не прошло и 24 часов со смерти Сталина — все кардинально переменилось.

За весь день работы — ни одного окрика. Бесследно исчезло — Подтянись! Не разговаривай! Ложись! Руки назад!

Москва боялась переворота, который, увы, не произошел. Народ не уловил момента, привыкший к гнету и плетке МВД, но в лагерях произошло то, что уже нельзя было изменить. Котел дал трещину. Пар был выпущен.

На сцену выплыла фигура Маленкова. Председателем Президиума СССР становится Клим Ворошилов. Ему народ до сих пор симпатизирует. Он себя не запачкал по линиям Чека, ГПУ, НКВД, МВД. Фигуры, вроде Булганина и Хрущева, несмотря на то, что они, конечно всем известны, потеряли свои политические очертания и стали более чем расплывчатыми. Одно — они были при «хозяине». Кто его знает, какое у них звериное рыло или

змеиное жало откроется теперь!

Из Москвы, в которой тоже некоторое время царила растерянность, в Управление лагерей приходили самые противоречащие приказы. Одно было ясно — не перетягивать ни в одну сторону. Поддерживать статус кво с наименьшим отступлением с позиций чекисты напоминали нам улиток, осторожно высовывавших из своего домика свои рожки. Избиения, убийства прекратились, наручники исчезли «врагов народа» как будто бы не слышно.

В память «корифея», была объявлена амнистия уголовных преступников. Как бы наследство от «великого отца» его криминальным деткам.

По всему союзу поползли жуткие преступления, из поездов, в которых они возвращались на насиженные места, на ходу выбрасывались трупы изнасилованных женщин, ограбленных и убитых мужиков и даже пассажиров в хороших, партийного фасона, «шевиотовых» костюмах.

Каким диссонансом, по сравнению с этими неопровержимыми массовыми фактами, звучали слова генерального прокурора СССР, объяснявшего амнистию тем, что «у нас народ стал сознательным. Грубость, бандитизм и другие преступления, занесенные к нам войной, вызванные примером неприятеля, уменьшаются. Преступность в СССР резко падает. В скором времени мы станем примером всему миру».

Преступники, консервируемые годами в концлагерях, вылились на улицу, как кипучая волна помоев. Вопреки словам прокурора, бандитизм вырос на 50 процентов, и их опять арестовывали, судили и возвращали в лагеря. Как потом пришлось признаться, 75 % амнистированных попали обратно в злачные места.

Одновременно с этими двояко-острыми мерами «смягчения» и «свобод», вопрос «контры» остался висящим в воздухе. Никаких амнистий, никаких пересмотров дел. Вернулись строгости и закручивание гаек, которые и вызвали ряд восстаний, о которых я писал. Заключенные собрались с духом. Они чувствовали, что не сегодня — завтра вопрос экономики, стройки заставит колеблющихся послесталинских временщиков пойти навстречу и политзаключенным.

Арест Берии был вторым и самым тяжелым ударом по нашим тюремщикам. Им казалось, что великолепное, прекрасно организованное здание МВД дало трещину от верха до самого основания.

Конвоиры, в особенности в чинах повыше, сержанты, стали делаться новостями с заключенными. Шептали на ухо о том, как

Берия замышлял захватить власть в свои руки и вернуть все к «сталинизму», как он хотел арестовать весь ЦК КПСС, как Жуков его предал, как Берия получил пулю в затылок.

В Москве велось следствие, но в него никто не верил. Берия был мертв. Проделывалась очередная комедия.

Принесли нам номер «Правды», в котором сообщалось о том, что пес Берия еще в 1918 году продался какой-то иностранной державе и помилуй Бог! До 1954 года предавал СССР. Берия дезорганизовал колхозную систему. Берия давал ложные сведения. Из-за Берии в стране недохват ширпотреба. Берия! Берия! Берия новый козел отпущения за все промахи, недочеты, порочные эксперименты коммунистической системы.

На следующий день, опять же от маленьких начальников, мы узнаем о речи Хрущева, о полной перетряске в МВД, о поставлении его под контроль обкомов, о роспуске МГБ.

Чекисты окончательно потеряли головы. С Москвы начиная, полетели люди, так или иначе связанные с именем Берии. Аресты. Дознания. Следствия. Возможно, по приказу из Центрального Управления Лагерей, а может быть, и просто по инерции, полетели с постов начальники Управлений лагерями, начальники лагерей, начальники колонн, управляющие работами, заводами и т. д. от велика до мала.

Сильное впечатление на всех заключенных произвела весть об аресте начальника Управления Озер-лага, полковника Евстинчеева, чекиста до мозга костей, опричника высокого ранга. Пришедшее к нам пополнение принесло подтверждение слуха об аресте начальника следственного отдела МГБ Абакумова. Люди, прошедшие через их не раз обагренные кровью руки, начинали как будто бы верить в обоснованность надежд на перемены.

Евстинчеева у нас ненавидели жуткой, непримиримой ненавистью. Сколько раз он, «снисходя» до нас, говорил: Для вас здесь я — бог, а медведь — ваш прокурор! Когда в лагерь доползли «параши», как у нас назывались непроверенные новости, о ликвидации этого чекиста, ликование едва сдерживалось. Наконец-то! — говорили люди — Бог правду видит!

На душе Евстинчеева лежали тысячи убийств. Он был главным организатором «ликвидации при помощи побега». Ни одно следствие убийства заключенных не кончалось каким-либо вердиктом против конвоиров-убийц. По его инициативе, трупы несчастных вносились в лагерь и выставлялись «на лобном месте» в виде примера. Заставляли лагерников дефилировать мимо мертвого друга для того, чтобы им было «не любо бежать». Трупы в ожидании закапывания лежали иной раз по 2–3 дня, иной раз

целую неделю.

Ликвидации, по приказанию Евстинчеева, начинались в июне и кончались с первым снегом. Снег запечатлевал следы, и окружающие могли утвердить, бежал несчастный или нет. Однако, в случае крайней необходимости, «бежали» и зимой, и тогда конвоиры топтали ногами снег, бегали сами взад-вперед, чтобы уничтожить всякую возможность установить моменты побега.

Наступил период, когда, как в сказке об «Алисе в стране чудес», все перевернулось вверх ногами.

Лаг-начальство подхалимничало. Заводились разговоры с заключенными. Заискивания, вроде: Вот запомните? Я никогда никого не бил. На моих руках крови нет! Провались я на этом месте, если я кому-нибудь нагадил. Правда?

Исчезло обращение на «ты», вместо «мужиков», мы стали «ребятами». Начали запоминать наши фамилии, вместо номеров. Иной раз даже имена и отчества. В случае чего, и лагерники научились показывать зубы:

— Вы что, гражданин начальник? За Берию, что ли? Прошли те времена! Слышали, как бериевцев арестовывают и в лагеря загоняют?

— Да что вы, что вы, Петр Петрович! Конечно, прошли те времена, недоброй памяти! Гадко было сами знаем!

В спец-лагеря поступало все меньше пополнения. Наоборот, из них выкачивали людей и не загоняли на «белые пятна», а отправляли в центр матушки — Сибири, в губернский город Омск. С такой группой и я попал в этот большой город.

На нас все еще были пришиты номера, мы все еще «доходили» и были одеты в лохмотья, но постепенно наше существование улучшалось. Даже конвоиры стали к нам обращаться на «вы». Когда нас вели на работу, больше нас не садили в лужи, снег или пыль. Нас каждый день видели вольные жители Омска и всячески выказывали нам знаки внимания и сочувствия.

В начале 1954 года в Омск прибыл, по приказанию начальника ГУЛАГа, генерал-полковника Круглова, специальный представитель. Он плотно засел в Управлении Камыш-лага и стал проводить дознания, следствия по разным «сомнительным случаям» и контролировать обращение начальства с заключенными. По всем лагерям разлетелся как жар-птица, лозунг правительства «Партия контролирует МВД и служит народу, а не наоборот!»

Сколько в нас ни сидело скептицизма, все равно, все эти новости, вести и лозунги служили нам прекрасной почвой для

известных требований и даже угроз. По поводу всех этих пертурбаций, между заключенными шли долгие разговоры. Искался повод к этой «новой линии человеколюбия и гуманности».

«Стреляные воробьи» не доверяли постоянности подобных «реформ». Время подошло, говорили они. Затянулись отношения с внешним миром. Смерть «всестороннего корифея» тоже подрезала «скаковой сустав» партии. Положение шаткое. Народ недоволен. В лагерях перетянули струну. Начатые стройки необходимо закончить. Необходимо снабдить народ ширпотребом и одновременно строить мощь государства в военном отношении.

Двадцать миллионов рабов, среди которых пусть будет только двадцать процентов не согнувшихся в бараний рог и восемьдесят процентов заячьих душонок, все равно, представляют собой страшную силу. Сильные потянут за собой слабых. За храбрыми пойдут и трусы. Лучше сделать один, два и больше шагов назад и затем сразу, без предупреждения, прыгнуть вперед.

Так нам, новичкам и иностранцам, объясняли новую политику правительства те, кто прожил всю свою жизнь под знаком красной звезды, кто сам в свое время купался в ее лучах. В них было больше пессимизма и настороженности, чем в нас. И у нас не был сломлен позвоночник, мы не превратились в ползунков и зайчиков, но нам так хотелось верить в то, что не все еще потеряно, что на горизонте появляются лучики надежды.

В Омске нас поставили на стройку нефтеперегонного завода и связи с другими заводами для переработки нефти, поступающей из Башкирской ССР по дальнепроводным трубам (длина трассы более двух с половиной тысяч километров! Рядом со старым Омском рос новый, современный город. Только под один завод была отведена площадь в 20 квадратных километров. Город строился с основания. Сначала по плану прокладывались канализация и водопровод. Затем мостились широченные, асфальтобетонные улицы, будущие городские магистрали. Еще нет домов, а уже проводятся трамвайные линии, электричество, электро-железные дороги. К нашему приходу уже были заложены фундаменты многих домов, разбивались скверы, и планировался большой парк. Заводы росли на наших глазах. Огромное здание ТЭС-3 (Тепло-электрической станции заводов) построили заключенные за рекордный срок. Такие суперсовременные агрегаты и машины являлись новшеством.

Я бы не хотел, чтобы читатели неправильно меня поняли и решили, что я с известной тенденцией подхожу к вопросу стройки заводов, турбин и городов в СССР. Люди искусства, люди науки, охотно строили их — проще говоря, русский гений,

сдерживаемый красной уздой в течение десятилетий, просился, пер наружу. Каждая возможность работы и утилизирования своих личных сил всегда находит отклик в душе русского творящего элемента, от гения техники, скажем, до простого слесаря или плотника.

Идея постройки нового города, современного, удобного, радостным эхом отзывается в трудовой среде. Архитекторы, художники, техники, инженеры загораются идеей применения глубоко зарытых сокровищ своих знаний. Вольные люди считают это благодатью от Бога, а как же эти возможности должны были воспринять архитекторы, инженеры, художники, техники, химики и т. д. и т. д. сидящие уже десятилетия в лагерях, превратившиеся в вьючных животных с лямкой через плечо, в лесоповальщиков, углекопов, простых земляных червей, по пояс в воде копающих рвы и прокладывавших пути в тайге. С каким восторгом они опять входили в комнаты с чертежными столами, в химические лаборатории, любовались современными супер-агрегатами и еще невиданными достижениями техники — машинами!

Пусть никто не осудит их!

В сталинские дни, за двадцать девять жутких лет, стройка, всякая стройка вызывала отпор в народе. Все строилось для ненавистного режима. Тогда на этих работах ковырялись лениво и грязно уголовные элементы. Стройка велась черепашьим шагом, и, по легенде, «за день построенное за ночь разрушалось». С 1953 года у людей выросли хоть малюсенькие, но крылья.

Помню разговоры в лагерях: Мы, — говорили люди, — сейчас строим не СССР, а что-то конструктивное и нужное для самой России. Под гнетом режима мы отстали. Не будь этого закрепощения, Россия шагнула бы гигантскими шагами вперед, и мы без кнута и виселицы «догнали бы и перегнали» и Старый и Новый мир. Малюсенькие ростки крылышек дали то, что Маленков, а затем Хрущев и Ко, выставили свободному миру, как достижения своей внутренней политики. Может быть, это и так. Конечно, даже безусловно, та отдушина, которая была дана политкаторжанам, сразу же родила обильный плод».

Как семя, брошенное на камень, не обогреваемое солнцем, не заливаемое влагой, и затем пересаженное на скупую, но все же почву, гений и трудоспособность русского человека рванулись вперед.

«Контрики» всегда являлись самым трудоспособным, единственно-честным в работе элементам.

Москва, желая всех удивить, бросила на стройку, дав мало-мальски приличные условия и даже зарплату, больше двух миллионов политзаключенных. Города, заводы, нефтепроводы,

дороги стали расти, как грибы. «Пятьдесят восьмая» строила Россию.

При чтении этих строк, может быть, у кого-либо создастся неправильное представление. Может быть, подумают, что в СССР действительно произошел благодейственный ренессанс. Однако, все это не так. Как и во внешней своей политике, Кремль остался на прежних позициях. В то время, когда он приоткрыл к политзаключенным маленькую форточку и протянул в нее руку с куском хлеба, в другой руке он крепко зажал камень и всегда наготове нанести смертельный удар по двадцатимиллионной голове. Вернее, он всегда верит в свою возможность удушить мавра, сыгравшего свою роль.

Встречи. Мысли. Разговоры

До момента получения известий о казни деда Петра Николаевича, дяди Семена и о смерти отца, я долгое время находился в очень тяжелом состоянии духа. Гнев, ненависть, беспросветность разрушали мой организм гораздо больше, чем голод и труд. Большой радостью для меня была встреча с солдатами отряда генерала Доманова и Казачьего Корпуса генерала фон Паннвица, от которых я узнал, что только часть семейств была выдана в СССР. Затем, при встрече с женщинами-заключенными, я окончательно был осведомлен, что ни жена, ни мать, ни бабушка не были брошены в жертву красному молоху. В те дни, когда я, находясь в спец-лагерях, «доходя» в полном смысле слова, узнал, что мои близкие, женщины, живы, во мне пробудился дух борьбы за существование. Я стал опять мечтать о побеге, веря в то, что они во мне нуждаются. Бабушка была стара. Разлука и смерть Петра Николаевича, я знал, должны были катастрофически отозваться на ее здоровье. Мама. Лиля.

В дни безнадежности я старался не думать о завещании деда. Я не верил в возможность передачи всего виденного, слышанного, пережитого тем, кто должен об этом знать.

Мой никогда не написанный дневник стал зреть в моем мозгу как раз в то время, когда тело было более всего слабым и неотпорным. Мысли, как огнем, запечатлевались в памяти. С изумительной ясностью вставали люди, их облик и внешний и внутренний. Как перед смертью — думал я не раз. Говорят же, что у повешенного, в секунду, перед смертью пробегает, как на фильме, вся его жизнь. Ночами, на твердых нарах, задыхаясь от испарений тел и вони мокрой ватной одежды, от смрада барачной «параши», сдерживая стоны от боли во всем теле, в натертом до крови плече, я опять возвращался в Лиенц, прощался с близкими, молился со всеми воинами во дворе лагеря в Шпиттале. Я опять видел дым из трубы какой-то фабрики в Юденбурге, причудливым вопросительным знаком завивавшийся на востоке неба. Я слышал голос Андрея Григорьевича Шкуро, его шутки, за которыми скрывались глубоко запрятанные обида, скорбь и гнев, но не страх.

Я опять видел расстрел адъютанта генерала фон Паннвица. Слышал гармошку русского солдата с тоскливым и все же обещающим — «жди меня». Я сидел в кабинете у Меркулова и слышал каждое сказанное им слово, видел каждую перемену на его лице. Я мыл с любовью и грустью старческое израненное тело деда и впитывал в себя его скромное завещание. Встречался с

отцом. Прощался с ним.

Иной раз я задыхался от злобы. Иной раз я весь сотрясался в неудержимых, беззвучных рыданиях. Но я стал опять жить. Я стал человеком. Во мне появилась сила сопротивления. Я тогда, больше чем когда-либо, узнал, что жить надо, что жить должно.

Глубокой занозой в моем сердце легла смерть раньше мне совсем неизвестного, случайно найденного, пригретого и меня пригревшего Франца Беккера. В его лице обобщались все те новые, приходящие, дальше уходящие не по своей воле, а по капризу рабовладельцев, то в другие лагеря, то навсегда, в мелкие могилы, люди. Человеки. Друзья.

С какой готовностью ко мне подошли испанец и румын в Лефортовом, осколки прежней жизни — добрейшие люди в Марраспреде, с такой же любовью и готовностью сходился я с власовцами, обретенными мной в разных лагерях, бывшими корпусниками, в прежние времена неизвестными жертвами Лиенцевской трагедии, казаками фон Паннвица.

Говорят, что рыбак рыбака видит издалека. Так издалека, налету, сразу мы узнавали друг друга, стремились соприкоснуться и в тихих беседах, в воспоминаниях, даже в дебатах, защите и осуждении прошлого, в открывании содеянных ошибок, находили интерес и силы для жизни.

Помню вечерние разговоры, в дни нашей жизни в спец-лагерях, когда мы освободились на 100 % от простых уголовников и чувствовали себя до некоторой степени в своей среде. Конечно, только до некоторой степени. И среди «пятьдесят восьмой» были стукачи, пресмыкающиеся. Были и свои «полит-уголовные», бывшие коммунисты, проштрафившиеся по какому-нибудь пункту «58 статьи». Были и «полит-бытовики».

Невольно в барачной жизни создавалась в моральном отношении «белая» и «черная» кость. Власовец, прошедший через огонь, воду и трубы наступлений и отступлений во время войны, лагеря смерти Гитлера, когда-то ликовавший в дни обнародования Пражского Манифеста и подло выданный культурным и гуманным Западом, невольно чувствовал себя политической элитой в контрреволюционном смысле. Он дружил с честнягой братом — эмигрантом, с колхозником — мужиком, с своим товарищем, армейским солдатом или офицером, за «контру» попавшим в ряд рабов по окончании войны, но он никогда не спустился бы до партийца, не угодившего начальству, не угадавшего «линии» и споткнувшегося на ровном паркете партии.

Вспоминаю длинные разговоры между «нами», прожившими лучшую часть своего бытия и давке родившимися за пределами

Родины, и «ими», нахлебавшимися столько горя, что его хватило бы на сто человеческих жизней.

— Ничему вас эмиграция не научила! — помню, говорил нам один пожилой, ярый антикоммунист из «них». — Вы все еще живете прошлым, мечтаете увидеть Россию такой, какой вы ее оставили. Реки не текут вспять. Россия есть. Ее не убили коммунисты, но она выросла, похорошела. Пусть у нее, из-за плохого воспитания никуда не годных «гувернеров» и «гувернанток» из Кремля, плохие манеры. Пусть у нее развился известный процент общественной отрыжки, уголовников, но я утверждаю, что все это наносное, проходящее, и что Россия и выросла и похорошела. В СССР спертый воздух. Изоляция в течение почти сорока лет создала эту тяжелую атмосферу, в которой тяжело дышать. Здесь тяжело творить, тяжело развиваться природным способностям, но только в одном направлении — давит партия. Однако, молодой человек, не забывайте, что безграмотность почти уничтожена, что, хоть и по узкой дорожке, но прет талант из народа, и хотел этого мир или нет — Россия жива! Мы любим ее и потому мы не покидаем ее. Мы умираем по спец-лагерям, но мы не предадим ее.

Я пробовал, как мог и умел, по молодости лет, защищать все общепринятые взгляды эмиграции, но натыкался на железную логику.

— Произойдет переворот, — говорил мне старик-ученый.

— Произойдет он отсюда. Из этого «государства в государстве». Тут, на новых местах, растет фундамент новой России. Произойдет этот переворот революционным путем или эволюционным, утверждать сейчас нельзя. Вопрос времени, и время работает не на коммунистов, как они это думают, а на возрождение национальной силы нашей Родины.

— Лес рубят — щепки летят. Мы с вами — щепки. Но на месте вырубленного леса вырастет крепкий молодняк. В этом я убежден.

— Мы, подсоветские рабы, ни в коем случае не осуждаем вас, эмигрантов, за то, что вы пошли с немцами. Будь я за границей, и я, верю, поступил бы так же. И вас и нас обманул безумный диктатор. И вы там, и мы здесь верили, что Европа, что весь мир пойдут на нас, не как враги, а как освободители. Нас обмануть было легче. Мы были принуждены самой жизнью верить, хотеть верить в лучшее. Вас оплели той же ложью, и, когда вы проснулись, отступление было только под расстрел или в немецкие кацеты. Но, когда мы узнали, чем занималась тридцать с лишком лет эмиграция, чем она занимается теперь — нам стало больно и обидно. Ведь мы и в вас верили. Вернее, мы прежде

всего верили в вас, в вашу жертвенность и в то, что вы в хорошем смысле эволюционируете, идете в ноту со временем и любите Россию для России, а не для себя.

— Мы, Николай Николаевич, встретились на Украине, в Крыму, в Смоленске, Пскове не только с немцами, нашими кровавыми слезами залившими затоптанные их сапогами нами же, им же преподнесенные цветы, которыми мы их встречали. Мы встретились и с русскими, эмигрантами, «золотыми фазанами», «зондерфюрерами» и «долметчерами», в угоду хозяину-немцу, в угоду своим притязаниям, своей злобе и жажде, за в каком-то году и месте содеянные злодеяния творившими новые злодеяния, поровшими несчастных голодных колхозников, не сдавших зерно победителю, убивавшими крестьян, поселенных на их помещичьей земле.

— Зло порождает зло. Преступление — преступление. Месть — отмщение.

— Ничего так не озлобило русского подсоветского человека, как предательство своих же русских. Эта война научила нас многому. Прежде всего — никому не верить! Мы поверили немцам и их союзникам и смертельно разочаровались. На нашем примере, на примере всех миллионов русских, выданных Сталину, мы научились не верить Западу.

— Мы знаем теперь, что Россия дорога и нужна только русским, что ее отсталость и разрушение — на руку ее мировым врагам.

— Мы знаем, что, если мы сейчас строим, то строим не для коммунистов и их укрепления, а для будущих поколений нашего народа. Но, одновременно с строительством цивилизации, мы должны строить и бастионы морального сопротивления, которое не сегодня — завтра, революционно или эволюционно, должны послужить для свержения коммунизма. Вспоминаю одного дружка-лямочника. Мою пару в восьмерке вьючных, впрягаемых каждый день в арбу.

Танкист. Красавец в прошлом. Теперь — руина. Когда брал Берлин, за храбрость и тяжелое ранение в грудь навылет получил ордена и чины. Два года не мог добиться отпуска из госпиталя в Германии. Два года не имел вестей из семьи. Наконец вернулся. Дома не нашел, семьи тоже. С трудом узнал об ее судьбе: отец в концлагерях, жена умерла в тюрьме, куда, как и старик, попала за коллаборацию с неприятелем (чтобы пропитать семью — мыла посуду в немецкой столовке). Дети куда-то увезены. Где-то помещены.

Майор не выдержал. Наговорил в комендатуре, чего не надо. Избил капитана МВД, ведшего дело жены и отца. Был человек —

статья нашлась. Оказалось, что он «поддался пропаганде капиталистов и стал агентом иностранной разведки и пропаганды».

— Никогда я коммунистам не был, — говорил он мне тихим, глухим голосом тяжелого легочного больного. — Родился при советском режиме и рос, как трава растет. Всегда влекла военная служба. Всегда любил свою страну, народ, язык, песню. За них воевал. О режиме старался не думать. Вот за это равнодушие и плачу сегодня. За равнодушие мое погибли жена и отец, гибнут ребята, которых мне не дали найти. Равнодушие, быт, будни, вопрос своего брюха и личного, маленького счастья — это то, на чем держится советская система. Хоть день, да мой! — говорили мы.

В Берлине Костя — танкист, мой дружок, встретился с эмигрантами, сов. патриотами. Они оставили у него самое тягостное впечатление.

— Если бы они были убежденными коммунистами, Коля, — говорил он мне со слезами на глазах, — я бы их понял. Ну, дурачье, поверило в эту преступную идею. Если бы они любили Россию, в самом деле, по-настоящему, такой, как она есть, в рубище, в кандалах — тоже я бы их понял. Ну, думал бы, идейно идут в петлю. Но они шли ползать. Те, кто мог летать, кто десятки лет жил, как человек, все читал, все знал, все видел. Те, кто спал спокойно, женился, создавал семью на свободе, имел открытые глаза. они шаркали ножками перед офицерами МВД. Они старались убедить в своей лояльности. Они каялись в содеянных и несодеянных грехах, не только своих, но и своих родителей, посмевших воспротивиться революции. Они отрекались от всего, что было раньше свято. Они стократ предавали свой народ, потому что именно ими, как лимонами, пользовались в смысле пропаганды, высасывали и бросали в сметье заграницы, или, привезя в СССР, швыряли в тюрьмы, а затем в лагеря.

С такими людьми и я встречался в далеких краях Сибири. Я понимал Костю — танкиста, плакавшего от боли, т. к., встретив их, и мне хотелось кричать и плакать. Но тем больше ценили подсоветские люди тех эмигрантов, кто не запачкал своего лица. Тем крепче становилась наша дружба и глубже уважение.

«Любить Россию для России». Умели ли мы, эмигранты, во всей своей массе называющие себя борцами против коммунизма, «любить Россию для России», или мы за самоваром, сохраненным в знак своей дани на алтарь патриотизма, за рюмкой водки, любили Россию для себя, представляя ее в боярском костюме, в жемчугах и парче, в золоченых хоромах! Не мечтали ли мы

только о чинах, орденах, поместьях и положениях? Не говорили ли многие из нас, что, когда вернутся, запорют потомков мужиков, второе поколение колхозников, за разбитый рояль, разграбленное имение, даже за пожары и насилия?

Как сказал мне профессор: Зло рождает зло. Преступление преступления, а месть — новое отмщение. Надо научиться любить Россию для России, и мне кажется, что я этому научился против всякой человеческой логики, не в дни эмиграции, в ряды которой я попал ребенком, а за одиннадцать страдных лет.

Надо стать непреклонным и непримиримым антикоммунистом, забыв партии, стремления и разделения. И мне кажется, что непременным и принципиальным антикоммунистом я стал именно там, встретившись одновременно и с палачом, и с рабом, с режимом и народом.

Какими ничтожными, маленькими, как песчинки в море, показались мне там и кажутся здесь наши партийные подразделения, группировки, междоусобная непримиримость и личные интересы. Какой жалкой кажется вся напыщенность лозунгов без идеалов, идеалов без почвы, политических программ без платформы.

Свободному миру коммунизм долго казался химерой, способной жить только «в степях России». Одни в него не верили, другие к нему стремились, — говорил мне инженер-химик, бельгиец, добровольно приехавший поделиться своими знаниями с СССР и ставший в кратчайший срок — высосанным лимоном, угодившим, как «агент, засланный иностранной разведкой», в спец-лагеря. Столкнувшись воочию с коммунизмом, человек начинает понимать, что является самой жуткой действительностью, с которой необходимо бороться. В свободном мире большинство так называемых «здравомыслящих людей», считающих себя не поддающимися заразе коммунизма, десятилетиями верили в то, что коммунизм — типично русское явление и в других странах не сможет привиться, совершенно забывая не только историю рождения коммунизма, но и историю его насаждения в России.

Мне, говорил бельгиец, невольно приходит в голову сравнение. Человечество, равнодушно смотревшее на потоп, и наводнение в другой стране, забыло о том, что оно произошло, взяв истоки на их собственной земле. Живя бок о бок с наводненным краем, оно, это свободное человечество, не думало о том, что «ветер возвращается на круги своя», и что потоп вот-вот захлестнет и его. Когда, наконец, опасность стала очевидна, начали строить всяческие насыпи, но все еще не в достаточной мере, недостаточным рвением и средствами. Думаю, что вода

коммунизма должна, в конце концов, слиться с земель русских, и тогда она вернется в другие русла, захлестнув тех, кто ему потакал, и кто его насаждал, да и тех, кто радовался чужому несчастию.

Живя в моей стране, — делился со мной один немец, — я всегда был склонен к теории о варварстве России, о некультурности русских, об особой отсталости царского строя, приведшего к коммунизму. Даже все творения русских гениев на всевозможных полях культуры, искусства и цивилизации не могли меня переубедить в вышесказанном. Майн Готт! — думал я: на 200 миллионов варваров должен же найтись известный процент Чайковских, Достоевских и Пушкиных. Виноваты были и ваши писатели, которых я узнал через переводы их книг. Вечное скуление над судьбой народа. Нигде нет свободы, — писали одни. — Укажи мне такую обитель! — вздыхали другие. Ваша аристократия, и во времена декабристов, да и в дни перед революцией, служила лучшим доказательством, что в России все неблагополучно, и что русский народ бросился в объятия коммунизма, потому что у него не было другого выхода.

— У меня, — продолжал он, — не было симпатий к русскому народу. Я его не знал и не стремился узнать. Я не шовинист и с удовольствием общался с западными иностранцами. Я не находил ничего предосудительного в вечном питье виски у англичан, в нашем немецком посасывании пива, в том, что французы приучают своих детей, чуть ли не с грудного возраста пить вино. Это — как пример. Но я всегда морщил нос и говорил, что все русские — пьяницы, и что они не могут жить без водки и нагайки.

Как и многие иностранцы, я постоянно говорил и сам верил в «русский империализм», считая, что захватничество лежит в самом народе и составляет основную черту его характера. Коммунизм в России казался мне явлением нормальным и логичным. Этого «русского коммунизма» я не боялся. В мирное время я встречался с представителями режима и, опять поморщившись, говорил: чего ожидать от них! Они — русские!

— Я не нацист, но нацизм я принял для Германии так, как коммунизм для России. Явление историческое, которому нужно подчиняться. Я шел по пути своей карьеры, не вмешиваясь в политику. Конец войны принес мне, как и всем людям, много неприятных дней и даже месяцев. Я оказался в советской зоне оккупации и стал серьезно ненавидеть коммунизм. Наконец, во мне, кроме пренебрежения, проснулась и ненависть к русским. И вот я был арестован и депортирован. Как и вы, как я все, прошел через мельницу МВД и крепко почувствовал тяжесть его жерновов. Ненависть росла. Но когда я попал, уже как

осужденный, в тюрьму, затем в лагеря, я встретился с настоящими русскими. С народом. Тем, которого я не знал и чьи особенности подводил под знаменатель — «водка, плетка, сапог».

— Здесь я невольно столкнулся с подробностями нацизма, которые не хотел знать и мимо которых проходил, скрывая уши и глаза. Я узнал о лагерях для военнопленных, о «кацетах», о зверствах в России, об «остах», сорванных с родных полей и завезенных насильно в Германию на работу. Не думайте, что я их всех не встречал в Штеттине и других местах. Не думайте, что я не проезжал мимо лагерей Гестапо и лагерей военнопленных. Но я был тогда только и исключительно — немец.

Здесь я стал человеком. Здесь я встретился с русским человеком. И, верьте мне, я узнал и полюбил его. Русского. Не советского слугу, а первую и несчастную жертву заблуждения. Своего и общемирового заблуждения.

— Если я останусь жив и вернусь домой, я буду первым поборником любви к России и ее народу и первым поборником его освобождения.

Мой приятель — немец жив и вернулся в Германию. Он исполнил свое слово. Он — друг русских и борец — антикоммунист.

Когда я, без карандаша и бумаги, в голове писал страницы моего дневника, я по ночам восстанавливал в голове все разговоры, все мысли. Они мне тогда казались такими важными. Они мне кажутся и сегодня неоценимой находкой.

Люди. Мысли. Чувства. Китайцы. Корейцы. Немцы. Французы. Англичане. Русские. Европа и Азия. Народы и религии. Все вместе. Под серым низким небом тайги. Гибнут. Борются и сродняются.

Там, в громадном «государстве в государстве», строится новый духовный мир. Всех уничтожить невозможно, а тот, кто переживет, он другими глазами смотрит на человечество, его стремления, идеи и ошибки. Там.

С 1954 года

Для того, чтобы удовлетворить любопытство людей, жаждущих кровавых сенсаций из жизни осужденных на ИТЛ, пришлось бы написать столько же томов книг, сколько имеет Энциклопедия Британика. Жестокость советских прихвостней неизмерима и многогранна. Подход их к «врагам народа» всегда одинаков. Я бы не хотел, чтобы создалось впечатление, что смерть Сталина и ликвидация Берии превратили лагеря в парки, а заключенных в нежно лелеемые цветочки на их грядках.

Изменения были. Там они нам казались исключительными. Перейдя границу СССР, человек видит, что перемены давали максимум пользы рабовладельцам и минимум рабам. Даже оплата труда не ударяла по карману главного предпринимателя, «дядю», т. е. государство. Вольнонаемных рук не хватало. Стоили бы они в десять раз больше. Для вольнонаемных с семьями полагались другие условия жизни, квартиры, питание, базары, магазины, средства сообщений и т. д. и т. д.

Все, что делалось — делалось к лучшему для коммунистов. Внутренняя подкладка их в те дни не интересовала. Они смотрели не в корень, т. е. нарост самонадеянности в рядах заключенных, а на листочки, цветочки и ягодки, которые они же собирали.

Рабовладельчество XX века цвело и цветет. Разница между уголовным лагерным элементом и «58» существовала и существует. Смертность заключенных никого потрясти не может: Русский народ жилистый. Растут новые поколения. Зреют новые ряды потенциальных политзаключенных. В России только народ меняется к лучшему. В СССР режим делает изгибы, но внутреннее его содержимое остается тем же.

Самое название лагерей — «Исправительно-трудовые» — не отвечает действительности. Об исправлении никто не думает. О труде — да! Труде муравья, закабаленного до конца срока. Если он не дохнет, оказывается и дальше работоспособным и нужным — «нужно найти человека, а статья всегда найдется» — срок продлить всегда можно. Но и без срока, заключенный, доживший до конца своего наказания, попадает в ссылку, на поселение, и принужден и дальше работать на завоевании белых пятен или целины. Каждый «контрик» — паршивая овца, которая может заразить стадо. Поэтому с этой «паршивой овцы» срывается не клок шерсти, а вся шкура, рожки и ножки.

Внутренние передряги в Москве и во всем государстве, о которых много и неоднократно сообщалось в мировой печати,

вызвали «реформы короткого срока», как их называли подсоветские люди. Эти «реформы» были одно время приняты в свободном мире за чистую монету. Казалось, эволюция поставлена на рельсы, и стоит ее толкнуть, она покатит прямо в рай.

Взлет и падение Маленкова, не закончившиеся его «ликвидацией», даже в СССР были приняты народом с некоторым удивлением. Маленков же остался жив в угоду Западу, т. е. «женевскому духу», который (в то время мы уже получали газеты) был принят с большим скептицизмом.

В 1954 году творители очередных планов стали лицом к лицу с серьезной проблемой расширения производства и стройки. Тогда вспомнили и о «пятьдесят восьмой». Один шаг назад. Первым сногсшибательным приказом Верховного Совета СССР было распоряжение снять с заключенных номера и «признать все человеческие права» за спецконтингентом, т. е. — за контриками.

Закрыть спец-лагеря и всех заключенных перевести на режим ИТЛ. Снять решетки с барачных окон, замки с дверей и дать все права граждан СССР (кроме права голоса, в смысле устройства открытых митингов, собраний и лекций по своему усмотрению). Разрешить и поощрять самодеятельные театры. Проводить контингентам культурно-просветительные лекции и политбеседы. Это был Указ № 1, вышедший в конце марта 1954 года и сообщенный нам в начале апреля.

Номера на одеждах нас не стесняли. Мы их носили с гордостью, но новая линия правительства требовала кардинальных мер. Только Берия (говорили нам волки в овечьих шкурках) мог додуматься до такой преступной идеи. Только в немецких «кацетах», только Гестапо так унижало человеческое достоинство. Режим действительно переменился. Лагеря потеряли облик тюрем. В жилой зоне прокладываются аллеи для прогулок, засаживаются деревца, даже чахлые цветы. Сами заключенные любовно строят фонтаны. Советским гражданам разрешили писать, сколько угодно, писем не только родным, но даже и знакомым. Конечно, большое количество писем не доходило, и ответы тоже приходили в разнобой, но во всем винилось не лагерное начальство и его цензура, а почта. Мало того. Разрешили и даже уговаривали писать жалобы в Верховный Суд СССР, в ЦК КПСС и т д. и опротестовывать приговор. Лагерное, местное начальство никогда не отказывало в приеме двух и трех жалоб, адресованных на высшие инстанции, даже всячески уговаривало заключенных: Пишите! Пишите в Москву! Жалуйтесь на неправильность решений, ваше дело пересмотрят. Все знают, что между вами здесь сидят невиновные, по доносам

осужденные. Это вам не Берия сегодня! Там люди сидят!

За весь период моего пребывания в Омске, дай Бог, чтобы от трех до пяти процентов осужденных освободились, или получили сокращение срока. Остальные даже ответа на жалобы не получили. Успех имели, главным образом, бывшие партийцы.

Открыли нам клуб. Опять стал я играть в театре, в котором женские роли игрались мужчинами. Стали к нам приезжать лекторы. Помню первые темы «Коммунизм в СССР», «Внешнеполитический разбор за 1954 г.» и «Религия и ее происхождение» (антирелигиозный бред лектора), прочитанная нам после выступления Хрущева с заверениями о свободе вероисповеданий в СССР. Наш лектор, по хрущевскому рецепту, говорил о том, что веру не надо искоренять силой. Она сама вымрет, но лучше своевременно научно доказывать всю абсурдность религий и убеждать людей в порочности их заблуждений.

Затем нам стали отливать пули лекциями вроде «Новые льготы для колхозников в СССР», «За мир между народами», «Внешняя политика США» и «Миролюбивая политика СССР». Лекторы нас заверяли, что Москва «стала лицом к заключенным» и старается всеми средствами доказать, что она готова в полной мере загладить ошибки Сталина, и что заключенные должны забыть старые обиды, помня, что они прежде всего — советские граждане и патриоты, (хороши патриоты после 25 лет каторги) что они скоро выйдут за проволоки лагерей и вольются новой силой (?) в большую семью советского народа и станут полезными членами государства.

Имя Сталина забыто. Его вообще не произносят перед заключенными. Портреты его исчезли со стен контор и штабов. Всюду заулыбалось монгольское, дегенеративное лицо Ленина. Мне могут не поверить свободные люди, но в тот период, если у лекторов по привычке срывалось с языка имя «великого корифея всех наук», раздавались свистки, и лектор извинялся с застенчивой улыбкой на лице: Извиняюсь, граждане! Это по привычке. Сразу же нельзя забыть и отвыкнуть!

При каждой колонне был основан специальный «политотдел», для «перевоспитания» политзаключенных, вместо палки и изолятора, льстивой, липкой пропагандой.

Нас убеждали, нам доказывали, что заключенные — люди, а не вьючные животные. Для окончательной убедительности нововведений, политотдел получил санкции контроля над лагерным МВД.

Изумительной гибкости политотдела мог позавидовать любой акробат, любой жонглер. В прежние времена, если заключенный

по болезни отказывался идти на работу и, зная, что лагерный «лепила» — фельдшер, его от работы не освободит, прятался, его избивали до полусмерти (жизни давали) и садили полуголого в ледяной изолятор минимум на десять дней.

В дни расцвета «новой эры», заключенные могли жаловаться начальнику политотдела на своих надзирателей, бригадиров, и на начальство повыше, до управляющего лагерем. Больные оставались лежать на койках. К ним вызывали кого-нибудь из медсостава и, если он не симулировал, его лечили. Если он жаловался на непосильную работу, переводили в другую бригаду, на другой труд. С августа 1955 года лагерные изоляторы пустовали. Месяцами — ни живой души. Он служил теперь для наказания лагерных воришек, пойманных с поличным, и злостных пьяниц, которые там отсыпались. В лагере появилась водка, сначала из-под полы, а затем почти явно, и пьянство «в меру» не преследовалось. На лагерных досках выписывались лозунги и призывы. В клубе — портрет Ленина окружали портреты улыбающихся членов ЦК. 1 мая и 7 ноября вывешивались красные флаги.

Не могу сказать, что все новые меры вызывали у нас воодушевление, в особенности у вкрапленных в среду советских граждан эмигрантов и иностранцев, но, в общем, мы старались закрыть глаза на то, от чего нас воротило, и радовались возможности сохранить свои силы и жизнь.

Мы ходили только на те лекции, которые ничего общего с коммунистической пропагандой не имели, и на антирелигиозные, для того, чтобы с размаху усаживать лекторов в лужи. Сами политические из подсоветских тоже крутили головами и говорили:

— Думаете, это — воля? Враки. Все это на срок! Забор остался забором и срок сроком.

Большую перемену в нашу жизнь, конечно, внесла выплата заработанных денег на руки. Система была довольно простой. Производство обращалось в лагеря, как на какую-то биржу труда. Заводы, фабрики, стройки присылали своих нарядчиков, которые сообщали, сколько и каких рабочих им нужно. Нас гоняли на работу. Вознаграждалась она по ставкам, или «сеткам», как их называют советские, которые получали и вольнонаемные. Скажем, землекоп за 1 куб. метр выброшенного грунта, в зависимости от категории земли (песок, гравий, мокрая глина) получал от четырех до восьми рублей. На этой базе производство рассчитывалось с лагерем через банк.

Особые специалисты, а также и рабочие, во много раз, при помощи туфты и начальства, перевыполнявшие нормы, могли

выработать в месяц до 2000 рублей, по вольнонаемной «сетке». Строительство или завод отправляли его зарплату полностью на его имя через казначея лагеря. Там делался перерасчет. Рабочий уже не получал по вольной ставке, а по специальной, лагерной: 51–61 % высчитывается в пользу государства, т. е. МВД. Вместо 2000 рублей в плат-списке ставится 950. Из этого лагерь задерживает себе, за пропитание, одежду, подоходный налог (5-10 %), еще рублей 220. Чистого заработка остается 720.

Я взял самый высокий пример. Средний заработок «на руки» обычного рабочего можно было считать рублей 80–150. Мотористы, электрики, механики, маляры гнали до 300–400.

Знаменитый советский «дядя» — государство, делал громадные дела. О таком обирании рабочих не могли мечтать ни в одной самой распрокапиталистической стране, но по всему миру стали сообщать радостные вести о том, что в самой счастливой стране, СССР, нет рабского труда, и любопытным иностранцам показывались платные списки производств, над которыми еще не была произведена манипуляция «дядиных приказчиков».

На полученные деньги заключенные могли купить в лагерном ларьке продукты для питания, курево и «экстра-одежду». Обычно мы стремились захватить, как можно, больше белого хлеба и сахара. Но, к нашему горю, эти продукты были и на воле дефицитными, и нам приходилось стоять в очередях и не всегда добиваться желаемого. Покупали пшено, которое варили с маргарином, рыбные консервы и все то, что можно было захватить в ларьке. Эти добавки к лагерной баланде в некоторой степени поддерживали организм людей, но большинство, не слушая голоса разума, тратило свой заработок на табак, а не мало и на водку, заливая свое горе.

Вскоре ввели еще одно новшество — коммерческие столовые. Можно было отказаться от лагерного «стола» и получить деньги за пропитание на руки. При хорошем заработке рублей в 400, прибавив к ним 110 за лагерную «жратву», можно было в столовках завтракать, обедать и ужинать за 400 рублей. Человек был сыт, ел борщ, даже с мясом, белый хлеб, и ему оставалась сотня на пропой души и табачок.

К концу 1955 года (я в то время уже был в Караганде, в г. Чурбай-Нура) из 900 человек нашего лагеря 700 отказалось от пайка. Это доказывало, что заработки были приличными. По воскресеньям можно было видеть чисто одетых людей, правда, в простой, рабочей, но «праздничной» обмундировке и даже бритых. В лагерях открыли парикмахерские. В баню попадали каждую неделю. Для рабочих на грязной работе были постоянно

открыты души. Культорги работали на полный ход. Появились киноаппараты. В месяц давались две картины бесплатно, и можно было посетить еще четыре, по рублю за вход.

У людей свободного мира должно сложиться странное, противоречивое, ошибочное мнение о «переменах» послебериевского периода.

Что-то не то! Чересчур уж хорошо. Значит, действительно в СССР нет больше концлагерей? Свобода?

Все почти осталось по-прежнему, только «хозяин» пришел к заключению, что правы были американские рабовладельцы, заботившиеся о физической крепости и силе своих верных рабов. «Дядя» тоже решил, что сильный вол в два раза больше вспашет, чем тот, который и борозды протянуть не может. Численность лагерей не уменьшалась. Количество рабов — тоже, но правительство Хрущева — Булганина, побывавших в Женевах, Югославиях и Индиях, произвело переоценку ценности рабского труда, да и не его одного, а внешней политики, и действительно «одним взмахом семерых убивахом».

Лагеря исчезали с поверхности земли не потому, что отпустили заключенных, а потому, что работы на этом месте были закончены. Тех же заключенных отправляли дальше. Они строили новые турбо-станции, дамбы, прокладывали пути, нефтепроводы и т. д. и т. д. Но, если по старому пути, в пульмановском вагоне, ехал какой-нибудь иностранный журналист, дипломат, член парламента, просто коммерсант или турист, им через окно показывали на место и говорили: Тут знаете раньше был лагерь. Исправительно-трудовой лагерь. Но он уничтожен! Новое веяние. Мы сами увидели.

И эти «очевидцы», приезжая домой, в пух и прах разбивали статьями в газетах, лекциями и через радиовещание, все теории о рабстве политических противников в СССР.

Нововыстроенные заводы посещали инженеры и техники из свободных государств, и им показывали девственные списки зарплаты заключенных, сейчас же переводя их на покупную силу рубля по сравнению с долларом или фунтом, и знатные иностранцы разводили руками.

Мы же? — Мы все еще сидели за проволокой и забором. Нам не скостили ни одного годика со срока. Мы были лишены свободы и все развлечения вызывали у нас одну горечь. Кинокартины к нам приходили остро коммунистического пропагандного характера. Газеты — их же. Радиопередачи — их же!

В апреле 1954 года вышел Указ № 2, а вскоре и Указ № 3. Нам сообщили, что Президиум Верховного Совета СССР решил,

что: Лица, совершившие преступления до своего совершеннолетия, примерного поведения в лагерях ИТЛ (в быту и на работе), имеют право на досрочное освобождение, если их, после отбытия одной трети срока, предложит лагерное начальство.

Областной суд рассмотрит дело и может освободить такое лицо из-под стражи условно-досрочно. Если, по выходе на свободу, до календарного конца своего срока, он снова совершит преступление, то ему зачтется недосиженное время, с прибавлением срока за новое преступление. Считалось, что этот Указ явится большим стимулом для поднятия уровня дисциплины в лагерях, но, поскольку мне известно, из нашего лагеря, в котором находилось порядочно несовершеннолетних, было освобождено всего 12 человек.

Указ № 3 был аналогичен второму. Касался он совершеннолетних преступников. Им полагалось отсидеть две трети срока. Получившие «десятку» должны были тянуть лямку минимум шесть лет и четыре месяца. О «катушках» и не говори. Указ был безусловно однобоким. Взять хотя бы мой пример. Я был немецким офицером, был выдан в 1945 году, быстро прошел через чистилище Лубянки и других тюрем, следствие и суд и получил 10 лет. Подобные мне люди, выданные в 1946 и даже в начале 1947 года — а такие случаи были — попадали в более медленную волну, и их судили в 1947 — 48 гг. Они получали 25 лет за то же преступление.

Из среды военнопленных, отсидевших в СССР в этом свойстве до 1949 года, было в заключении выужено не мало жертв, которых не хотели возвращать домой. Они отсиживали, как военнопленные, четыре и больше года. В 1949 году они шли под суд, как «военные преступники», и по принципу того времени, меньше 25 лет не получали. Итого — почти или даже больше 30 лет из их жизни выбрасывалось под ноги советскому молоху. За что?

По этому знаменитому Указу № 3, из нашего лагеря, состоявшего из 990 человек, в течение двух лет было выпущено досрочно на волю (условно) 40 человек. Все — советские граждане. Иностранцам этой «воли» не давали. Но известное действие «указов» почувствовалось. Развились зависть, подозрительность и известный процент недружелюбия. В особенности, когда на релятивную свободу был выпущен довольно крупный советский деятель, попавший в чистку, а его шофер, арестованный по тому же делу позже, остался досиживать свой двадцатипятилетний срок. Вся тайна лежала в том, что шеф сел до перемены закона в 1947 г., а шофер позже. Один получил

десять, а другой двадцать пять лет. Удивительно просто решала дела богиня советского правосудия!

Наконец, появился указ об учете рабочих дней. Он дал заключенным что-то реальное. Учет рабочих дней шел тоже для досрочного освобождения. Несмотря на сложность пунктов этого указа, мы с невероятной быстротой в нем разобрались и вытягивали из него самый большой процент выгоды.

Эту систему я постараюсь объяснить. Если заключенный работает на основных работах, то за выполнение на 111 процентов ему за один проработанный день причисляется еще один плюс. Основной работой называются, к примеру, следующие. Работник, кладущий из кирпичей стену, считается исполняющим «основную» работу. Подносчик кирпича — вспомогательную. Управлять экскаватором — основная, наливать масло — вспомогательная, подвозить горючее к агрегату — вспомогательная. Зачеты для вспомогательных рабочих делались наполовину меньше: полдня, вместо целого.

Для основной работы была дана подробная таблица:

1. За 111 % выработки 1 день плюс 1 день, т. е. 2 дня зачета.

2. За 121 % выработки 1 день плюс 2 дня, т. е. 3 дня зачета. Рабочий с зачетом 24 рабочих дней, имеющий средний месячный процент не ниже 121, получает полный зачет 24 плюс 48 дней. Таким образом, за один месяц похвальной работы можно списать три месяца сидения. За год — три года. За три года и несколько месяцев можно было (теоретически) закончить десятилетний срок. За восемь — целую «катушку».

Конечно, в то время все это сильно пахло теорией, и никто не знал, во что это выльется на практике. Все зачеты могли быть задержаны переводом на вспомогательную работу, штрафами, повышением норм и пр., но на этот раз нам всем показалось, что мы все же получили что-то реальное, и все стали «наворачивать» зачеты. Люди работали, как волы, однако, вскоре стали наталкиваться на разные «но». И тут смекалка помогла. Каждый из нас знал, что нужно вольным мастерам. Стали совать взятки, отказывая себе во многом. Не интересовал больше заработок, а сокращение срока. Они писали радужные письма домой и получали не менее радужные ответы.

У меня был дружок, который часами плакал от умиления над арифметическими вычислениями его никогда не виденного им сына, родившегося после его ареста и поступившего уж в школу. Мальчонка крупными цифрами выписал свои исчисления, когда же он увидит отца.

Интересно отметить, что эта «реформа» фактически касалась на первом месте нас, 58-й статьи. Она считалась первой льготой

«контрикам» за все время существования концлагерей. По письмам, которые приходили теперь более или менее регулярно, и, по словам пополнений (пусть люди не думают, что в СССР сразу же потекли молочные реки между кисельными берегами), мы узнавали, что Москва идет на многие жертвы для успокоения общественного мнения.

Уход со сцены такой преступной, но и такой большой фигуры, как Сталин, действительно в стальном кулаке державшего и народ и партию, пустое место после Берии, который достойно закончил плеяду типов от Дзержинского и до своего предшественника Ежова, поколебали незыблемые, казалось, устои коммунистического террора. Ему пришлось отступать. Либерализм выставлялся на каждом шагу.

Мы, конечно, и понятия не имели, что уже в то время в Москве шли разговоры и предположения о возвращении известного количества иностранцев и даже эмигрантов заграницу, и вот эти возвращенцы должны были, под влиянием опьянения свободой, на всех углах и перекрестках утверждать с пеной у рта, как переменилась система в СССР, насколько он гуманен и миролюбив.

Вскоре появилось еще одно новшество. При каждом лагере образовался «Совет актива». В актив выбирали человек 12–15 заключенных, происходило это на общем собрании, открытым голосованием, и он становился посредником между начальством и нами. «Выборы и комбинация кандидатур — свободные!» Так гласил лозунг. В действительности дело обстояло иначе. Начальство старалось подобрать людей, с которыми «можно работать», и которых фаворизировало МВД.

Выборы проводились в Клубе при большом стечении заключенных. Кандидатуры МВД терпели полный крах. Кандидатам, да и начальству в лицо говорили: Не верим мы Петру Петрову. В прошлые годы он с чекистами заодно шел. Стукачем был. Хватит! Другого хотим!

Начальство отмахивалось, но молчало. Проводили в большинстве случаев наших людей, но в общем, все это было фиктивно. «Совет актива» мог добиться «аудиенций», мог хлопотать, передавать желания, жалобы, но решающего голоса не имел.

Все же актив дал нам известную опору в решении мелких дел, как кражи, драки, пьянство и т. д. Как это ни странно, МВД лагерей в такие дела больше не вмешивалось, и они решались активом. Наш «совет» пробовал действовать в направлении хлопот о досрочном освобождении, но, конечно, успеха не имел. МВД в глаза говорило одно, но действовало по-своему, и часто мы

слышали крылатое: чем бы дитя ни тешилось лишь бы работало.

«Совет актива» был, в сущности говоря, почти мифом. Люди существовали, встречались, заседали. Люди имели права, полученные по приказанию из Москвы, и даже как бы могли решать судьбы своих собратьев — заключенных. На бумаге — да. Но в действительности все сводилось на лагерную толчею в ступе. Ну, как дать права совету актива? А что, если они что-нибудь такое накрутят, и лагерное начальство проморгает? Что тогда будет? Легко им, заключенным! Все равно, сидеть должны. Но каково начальству?

Краснопогонные эмвэдисты никак не могли согласиться с «самостоятельностью» актива, и в многих лагерях его значение было сведено буквально на нуль.

1954 год был знаменит своими указами. Самым же значительным для нас, бесподданных и иностранцев, было приказание МВД составить срочно списки и вывезти людей в специальные лагеря.

Первое подобное распоряжение было прислано из Москвы еще в августе, но ему почему-то не было дано хода. Вероятно, местные МВД, почесав затылки, решили, что Кремль может передумать. Однако, из центра пришло второе приказание. Заработали жернова, срочно составились списки, и в сочельник католического Рождества 1954 года нас погрузили в вагоны.

Эшелон по-прежнему был эшелоном, но это уже не были спецвагоны с клетушками, в которые без воздуха, без воды и без оправки на длинные переезды впихивали доходящих людей. Вагоны были теплушные, оплетенные проволокой, но отношение было совсем другим. На станциях нас выводили оправляться. Под конвоем, конечно, но конвой относился, я сказал бы, предупредительно. Нас выслушивали и шли навстречу нашим оправданным жалобам или требованиям. На наши деньги (нам выдали их при переводе целиком на руки) нам покупали в станционных ларьках продукты и табак. У нас уже отросли волосы на четыре см. и были сделаны проборы, чего мы не видели девять долгих лет. Мы были одеты в новенькие рабочие костюмы. Нам разрешали иметь часы, за которые в 1945-54 гг. можно было получить до полугода строгой тюрьмы, т. к. они были приравнены к компасу или средству для побега.

В число «иностранцев» должны были попасть все русские, граждане иностранных республик, подданные королевств, но некоторых это не коснулось по их собственной вине. Назову двоих, оставшихся навсегда в СССР.

Племянник генерала Врангеля, бельгийский подданный, служивший во время войны в немецкой строительной

организации «Тодт», попал в советский плен в Латвии. Он скрыл вначале свою фамилию и долго не говорил о своем бельгийском подданстве. Его и записали на первых порах, как советского подданного, скрывавшего свою личность. Впоследствии он предпринял все шаги, чтобы доказать, что он Врангель и бельгийский подданный. В том, что он Врангель, ему охотно поверили, но доказать свое подданство он не мог. Из лагеря для иностранцев нам разрешили писать открытки за границу. Первая моя открытка, посланная 29 декабря 1954 года моей кузине, гр. Хамильтон, в Швецию, была ею получена в начале июня 1955 года. Бедному Врангелю было трудно связаться с родными и друзьями. Он остался в СССР, как советский гражданин.

Подобный случай был и с Николаем Рагозиным, моим приятелем, из Югославии, скрывшим с самого начала свое югославское подданство. Его даже не включили в списки «иностранцев» и не выслали вместе с нами из общего лагеря.

Многие русские люди, имен которых я предпочитаю не упоминать, ибо их судьба до сих пор еще не решена, в дни катаклизма, в мае, и позднее в 1945 году, предпочитали молчать, скрываясь в общей массе подсоветских, считая, что этим смягчат свою судьбу. На их протесты в 1954–1955 году, им отвечали: Вы хотели быть советскими подданными в 1945 году, смотрите, вот ваши показания! Почему же вы теперь меняете мнение?

Поздно, голубчик. Мы вас признали своим.

Подобные трагедии были и с иностранцами. Многие австрийцы были записаны как граждане третьего Рейха. Когда первыми стали отпускать австрийцев, они подняли крик. Им было легче. Они связались со своим государством, и их настоящее гражданство было без труда утверждено.

Были случаи, когда люди оставались в общих лагерях по своему собственному желанию, но это были единицы. Думаю, что они действительно насолили в своих государствах и предпочитали, отсидев срок, остаться в СССР, чем, попав на родину, снова отвечать и садиться в тюрьму на неопределенный срок. Правда, в те дни было трудно открутиться от отправки. Мало кого о чем-нибудь спрашивали. Директива из Москвы говорила — сконцентрировать иностранцев и бесподданных в особых лагерях, и их туда сливали, как помои из ведра.

Из Камышлага МВД города Омска № 125 выслали в декабре, как я уже сказал, 800 человек. Наше новое место назначения, конечно, держалось в тайне, но лагерная «параша» нам точно сказала, что мы едем в Карагандинскую область— поселок Чурбай-Нура.

Лагерные всезнайки сообщили, что это район шахт, и что

наша новая работа будет хорошо оплачиваться. — Работа? — А когда же домой? На этот вопрос мы не могли ждать скорого ответа.

Мы читали газеты. Конечно, «Правду» и «Известия» на первом месте. Мы слушали радиопередачи, и мы обсуждали все «реформы» 1954 — 55 года. Мы их не могли не обсуждать.

В первые дни у нас был сумбур в голове. Тощие и несчастные, мокрые и холодные, оборванцы, облепленные номерами, мы, конечно, каждое благодеяние СССР принимали с оглядкой, но и радовались им, как маленькие дети. Советские граждане казались нам, вкрапленным в их ряды настоящим и псевдоиностранцам, баловням судьбы. Они имели здесь, в СССР, свои семьи. Они могли сократить срок и ехать домой. Для нас же сокращение срока не представляло на первых порах никакой радости. Куда? На поселение? В Сибири или в Центральной России у нас никого близкого не было, и СССР для нас как ни кинь, был громадной тюрьмой. Мы стремились не на «советскую волю», а на свободу.

Приоткрывшаяся для нас «форточка», безумная тогда еще надежда на скачок в пространство заставили нас присмотреться: к чему это все ведет. Мы не верили добрым намерениям СССР. Вернее сказать, мы не верили в альтруизм этих намерений. Одни предполагали, что нам будут предъявлены какие-нибудь условия, пахнущие «пятой колонной». Другие видели во всем какой-то подвох, говоря: Сегодня Чурбай-Нура и реклама на весь мир, а через год опять 70 параллель и макаронная походка!

Газеты стали открывать нам глаза. Немцы, австрийцы, те же югославяне, поляки, всевозможные иностранцы, да и мы, русские, среди них — мы все являлись разменной монетой. Нами в 1945 году расплатились англичане, американцы и французы. Нас, в виде сдачи, возвращал СССР.

Со дня смерти Сталина СССР дал трещину. Его здание лопнуло от верха до низу. Самая же глубокая трещина скрывалась в его фундаменте, в основании коммунистического хозяйства, т. е. того, чем он старался больше всего прельстить неофитов в свободном мире. Жить в изоляционизме больше нельзя. Нужны товарообмен и открытые двери. Нужно срочно убеждать Запад и весь свободный мир в переменах к лучшему. Одного убийства Берии мало. Снова убивать — нельзя. Нужно срочно надеть маски и скрыть свое волосатое, звериное тело под белыми простынями.

СССР нужны был и Бонн, и Вена, не говоря уже о поддерживании женевского духа с Вашингтоном и Лондоном. Необходима экономическая связь с нейтральной, но СССР симпатизирующей Индией, Бирмой. Нужна опять обиженная Югославия с ее Тито. Нужна Канада, Норвегия, нужна Новая

Зеландия и Австралия. Нужна, черт подери, Южная Америка. Не для мирного сосуществования, а для заделывания бреши, для постройки фундамента, для военного трамплина. Все поездки «близнецов» Булганина и Хрущева, все их заигрывания и улыбки вели к одному — обману.

Как на все это смотрел подсоветский народ?

Дайте ему на вершок распустить поясок, дайте ему хотя бы иллюзию собственности и спокойного сна, и он будет тянуть свою лямку, но с одним изменением. Раньше можно было в дни НЭПа отпускать, а затем снова затягивать пояс. Можно было производить катастрофические чистки и раскулачивания. Теперь мне кажется, только особая, высшая сила может отнять у подсоветских людей раз заполученные, хоть и жалкие, но привилегии.

Как смотрели на все это заключенные?

Они принимали каждое улучшение с недоверием, но всасывала его в себя, как губки, не веря в вечность этих реформ и торопясь набраться сил для того, чтобы защищаться, в случае поворота колеса на прежние рельсы.

Каждый спросит меня: не было ли к нам, выделенным в особые «иностранные лагеря» людям, зависти со стороны подсоветских? В общей массе — да. Вы, мол, счастливые, уйдете отсюда и станете людьми. Но те, кто побывал заграницей, — я думаю о тех, кто был выдан, насильственно возвращен в ту тюрьму, из которой он в дни войны вырвался — те нам не завидовали.

Вспоминаю мое прощание с одним власовцем, простым солдатом, потомственным русским мужичком. Невольно, как бы стыдясь своего возможного счастья вырваться отсюда, увидать свободу, своих близких, обнимая его, я смущенно сказал:

— Мне жалко, Васюта, что ты остаешься здесь. Вот бы нам с тобой на свободе пожить!

— Это ты о каких свободах, Миколай, говоришь? Об иностранных? Датуды их растуды, с их свободами! Ты что думаешь, что я с немцем пошел, чтобы в заграницах жить? Мне для ча воля нужна, для себя ль, что ли? Чтоб баварское пиво пить и с баварской бабой спать? Я с покойным Андрей-то Андреичем за народ и Россию шел. Раз нас продали немцы. Второй раз англичане, так что б нас опять христопродавцы? Нннет, Миколай, пусть уж меня дома лупит свой русский кнут, чем английская резиновая палка, как тогда, при выдаче!

И на таких Васют СССР стал смотреть другими глазами. Зачем их уничтожать? Пригодятся. В особенности те, кто по возрасту еще хоть в ополчение пойдет. Не только он сам в плен не

сдастся, но и другим не даст. Отговорит. Пристрелит.

Благодаря Гитлеру, благодаря Рузвельту и Черчиллю, не СССР, а Россия окружила себя бастионом недоверия, траншеями национализма и патриотизма.

— Никто нас «освобождать» не пойдет! — говорили бывшие власовцы, да и не одни они, а те, кто прошел через Европу в рядах советской армии во время войны и позже.

— Кому Россия нужна? Только нам, русачам. Остальным она бельмом в глазу торчит. Коли освобождаться будем, то сами и для себя, а пусть коммунизм к ним в гости едет. Мы нахлебались его большой ложкой, пусть они его мисками жрут!

Много таких разговоров было. Не только с заключенными, но с молодыми «вольными», с которыми я встречался в Чурбай-Нуре позже. Не берусь все цитировать. Не берусь их анализировать, но мне кажется, что в двух, мной приведенных — вся правда.

Все те, кто думает, что «Никитка — Хрущ» — Иванушка Дурачок, ошибаются. О Никиткином пьянстве говорят и в СССР говорят равнодушно. Кто в СССР не пьет? В шкалике в 200 граммов скрывается и отдых и забытье. И Никита забыться хочет, а одновременно, если говорит дерзости иностранным дипломатам трезвый, могут они и обидеться, а с пьяного что взять, когда все эти дипломаты войны боятся.

Никита Хрущев и Булганин — как кот Васька. Слушают, читают ноты протеста и едят. Съели они уже многое. Ко многому протягивается их сверху бархатная, а снизу когтистая лапка. Что дома, у себя, волей — неволей отдадут народу, то с других народов и стран сорвут.

С 1954 года правительство решило приступить к ликвидации недохвата. Кукурузы, целины, стройки. Глаза замазывали. Нужно было покончить с жил-проблемой. Стали строить блок-дома. При помощи кранов, заключенных и вольных рук, стали громоздить жил-ящики целыми блоками, т. е. из готовых деталей Все эти типовые блочные проекты ни к чему не годились. В сумасшедшей гонке, в домах забывали прокладывать канализацию и водопровод. Иной раз по ошибке не оставляли места для лестниц. Не те, видите ли, детали пришли. Но, несмотря на это, народ, как тот дурак, что красному рад, радовался и этому начинанию. — Сегодня плохо, наспех, завтра лучше, а вот внучата мои уже в настоящих домах жить будут! — говорили, добродушно улыбаясь, вольные, которые строили с нами дома.

Появились радиоприемники в большей массе. Часы. Фотоаппараты. Все стоило и стоит втридорога, но, если люди 40 лет не имели возможности снять свою семью на фотокарточку или подарить сыну ручные часы, если они могут писать

самопишущими ручками и — верх совершенства — хоть два часа в день, хоть плохую программу, но в рабочем клубе смотреть телевидение — разве можно осудить того, кто этому радуется? И радуется где? У себя дома, на родине!

Для того, чтобы описать все перемены внутреннего, экономического и политического общественного порядка с 1954 года до момента моего отъезда, опять нужно было бы издать отдельную книгу. Я только вкратце упомянул о том, что больше всего интересует сегодня русский народ. Иллюзия свободы. Иллюзия собственности. Немного самого дешевого комфорта и возможность содержать свою семью. Пока — это все. Однако, как я заметил, материальное, даже совсем относительное благополучие является той базой, на которой развиваются духовные потребности, размышления, переоценки ценностей и новые стремления, ничего уже общего с сытым желудком не имеющие.

И в лагерях и на воле, тот, кто не «доходит», кто не думает все время о том, как бы ему достать гнилую кочерыжку капусты или горсточку соленой, вонючей хамсы, тот начинает размышлять, и размышления заводят его далеко. Гораздо дальше, чем этого хотел бы Никита Хрущев, весь ЦК, все МВД.

«Воля»

«Свобода» и «воля» — два совершенно различных понятия в СССР.

Свобода имеет громадное, почти недосягаемое значение. От советской «воли» у меня создалось какое-то безотрадное и серое впечатление. В СССР люди живут «на воле», заключенные выходят «на волю». «Воля» — это что-то ограниченное, ибо свободы там нет. Первое мое представление о «воле» я вынес еще в дни моего пребывания в Мариинске.

Большой город, многолюдный. Постройки деревянные, давно не видевшие ни известки, ни краски. Новые постройки принадлежат, главным образом, МВД, его предприятиям. Они выделяются, как вставные зубы во рту, полном гнилых корней. В порядок приводятся только те здания, которыми заинтересовано государство. Мариинск окружен лагерями и колхозами. Мы, заключенные, работали и в колхозах, и в совхозах и точно определяли разницу между ними.

Совхоз — государственная затея. Баловень. Туда отправляется все самое новое и лучшее. Колхоз — пасынок у злой мачехи, дойная корова, обреченная на смерть. Впечатление от колхозных сел и деревень — ужасное. Хаты покосившиеся. Крыши дырявые. На них не хватает дощечек, и переплеты чердака напоминают оскал черепа. Заборы, если таковые есть, покосились, упали. Выдернуты и сожжены почерневшие планки.

В колхозах нет новых домов. Их некому строить. В колхозах только старики, бабы, да ребята. Вернувшиеся с войны мужчины разбежались, куда глаза глядят. Их калачом к семье не загонишь. Не потому, что они семью не любят, а потому, что это было единственной возможностью как-то раскрепоститься.

На весь колхоз бывает только один новый, опрятный дом: это Управление и при нем клуб. Все, что достраивается колхозниками и с ними поселившимися бывшими заключенными, это землянки.

Я видел в СССР пропагандные фильмы, говорящие о сахариновой жизни в колхозах. На самом же деле не только нет коньков на крышах и петушков на ставнях окон, но, как я сказал, нет простой опрятности, следа женской руки или опытного глаза хозяина.

Спрашиваю: Почему вам хатку не привести в порядок?

Отвечали: А для ча! Не мое же! И так семь шкур дерут, зачем же время и силы тратить?

Около нашего лагеря, в Орлово-Розовом было большое село, родившееся в далекие, прежние времена. Теперь это

значительный колхоз. Все на учете. Посередине села — каменное здание: прежняя церковь. Крест давно снят. Купол облез и продырявлен. Окна заколочены. На дверях громадный ржавый замок. Были еще сталинские времена. Я заинтересовался и спросил: что там, в церкви? — Зерно, — говорят, — хранят!

Никакого зерна в церкви не было. Через проржавевший купол дождь заливал всю внутренность здания. Просто кто-то когда-то решил, что «религия — опиум для народа», повесил замок, а снять его некому. Пристал к колхозникам: разве их церковь не интересует? Получил осторожный ответ:

— Кто в Бога верит, тот и дома молится, а кому коммунизм мозги завернул, тому все равно, где на баяне играть и водку распивать. Пусть лучше пустая стоит, чем под клуб отдадут. Вот тут по соседству, в другом селе, церковь комсомолу отдали — гам и безобразничают.

Сараи, в которых хранится колхозное имущество, жуткие. Дыры да трещины. Зерно свозится прямо на станцию и ссыпается на землю — кровь и пот человеческий, — и лежит оно под дождем и снегом, пока кому-то заблагорассудится назначить погрузку в вагоны. Прорастает, гниет. А вот попробуй задержать сдачу, или укрыть, — лагерь так и ждет, ворота разинув.

«Здание» местной мастерской, в которой производится зимний капитальный ремонт сельскохозяйственных машин, не отапливается. В окнах нет стекол. Дыры заткнуты промасленными тряпками. Бедные механики, работая на ремонте, греют руки у «буржуек» или просто на костре. Отремонтированные тракторы и комбайны выводятся на улицу и «замерзают» на всю зиму под открытым небом. К весне все проржавеет, попортится. Ремонтируй опять.

В сибирских колхозах все модели машин — 30-х годов. Новых, вроде С-80 нигде не встретить. Зато совхозы на целинных землях получают все самое новое и лучшее. Результат плачевный. Все «добровольные» работники из СССР и те, кого привезли из Харбина и Шанхая, понятия не имеют о машинах и не умеют работать.

Машины в кратчайший срок приводятся в состояние полной негодности. Стоят на откосах, как огородные пугала, как символы экономической разрухи. С «добровольцев» взятки гладки. Мы, говорят, не умеем. Нас нужно научить. Будете ругать — уйдем.

«Заграничники» же трясутся от страха и своей тени боятся. Лучше будут мотыгой копать, в плуг впрягаться, чем за «дядино» хозяйство отвечать.

Для старых тракторов никто больше не производит запасных частей. Так называемые «козлы» (колесные тракторы) ЧТЗ и ЧТЗ-

НАТИ, должны работать в колхозах и в сельхозлагерях МВД, пока не придут в полную негодность. Снабжение запасчастями должно производиться из «местных ресурсов», т. е. объединенными силами сельских механика, тракториста, токаря, слесаря и кузнеца. Бегают несчастные по всему колхозу, ищут старую, более или менее пригодную деталь, обтачивают ее, обрабатывают и на токарном станке, и ручную — напильником. Сварку производят электродами. Иной раз делают вылазки в соседние колхозы и под покровом ночи крадут части с чужих тракторов. В самых тяжелых случаях делают из двух тракторов один, а потом отвечают «за уничтожение государственного имущества». Обычно тракторы похожи на тришкин кафтан. Пестрый, разнокалиберный, выхлопная труба качается, как маятник, сделанная кустарным путем из жести на русское «авось». Сидение у тракториста, того и гляди, сломается, привязано и закреплено проволоками и проводами. Шум от такого трактора сильнее, тем от дивизиона танков.

Каждый тракторист наизусть знает причуды своего «детища». Только он один и умеет с ним справиться. Однажды, помню, посадили меня за такой «бронтозавр» по болезни настоящего тракториста. Прицепщик, тоже заключенный, полчаса крутил ручку, пока мы его завели. Трактор был «с норовом», и секрета мы не знали. Наконец, дал искру. Мотор заработал. Включил я вторую скорость, а он назад поехал и чуть все корпуса плугов не переломал. Я дал руля налево, а трактор пошлепал направо.

Случись что-нибудь с плугами, пришили бы мне «вредительство» и все 25 лет в придачу бы получил. Потом больной тракторист ругался. Почему я у него «характеристику» не спросил? Трактор столько раз ремонтировали, что у него все наоборот действовало.

Вообще, и для совхозов тракторы не выпускаются в достаточном количестве Заводы «туфтят». Какое им дело до совхозов? Главное — норму выполнить, даже если только на бумаге. Овцы целы, а волки в министерстве за это деньги загребали.

Списать трактор с учета невозможно — разве если в щепы разлетится. Списывает их спец-комиссия, которая никогда не соглашается с мнением тракториста и ставит ему в вину плохое обращение с социалистическим имуществом. Слово «халатность» равно приговору к ИТЛ. Статья 109 Указа РСФСР может упрятать беднягу на долгие годы.

Даже если удастся списать трактор, пользы от этого никому не бывает. Нового не получить, а из обкома или райкома, все равно, придет бумага: «На основании постановления ЦК КПСС об

использовании местных ресурсов, посевную кампанию провести в срок с имеющимся имуществом. Новых тракторов на базе нет и не ожидается». Коротко и безапелляционно. Правление колхоза кроет, на чем свет стоит, вытягивает «списанный» трактор и старается всем колхозом соорудить что-то для посевной кампании. Наступает весна. Первое солнце. Первые ручейки на пахоте — и вот «выезжают расписные Иоськи Сталина челны». Дымят, гудят, ломаются, но пашут.

«Воля» дорога. Даже голод и холод на «воле» переносятся со стоицизмом. Мне привелось наблюдать за починкой тракторов. Сколько изумительной смекалки, кустарной оборотливости вкладывают колхозники в это дело! Буквально из ничего делаются сложные поправки. Почему же эти ловкие русские руки не поправляют свои жилища?

— А как их поправишь? — отвечали мне люди. — Лес чей? Не помещичий же, а социалистический. Его трудно получить, а если где и «достанешь» материал по «сходной» цене, могут обвинить в краже, в буржуазных замашках, в кулачестве.

Все стремление обращено на выполнение плана, т. е. на «восстановление послевоенной разрухи». На человеческие удобства никто не обращает внимания. Главное, чтобы дом «Правления колхоза имени Карла Маркса» был аккуратно огорожен, выбелен и пестрел от красных лозунгов и пятиконечной звезды. Этим соблюдалась внешняя форма. — С нашего колхоза фильм накручивать не приедут! — говорило правление. — Приедет секретарь обкома партии, так он только в правление заглянет, а оттуда прямо на поля. Дома колхозников, пока они кривы да косы, его не интересуют, а если какой «нарядный» завидит, сейчас же спросит: Откудова средства взяты? Вот и доказывай, откуда.

Дело секретарей — «план». Их дело — толкать. Так их «толкачами» и называют и ненавидят глухой и лютой ненавистью. Эти толкачи разыгрывают из себя больших знатоков колхозного дела, но, в сущности, ничего не понимают! — действуют по инструкциям сверху. Им важна «генеральная линия», и они совершенно не считаются с силами и возможностями колхоза.

В колхозах главный упор делается на женщин. Все это басни советских газет, о том, что женщина «стремится» стать трактористкой или комбайнером. Она к этому труду питает отвращение, но что делать, если в колхозе некому работать, и вся тяжесть труда ложится на ее плечи.

СССР усиленно твердит о «совершенной механизации сельского хозяйства». Возможно, где-нибудь в Центральной России, в «показных совхозах», эта механизация и проведена, но в

Сибири рядом с тришкиным трактором ведется работа, «как в доброе старое время»: плугом, бороной и даже сохой. Рядом с самоходным комбайном работает вереница женщин, вяжущих от зари и до сумерек тяжелые снопы. Я видел больше кос, серпов и цепов, чем современных агрокультурных машин. В совхозах с 1954 года, при проведении «новых идей», может быть, сделаны известные шаги, облегчающие труд, — только в совхозах, являющихся «всех давишь» для колхозов.

Все очковтирательство, преподнесенное американским фермерам, посетившим летом 1955 года сельскохозяйственную выставку в Москве, может убедить только иностранца, мало знающего не только СССР, но и заокеанские страны с их масштабом вообще.

Доение коров электрическим путем существует только в спецсовхозах (показных) в Центральной России. То же самое и с подачей корма скоту путем канатной проводки. По всей Сибири коровы доятся «доисторическим» способом, а корм везется в тачках.

Лагерные совхозы, в которых работали заключенные, были во всех отношениях лучше поставлены, чем «вольные». Они были чище, опрятнее, и всегда брат-работяга что-то выдумывал, чтобы облегчить свой и своих друзей труд. В лагерных совхозах проявлялась личная инициатива, абсолютно отсутствующая в простых.

Отношение к колхозникам мало чем отличалось от отношения к лагерникам. Если нас выгоняли на работу палками и прикладами — в колхозе кулаками и руготней. Если в лагере отказывающихся работать садили в карцер, то в колхозе секретарь парторганизации и бригадир ходили по домам, вытаскивали несчастных женщин буквально за волосы и пинком пониже спины направляли их на поле, больна она, или у нее ребенок занемог — никто не спрашивал.

Известные изменения произошли после 1954 года, но о размерах и успехе этих изменений я не могу говорить. В СССР принято из мухи делать слона, если это интересно ради пропаганды, и обратно — слон народного недовольства превращается через печать и радио в безобидную мошку.

Крестьянство обирается почти четыре десятилетия. Пройдя разные периоды легких облегчений и нового закрепощения, оно все же не потеряло своей любви к земле, врожденной, глубоко засаженной в его душу. Путь к сердцу громадного большинства россиян, сердцу хлебороба, лежит только через решение земельной проблемы, и только тот, кто ее решит, может рассчитывать на всенародный отклик России.

Рядом с крестьянином, когда-то ожидавшим «хлеба и воли», стоит и его старший и до некоторой степени привилегированный брат — рабочий. Несмотря на всю любовь к земле, сегодняшний крепостной 20 века, крестьянин, бежит от того, что составляет соль его жизни, главным образом, потому, что он лишен личной собственности и личной инициативы.

Советский рабочий более или менее обеспечен, по советским понятиям. Одет он грязно и бедно, но раз в неделю одевается в праздничный костюм, с трудом добытый, синий шевиотовый (мечта всех подсоветских) и с тоски напивается. И у него, у рабочего, отнята личная инициатива. Он сыт, если и не очень. Он тянет свою лямку с типично русским фатализмом и в вечной надежде на какие-то улучшения.

Вся экономика СССР, все его производство поставлены на обмане. Все это знают, по-иному не могут и потому покрывают. От самого маленького рабочего до министра, все связаны круговой порукой «туфты».

Чтобы получить больше денег, рабочий старается записать себе больше часов работы, жульничает и туфтит. Десятник, мастер, прораб, зная это, урезает часть туфты, часть признает, так она идет и ему в пользу. Все уравновешивается, подмазывается и посылается дальше в границах «не превышения оплаты труда». Мастер, начальник цеха, инженер, директор завода — все выше и выше, «в рамках плана», до самого ЦК ползет, растет туфта. Каждый урывает себе кусочек и, в конце концов, по сообщениям, весь СССР должен был бы завалиться электрическими лампочками, нитками, ботинками, ситцем, всем, что душа желает, но ничего нет и всего не хватает.

В мои дни забастовки были совершенно исключены. Рабочие не смеют просить и требовать повышения зарплаты. Это — контрреволюция. Подрыв производства. Поэтому, если раньше было выражение — «не подмажешь, не поедешь» — теперь все, улыбаясь, говорят «не стуфтишь — с голоду сдохнешь!» Я не буду писать о стахановщине. Она известна всему миру. Все знают, как трудно выполнить все 100 процентов нормы, и все росказни, да и «факты» стахановского производства — жульничество, для выполнения которого двадцать человек подготовляют работу для одного. Для этого не жалеется ни подсобный материал, ни вспомогательные силы.

Конечно, и туфту можно назвать кражей, но, кроме нее, существует и поголовное расхищение «социалистического имущества», тоже растущее процентуально высоте поста, занимаемого «хищником». Простой рабочий возьмет себе фунтик гвоздей. Мастер отвалит побольше. Он берет и для себя и для

соседа, от которого ожидает взамен подобной же услуги. Инженеру нужен ящик гвоздей, чтобы подмазать, где надо. Директор завода может «уступить» полтонны гвоздей тому, кто «уступит» ему полтонны другого материала. А завод, который должен околотить громадное количество ящиков или обшить досками нововыстроенные или ремонтированные товарные вагоны, возвращается к «туфте», т. е. там, где должно быть вбито минимум 100 гвоздей, вбивают 10. Все довольны. Рабочим меньше работать. Вагоны или ящики делаются быстрее, и достигается норма, приемщики жмурятся одним глазом и получается сказка про белого бычка.

Если маленький рабочий, главным образом, «хищничает» для себя самого, то старшие, до директоров завода, делают это не всегда из материальных выгод, но и оберегая свой пост, свою голову, свою свободу. У него начинает разлезаться здание какого-нибудь цеха. Он взывает и просит, чтобы ему прислали цемент. Цемент не идет. Наступает сначала дождливый, а затем снеговой период. Вода размывает рассевшееся здание. Снег давит на него, и крыша грозит рухнуть. Кто будет отвечать, если случится несчастье? Не важны рабочие жизни. Важен перебой в работе, грозящий разными статьями. Директор завода вступает в переговоры с директором цементного завода и за тонну гвоздей получает несколько тонн цемента. Здание поправлено. Все довольны, а если какой-нибудь вагон развалится в щепы, будет отвечать железная дорога. Если ящики рассыплются, и из них вывалится все содержимое, опять же будет виноват, кто угодно, но не завод.

Так это ведется по всему СССР. «Пятилетки» выполняются и перевыполняются на бумаге. В жизни же результатов нет, и о действительном удобстве, гигиене, удовлетворении самых минимальных потребностей народа никто не думает.

СССР считается засекреченным государством. Многие на западе думают, что ни одна тайна, скрываемая правительством, не запрятана так глубоко, как в СССР. Однако, это далеко не так. О всех мероприятиях, скрываемых до известного дня, узнают не только на воле, но и в лагерях далеко до срока. Например, день обмена валюты в 1947 году держался в большом секрете, во избежание каких-либо махинаций. Уже за месяц до объявления срочно проделывались разные денежные манипуляции, и факт никого не застал врасплох. Даже о «чистках» люди узнавали заранее, и только завороженность кролика под взглядом кобры заставляла обреченных без сопротивления ждать своей судьбы.

Может быть, именно этому положению кролика — гражданина и кобры — партии должен быть благодарен Кремль

за то, что все его «начинания» проходят с стопроцентным и более успехом. Так проводятся и займы, которые перевыполняются на 103 и больше процентов. СССР умудрился «добровольно вытянуть» деньги не только у «вольных» людей, но даже у заключенных в спец-лагерях, которые в то время не имели ни имени, ни фамилии. Если несчастный раб имел в лагерной кассе десять рублей, у него вытягивали и их. Пробовали сначала уговаривать, затем прибегали к угрозам, к карцеру, к изолятору и, наконец, сообщали о переводе в штрафные лагеря. МВД в лагерях перевыполнило план, не сообщая, конечно, о том, что рабы записывались на заем только после самых изощренных методов воздействия. Все, что делается «добровольно» в СССР, имеет свою подкладку. Вспоминаю частушки, которые пели в Казахстане вольные ребята, попавшие на целину:

— Все случилось шито — крыто. Стал вождем Хрущев Никита. Сталин гнал нас на войну, а Хрущев на целину!

Никакого энтузиазма в «целинном вопросе» не было, и отправлялись бригады по указу и выкладке, откуда и сколько шло рабочих рук. Все лозунги, плакаты, песни и выкрики фабриковались коммунистическими заправилами.

Бывало, спросишь целинного добровольца, отчего он оставил ВУЗ, учебу, свою личную жизнь, — отвечает немного измененными словами старого анекдота:

— Да потому, что ошибся и, вместо «караул», «ура» кричал. Вот и забрали.

Вместо «караул», кричит «ура» в СССР каждый, кто хочет жить, и кричит он не по ошибке, а потому, что знает, что на его крик о помощи никто не откликнется, никто ему не поможет.

Любой знаток жизни в СССР может найти мои рассуждения поверхностными, схваченными и записанными налету. Это и есть так. Я просто передаю все то, что запомнилось из виденного и слышанного. Самым близким для меня миром был мир лагерей и заключенных, и «воля» в СССР навсегда осталась для меня туманной, мало изведанной страной, тем более, что мой контакт с Центральной Россией проходил опять же под знаком лагерей. Немного иных, но все же лагерей.

1954 год, которому я посвятил эту главу, для нас, лагерников, был годом чудес, и он, конечно, будет вписан в историю концлагерной России золотыми буквами. Не разбираясь более в международном значение шагов правительства, я подведу только один итог: народ, связанный узами родства или дружбы с 20 миллионами недавно еще бессловесных рабов, был доволен. Довольны были, если не принципиально, то практически, и сами рабы.

Исчезли слова «изменник родины» и «враг народа». Бывшие «диверсанты» и «шпионы» приобрели право считать себя человеком. МВД лезло из кожи, чтобы создать впечатление во всем СССР, что осужденные люди подвергнуты только «временной изоляции», и что они добросовестным и честным трудом искупают! Свои вольные и невольные вины перед родиной.

К нам в лагеря стали приезжать спец-пропагандисты, которые в пламенных речах убеждали даже тех, кто получил 25 лет, что никто из них этот срок высиживать не будет, и «поскольку они будут всем сердцем и всеми силами участвовать в стройке государства (уже не коммунизма! Зачем вслух это говорить!) Родина-мать примет их в свои широкие, свободные объятия!

Приказ ГУЛАГа о разрешении «расконвоировки» заключенных по 58 статье произвел буквально революцию. Расконвоировать заключенных мог сам начальник лагеря, и обычно эту привилегию получали только бытовики и то те, кому оставалось месяц — два до конца срока. Считалось, что такой не убежит. Зачем, когда воля близка?

Если до этого приказа расконвоировали кого-нибудь по 58, то только тех, кто сидел по пункту 10, т. е. так называемых «болтунов», да и то по спец-разрешению из Москвы. С пропуском, на котором стояло тридцать печатей, с предварительным обыском и т. д., отпускали беднягу «контрика» без конвоя за пределы лагерной зоны.

Приказ ГУЛАГа был встречен начальством с неудовольствием. Легко им там приказывать за тридевять земель! Как можно выпустить без конвоя «контрика», который имел на плечах еще 20 недосиженных лет? Сбежит! Наболтает вольным, чего не надо!

Оттягивали, сколько могли, но в 1955 году появление политзаключенных на улицах прилагерных городков стало почти обычным явлением, даже если он имел двадцать и больше лет отсидки перед собой.

Бесконвойный выходил из лагеря в 6 ч. утра и, как вол, работал (как не работать!)до 8 ч. на производстве. За это он мог по дороге в лагерь зайти в ресторан, погулять на воздухе с прелестной дамой, если такая найдется, поговорить с людьми. Имея за собой десять лет лагерей и, кто его знает, сколько еще впереди, человек упивался догоранием заката, солнечным диском, заходившим за очертаниями полей или лесов, а не за трехметровым забором, проволокой и вышками.

Подумать только! Год — полтора еще тому назад, я считал себя обреченным на смерть за 70 параллелью. Я «доходил», заросший бородой, с бритой, как у каторжника, головой, я рычал,

как голодный пес, получая миску баланды и горсть хамсы. Мое плечо было почти до кости стерто лямкой. и вдруг — ресторан, суп с вермишелью, котлеты с картофелем, чашка кофе, папиросы и прогулка с друзьями по улицам поселка. Разве это не чудо?

Мы все были готовы работать не 8, не 10, а все 12 часов. Даже если не ресторан и не прогулка, то все же приятнее быть на производстве, чем идти в осточертевшие бараки. Мы шли, высоко подняв головы, как бы не замечая красных погон и красных околышей МВД. Они пыхтели от бессильной злобы. Бессильной, потому что Москве было наплевать, на кого мы смотрим или не смотрим. Им было важно, чтобы мы работали, а бесконвойность давала разительные результаты.

Вспоминаю одну статистику.

В Чурбай-Нуре, в Казахстане, где существовали конвойные и бесконвойные бригады, после полугода работы они выполнили план:

а) 20 подконвойных бригад — на 107 процентов.

б) 10 бесконвойных бригад — на 270 процентов.

Вот и соотношение, причем бригады имели одинаковое количество заключенных, так что рабочих рук в бесконвойных было вполовину меньше.

Расконвоирование происходило в порядке поощрения за поведение и работоисполнение, и люди, если и не верили в искренность правительства и долгую жизнь реформ, рвали все, что было возможно сорвать, сознавая, что степень улучшения положения зависит от степени выполнения норм и качества работы. Может быть, выиграли обе стороны, и «дядя», через старания своего «приказчика» — МВД, и заключенные. Первые, конечно, гораздо больше, но кто об этом думал!

Миролюбие внутренней политики сняло тавро позора с заключенных. Тавро, правда, никогда не считалось позором в среде простых подсоветских людей. Да и как иначе, если у всех если не свой, то друг сидел в лагерях. Но общение с заключенными, как с зачумленными, могло плохо отозваться на положении «вольного», работавшего на одном и том же производстве.

После года со дня начала реформ стали разрешаться «визиты» в лагеря. Ко многим приезжали семьи, и заключенные могли с ними встретиться, поговорить, провести время. Лагеря 1955 года отличались чистотой, порядком, санитарностью, даже в большей мере, чем квартиры и жилища вольнонаемных. Бывало, в 1955 году, когда у нас в зоне, в праздничный день, играл оркестр заключенных, под проволокой нашего забора собирались вольные, с наслаждением слушая музыку. Посещавшие

заключенных семьи, в особенности приезжавшие из Центральной России, говорили, что нигде им так вольно и хорошо не было, как в нашем лагере. Это звучит парадоксально — и все же это правда. Центральная Россия оставалась СССР. Здесь же росло то новое государство в государстве, о котором я неоднократно говорил.

Режим оставил свою печать на жизни вольных людей. Там отсутствовала самодисциплина. Жизнь рвалась кусками. Дай, что дашь! Туфта, так туфта! Сегодня я на свободе, завтра меня упрячут в лагерь за катушку ниток или два километра железнодорожной прокладки. Получим и за одно и за другое одинаково. На воле, в особенности в центральной России, ходит пословица: где двое русских сойдутся, там и напьются, там же и подерутся. В клубах, на воле, жуткое пьянство. К девушкам отношение «лапальное». Разговоры только о последнем пьянстве, о том, где и что можно «достать», да о новейшей вспашке зяби новым, четырехкорпусным плугом.

В лагерях сидели люди, которые много видели, много читали, многому научились. Некоторые полмира прошли. С ними не заскучаешь. На лекциях, которые читали заключенные, собиралось много народу. Раскрывались многие тайны, о которых не пишут в газетах и даже в мемуарах, ширились горизонты в любой отрасли науки и искусства.

Приезжали к нам родители, семьи заключенных. Все встречали их приветливо, дарили подарки — кустарные самоделки, которым иной раз было место на выставках. Я сам много рисовал, и мои картинки шли нарасхват. И не только как подарки. Покупали их у меня вольные, покупал и надзор-состав.

Русские люди любят картины. У меня появилась возможность покупать краски, полотно и бумагу для акварели. Самым большем успехом пользовались копии известных художников дореволюционного времени. Я убивал на это развлечение свои праздничные дни, и труд мне приносил и радость и материальное благополучие.

Особую свежесть в лагерь вносил приезд жен наших лагерников с ребятами. Все заключенные ходили, как помешанные, от радости. Слышите, говорили они, ребята! Даже детский рев казался небесной, божественной музыкой. Малышей с рук не спускали, так что родители могли друг другом упиваться. С ребятами лет 7-10 играли в горелки, в бабки, в городки. Пожилые дяди лет в 45–50 носились с ребятами, играли в футбол, водили их в кино, усаживая на самое дорогое место, задаривали конфетами. Друзья по лагерю оказывали особый почет и уважение приезжей семье, которых она уже давно не видела в своем городе.

Я часто умилялся, смотря, как японец Нушима, маленький,

сморщенный, в очках, сюсюкая, пришептывая и по-своему, по-японски, присвистывая, как щегол, ползает на четвереньках перед соплявым Ванюхой из Рязани, как высокий француз, известный химик и ученый, переодевает штанишки Машке из Одессы, датчанин, рыбак, попавший, якобы с шпионскими целями, в воды СССР, утешает маленького калмыка, а холодный норвежец терпеливо играет в шахматы с шестилетним Петькой из Тобольска.

Какой голод по семье, по ласке испытывали мы, знает только тот, кто провел годы в лагерях.

В то время, когда мы были «врагами народа», пока еще не попали в спецлагеря и не были выключены из всякого контакта с женщинами, в лагерях создавались связи. Заключенные женщины сходились с коллегами но сидению. Иной раз это была действительно любовь. Чаще всего похоть, которой потворствовала обстановка. Политзаключенные женщины обычно были верны своим друзьям, пока находились в одном лагере. При переводе друга в другие края, обычно лились горькие слезы, давались клятвы, но жизнь брала свое. Одни стремились к защите, вторые нуждались в женской заботе и ласке. У блатных и их «дам» все это было проще и, я сказал бы, гаже. Особенно были омерзительны блатные женщины, у которых голод не убивал звериной похоти, а как бы разжигал ее. Не дай Боже было попасть в женский лагерь, по каким-либо делам, поправкам, мужчине заключенному. Он едва ноги уносил от разъяренных фурий. Вся эта сексуальная грязь осталась далеко позади и была забыта. Атмосфера чистоты и опрятности в костюмах и в жизни оставляла свой отпечаток и на чувствах и мыслях. Чужая семья вызывала, может быть, зависть, но не плохую, а умиленную зависть. Мы все мечтали стать отцами, отдать все свои заботы, всю свою любовь жене и малышам. Мы забывали, что играем с чужими ребятами, и расставание с ними сопровождалось слезами не только отца, но и многих из нас.

Вспоминаю, приехала одна женщина, жена заключенного, отсидевшего из его «катушки» только пять лет. Она привезла с собой дочку, девочку лет семи, больную туберкулезом костей.

Бедненький, бледненький, чахлый цветочек! Ходила она при помощи костылей, да и то несколько шагов, и садилась, уставала. Мучили боли. При встрече с отцом, которого она, конечно, не помнила, она горько расплакалась. Это не был испуг, это даже не была радость. Это было какое-то новое, неизведанное чувство иметь отца. Бедняжка не сходила с его колен, вцепившись в грудь его куртки. Она, казалось, боялась, что мигом промелькнет ее радость, и ее опять увезут далеко, далеко от этого большого и

сильного папы.

Грусть ребенка тронула заключенного китайца. В общей жизни он был замкнут и нелюдим. Его соотечественники говорили, что он по-китайски — большой ученый и, к тому же, богослов. Так вот этот китаец достал у приезжих женщин бабье платье, оделся в него и, проделывая самые комические прыжки и ужимки, заставил бледненькую Настеньку смеяться.

Как он был счастлив! Как он был счастлив! Прошли недели, месяцы, а этот замкнутый человек, нет-нет, да спрашивал, когда Настенька переселится в Чурбай-Нуру, уверяя, что он знает средства лечения костного туберкулеза, и каждый раз вспоминал, как бледненькая девочка смеялась, глядя на его обезьяньи ужимки.

В тот период «сосуществования» правительства с миллионами заключенным по 58, колесо фортуны повернулось так, что мы были в лучшем положении, чем уголовники. С ними перестали возиться. В то время, как нас «раскрепощали», бытовиков садили в строгие лагеря, и у них-то изоляторы никогда не пустовали.

ГУЛАГ поделил ИТЛ на три больших группы.

Степень первая: Лагеря для убийц, воров-рецидивистов и бандитов. Туда же попадали и люди, нарушившие режим лагерей, за мародерство, содомию и другие тяжелые преступления. Держали их, как в строгих тюрьмах. Никаких зачетных дней. Никаких поблажек. Лагеря должны были постепенно отстроиться до полного положения тюрем, и сроки наказаний давались гражданскими судами.

Степень вторая: Лагеря, в которых находились, главным образом, 58 статья, но и бытовики, не совершившие тяжелых преступлений. Тут применялся зачет рабочих дней. Были бесконвойные и подконвойные люди. Особо обращалось внимание на пропаганду и политбеседы. Эти лагеря носили название «перевоспитательных». В подобный лагерь, только без полит-агитации, попали мы, иностранцы, в 1955 году. Жизнь текла более или менее нормально. МВД вело себя нейтрально, находясь в вечном страхе пересолить или не досолить, равняясь по московским указам и распоряжениям.

Степень третья: Полусвободные лагеря, или поселенческие лагеря. В них люди могли жить за зоной. В лагерь они приходили отметиться раз в неделю или раз в месяц, как уж распоряжалось начальство. Им выдавался документ на руки, что-то вроде паспорта, с очень ограниченным районом хождения. Они могли жениться или вызвать к себе семью. Зарплату они получали без вычетов, как и вольнонаемные, но были закреплены за производством, на котором работали.

Таким образом укреплялось «сосуществование» СССР с «государством» политзаключенных, им самим созданным.

В степях Средней Азии

Вспоминаю свое впечатление и волнение, когда я в молодости впервые услышал сюиту Бородина «В степях Средней Азии». У меня мысленно создавалась яркая, романтическая картина. Два каравана, восточный и русских тароватых купцов, встретились у речки и остановились отдохнуть, напоить вьючных животных, запастись самим водой.

В музыке я слышал тяжелые шаги верблюдов, мысленными глазами видел пестрые шатры и баядерок, которых с собой везли азиаты. Я чувствовал всю негу востока и мягкую грусть русской мелодии.

Когда я узнал, что мы едем в степи Средней Азии, со всей их яркостью и пестротой, я вспомнил Бородина, его сюиту и мои молодые фантазии.

Наш поезд Омск — Караганда мало чем напоминал караван. Может быть, только тем, что у нас произошло смешение языков. Ехали заключенные всевозможных и даже невообразимых народностей.

Ехали мы не в «Столыпине», т. е. в вагонах, разбитых на клетки, как я уже сказал, но все же в «телячьем экспрессе», т. е. в теплушках, с закрытыми окнами. Ничего на нашем пути я не видел, кроме маленьких станций, на которых мы выходили размять ноги, и то не всегда Конвой не свирепствовал, но все же не миндальничал с нами, одновременно подрабатывая на покупках, которые эмвэдисты нам делали.

Остановились мы в степи, в центре маленького поселка. Бросились в глаза каменные дома, окружавшие угольные шахты, с их типичными вышками коперов и угольными терриконами. Деревьев нет. Ветер мел мелкий, сухой снег, которому негде остановиться, лечь, задержаться. Он мчался дальше, в бесконечную даль угольных шахт.

Перед нами лагерь. Трехметрового забора нет, только колючая проволока. Серые, закопченные бараки и все остальные прелести обычного лагеря.

На первых же шагах нам сказали, что мы не подлежим принуждению к работе. Хотим — можем работать и зарабатывать. Нет — милости просим, сидите в лагере и жрите баланду. Заставлять вас не будем.

К вечеру нас собрали и сообщили, что, по всей вероятности, мы собраны для репатриации, но, когда это произойдет, никто еще не знает.

Репатриация! Раз меня «репатриировали» в Россию. Теперь

«репатриируют», сам не знаю, куда. При этом я заметил, всегда говорят «репатриировать на родину», очевидно, не отдавая себе отчета в «масляном масле».

Сначала большинство, а затем все стали на работу. Есть «муру» никто не хотел, тем более, что в поселке было не мало возможностей подпитаться и соприкоснуться с цивилизацией во всем ее «поселочно-шахтерском» масштабе. Связь с заграницей стала налаживаться. Нам выдали по две открытки Красного Креста на месяц, но писать мы могли только своим прямым родственникам. С приезда и до августа 1955 года я писал по две открытки в месяц, но ответа не получал и потерял всякую надежду, что кто либо из моих близких жив. Не буду писать о моих переживаниях. Они были ужасны. Нам сказали, что, если мы не восстановим связи со «своим правительством» и родственниками — надежды на выезд не будет. С каким «правительством» мог я надеяться получить связь? Мой голос — вопиющего в пустыне, очевидно, не доходил ни до Югославии, ни до Швеции. Много позже, в Стокгольме, я узнал, что мои первые открытки, брошенные в декабре 1954 года, моя кузина получила в июне и в августе 1955 года. Из 18 карточек дошло только четыре, в Швецию, и ни одной в Югославию.

Австрийские граждане первые стали получать посылки. Немного пришло в феврале, но к апрелю их стали забрасывать земными благами, о которых не только нам, но и вольным просто не снилось. Австрийский Красный Крест прекрасно работал и быстро выстроил моральный мост между Веной и этими несчастными, ни за что отсидевшими по десять и больше лет в лагерях СССР. Этому помогли и те австрийцы, которые закончили свой срок в 1954 году и, как первые ласточки, вылетели из концлагерей и, попав в Потьму, репатриационно-распределительный пункт, написали в Австрию и Германию, сообщив о своих знакомых. О нас, немецких добровольцах, ни один Красный Крест не думал. Не думал о всех заключенных иностранцах о СССР и Международный Красный Крест, к которому мы обращались. Несмотря на то, что между нами были и швейцарцы, и французы, и англичане, и бельгийцы, испанцы, итальянцы, датчане, корейцы, японцы, югославы, китайцы и, я уж не знаю, каких наций люди — помогал больше всего Австрийский Красный Крест, позже — немецкий, но только своим.

Из Женевы приходили ответы: помочь нам не могут. Где же «международная» доброта этого Креста? До моего отъезда из Чурбай-Нуры из Женевы ничего не пришло.

Должен отдать справедливость австрийцам и немцам, получавшим посылки. Никогда и ни один не пользовался

присланным только сам. Все делилось между друзьями, и в каждом бараке люди имели хоть что-то из этих прекрасных посылок.

Некоторые из нас списались с правительством стран, куда они стремились. Я говорю о нас, эмигрантах. Пришел отказ. Так, Тито отказал во въезде Юрию Зигер-Корну, не знавшему, где находится его мать, Феодору Вяткину и еще целой группе югославских «фольксдойчеров» из Баната. Отказал он и настоящим сербам и хорватам, между которыми были даже его собственные партизаны.

Большинство из получивших негативный ответ пришло в отчаяние. Тогда сами лагерные власти предложили им обратиться к австрийским и западно-германским властям, с просьбой убежища. Нужно от лица всех русских людей поблагодарить маленькую Австрию, которая шире всех открыла двери своего гостеприимства.

В нашем лагере в Чурбай-Нуре, как ангел надежды, и одновременно, как что-то таинственное, неопределенное, с неясным очертанием, стало летать крылатое слово «Потьма». Потьма — транзитный, распределительный лагерь. Из Потьмы люди или уходят на свободу, настоящую свободу, заграницу, или на «волю» в СССР, или страшно подумать.

В феврале и марте месяцах 1955 года неожиданно, несмотря на все неприятности с югославским правительством, из нашей среды забрали 20–22 человека югославских подданных и отправили в эту самую Потьму Мордовской АССР. Сказали, что их везут на освобождение. Освобождены они на основании решения Коллегии Верховного Суда СССР, как иностранцы. Из Потьмы, нам сказали, путь в Быково под Москвой и оттуда — за границу. Потьма, говорили, вокзал, на котором люди ожидают от СССР «билета» на свободный выезд за его пределы.

Уезжающие дали нам клятвенные обещания сейчас же написать, сообщить, через что они прошли, и что нас ожидает. Прошли долгие месяцы. Никаких вестей. Мы думали, что наши друзья давно в Европе, и «в вихре наслаждений» забыли о «фитильках» в Чурбай-Нуре.

Много позже мы узнали, что только несколько человек покинуло СССР в августе того же года, но большинство «югославян», «освободившихся» в январе и феврале 1955 года, по январь 1956 года все еще сидели в Потьме.

В то время там были А.Петровский, М.Садовников и многие другие «де-юре» люди на свободе, «де-факто» ее не имевшие. Они искали путей и возможностей получить въездную визу в любое свободное государство, старались восстановить связь с близкими

или хотя бы добрыми по сердцу знакомыми, и не всем это удалось.

Вскоре у нас всех пропало желание выбираться из СССР югославянскими путями. Сам титовский посол в Москве — Видич, вел себя более чем цинично, да и вести к нам пришли очень неприятные. О некоторых наших сосидельцах по ИТЛ мы узнали, что, приехав в Югославию, они опять попали за проволоку.

В апреле 1955 года, наконец, нам официально сообщили, что все наши «дела» отправлены в Москву на пересмотр, и что вашей судьбой теперь распоряжается непосредственно Москва. В дисциплинарном отношении мы и дальше подчинялись лагерному начальству, но нас не смели сдвинуть с места, перевести в другую колонну или лагерь без разрешения Москвы, и даже в случае окончания срока мы не смели без ее разрешения перейти на какое-то новое положение. Среди нас были такие, которым подошел и прошел срок заключения, и они буквально болтались в Чурбай-Нуре, по три, четыре и больше месяцев, маясь и мучаясь в ожидании решения своей судьбы.

Чурбай-Нура была интересна своим, как я сказал, смешением языков. Среди «иностранцев» было много бесподданных, т е. русских эмигрантов из Манчжурии, с Дальнего Востока, которым тоже прошел срок наказания. С первого же дня их прибытия в Нуру их стало обхаживать МВД.

— Ну, куда вам ехать на восток! — говорили чекисты. — Что вы там потеряли? В Европу вам не попасть, а с китайцами, сами знаете, как жить, в особенности теперь, когда Китай освободился от западного влияния и стал совершенно самостоятельным. Легко вам было с китайцами, даже тогда, когда они были «ходями», да «бойками»? Вы расплатились за свои ошибки в прошлом. Родина к вам никаких больше претензий не имеет. Вы — ее сыны. Мы поможем, и к вам приедут ваши семьи. Заживете здесь спокойно, обоснуетесь.

Дальневосточники стали колебаться. В 1955 году русским в Китае жилось ой, как плохо. Благодаря разрешению писать и получать неограниченное количество писем, они списались с семьями, и вести, которые они получили, были весьма неутешительными. Голод. Холод. Нужда.

Постепенно стали расконвоировать всех этих бывших семеновцев, каппелевцев, анненковцев, оставшихся после всех перипетий в живых. Они фактически первыми стали выходить в поселок без конвоя, присматриваться к жизни вольнонаемных, приглядывать себе участочки для стройки домика, работенку, на случай, если выпустят, и семья приедет.

Это было все так по-человечески понятно, что осуждения в

нас не встретило. Каждый человек — кузнец своего счастья. Счастье, возможно, строилось в мечтах на фундаменте прежних испытаний. Китай? А оттуда куда? Тут говорили по-русски, давали какой-то кусок хлеба, и в этой азиатской степи не так чувствовалось влияние Москвы и ее капризы.

Многие стали писать письма, призывая свои семьи вернуться «на родину» и поселиться в этих угольно-шахтерских местах. Такое письмо давалось тяжело. Я видел людей, как звери, ходивших взад — вперед, чуть ли не в голос рассуждавших. Затем, сняв голову, по волосам уже не плакали. — Ну, что ж! — говорили, — написал! Хотят — приедут. Все же лучше здесь, чем у «ходи» под вонючей пятой! Вслед за дальневосточниками произошло почти поголовное расконвоирование, о котором я уже писал. Мы как бы опьянели. Конечно, все это было далеко от настоящей свободы, и многие из нас так и не поверили в «свободную жизнь» в СССР, но самое понятие о том, что у тебя в кармане лежит пропуск, что ты идешь на работу без грубого конвоя, без «счета» в лежачем или сидячем положении, без собак, без палок и молотков, гуляющих по спинам, — пьянило, как самое крепкое шампанское, и ударяло в голову.

Мы начали осторожно, исподволь, но с жадным любопытством присматриваться к этой «воле», воле в степях Средней Азии СССР.

Чурбай-Нура, шахтерский городок, родился в 1950 году. Построили его не «вольные», а сами заключенные, которых тогда уже сюда согнали на работы в шахтах. Работали, освобождались и оставались добровольно в этом, может быть, климатически неприятном месте, но «подальше от красных глаз Кремля». В наши дни население состояло из 90 % бывших заключенных и только 10 % вольных, куда входили и чины МВД и шахтерные вольнонаемные инженеры и рабочие.

Городок — с одной асфальтированной улицей, с хорошим шоссе, разветвлявшимся ко всем шахтам, с магазинами, двухэтажными домами «казенной стройки» и маленькими домиками, каждый на одну семью. Деревьев и зелени не было, несмотря на всеобщие старания и усилия: природа их не хотела. Никаких ресторанов, в нашем понятии. Один клуб, в котором и столовка, где можно поесть, и кино, в котором через четыре дня меняется картина, и где раз в месяц приезжие артисты (большей частью, тоже бывшие заключенные) показывают какую-нибудь постановку. Шахтеры, инженеры, строители, железнодорожники, эмвэдешники с семьями живут скучно, но сравнительно без потрясений. При нас достроили прекрасную больницу, детский сад и даже среднюю школу.

Шахтеры многосемейные живут в больших домах-казармах. Имеют по две комнаты, кухню, ванную и уборную. Последние не функционируют, и около больших домов всегда ютятся примитивные ящички — отхожие места на свежем воздухе. Холостяки живут в общежитии или пристраиваются по два-три человека, как квартиранты, в какой-нибудь шахтерской семье.

Возвращаясь к ванным и уборным, должен вспомнить и «паровое» отопление, которое тоже не функционирует. По общесоветской системе, в одних домах поставлены печи, но не закончена проводка, в других проведена канализация, но нет водопроводных труб, в третьих есть и то и другое, но нет соединения с общей сетью. Так в СССР все. Поэтому из окон торчат черные трубы печек-буржуек, благо угля, сколько хочешь. В ванны наносят воду со двора ведрами, а «до витра» бегают в домики с косой крышей.

Никто не протестует, в особенности бывшие заключенные. Они рады, что ушли из-за проволоки, спят спокойно на кроватях, какие бы они ни были, а не на клоповых нарах, и их никто не гоняет, как скот.

У всех бывших заключенных, да и у тех, кто отсиживал срок, появлялась жажда работать для того, чтобы заработать. Не для денег — возможно, что он сразу же «бахнет» получку на водку, а просто потому, что процесс «заработка» был приятен. В среднем, хороший шахтер зарабатывал 1000–1200 рублей в месяц. Они считались «привилегированными». На монтаже металлоконструкции и на станочных работах больше 700 рублей выгнать было невозможно.

Живут люди по-разному. Бывшие «контрики» — скромно и с расчетом. Никогда в лагерях не бывавшие не умели свести концы с концами. Я знал инженера, которому на жизнь (жена и двое ребят) 1600 рублей не хватало, и он «туфтил», где и как мог, рискуя свободой. Жил он, казалось бы, скромно, даже в кино не ходил. Мне он говорил, что переезд в Нуру, приобретение обстановки, родины да крестины завалили его так, что только года через три он сможет стать на ноги. От организации, у которой работали вольнонаемные рабочие, они получали в то время кусок земли под огород (4–5 соток), на которой произрастал только картофель.

Хуже всего холостая, да еще «чисто вольная» братва. После получки расплатится, с грехом пополам, с долгами и остальное пропьет с горя. Пьют в СССР много. Пьют горько, с надрывом. Не пьет, может быть, только очень юная молодежь, начавшая думать и сознавать после смерти Сталина и Берии. У них, еще не тронутых, другие мысли, другие влечения. Эта молодежь очень

напоминала мне ту, которая «ходила в народ и искала правду». И сейчас она страдает, мучается, блуждает и ищет правду, ищет веру которую у нее отняли. Ищет свое потерянное детство, мечтая о «настоящей жизни» для всего народа.

Вспоминаю приблизительный подсчет прожиточного минимума, который делал один из молодых вольных рабочих, только что женившийся:

1 кг хлеба в средн. 2 руб. 60 кг в месяц 120 руб.
1 кг масла в средн. 28–30 руб. 1 кг в месяц 30 руб.
1 кг маргарина в среднем 15 руб. 3 кг в месяц 45 руб.
1 ведро картофеля 10 руб. 10 вёдер в мес 100 руб.
1 кг мяса 12–25 руб. 2 кг в месяц 40 руб.
1 кг пшена 3–7 руб. 5 кг в месяц 25 руб.
1 кг сахара 9 руб. 3 кг в месяц 27 руб.
1 л. Молока 2.50 руб. 15л. в месяц 37,5 руб.
Итого: 424.50

Если к этой знаменательной таблице, где картофель играет главную роль, и где сахар может взрасти с 9 рублей (если его достают на «базаре») до 40 рублей, прибавить чай, кофе, неизменные советские конфеты (единственная радость), табак, какую-нибудь законсервированную снедь — расходы вырастут до 600–650 рублей. Квартира и освещение — приблизительно 50 рублей. Зимой уголь и дрова. Шахтеры уголь даром не получали, но «доставали». Другим рабочим приходилось туже. Таким образом, заработок в 700–800 рублей для семьи из двух включал возможность одеться и обуться.

Заработки по всему СССР приблизительно одинаковые. Расходы на окраине государства или там, где только сейчас «развивается жизнь», меньше. Поэтому бывшие заключенные, в особенности те, которым удавалось выписать семью или создать ее на месте, кроме политических причин и из чисто материальных, никуда из своих дыр не стремились.

Советский рабочий доволен малым, таким малым, что, не говоря об американском «уоркере», ни один рабочий свободного мира и недели не провел бы в подобных условиях. Советский рабочий горд, что он имеет, в случае болезни, бесплатное лечение, каждый год месяц оплачиваемого отпуска. Повышение его платы за выслугу лет ведется систематически и доходит до 25 процентов основного заработка. Он знает, что в других странах бесплатного медобслуживания нет, и, хоть в СССР нет и самостраховки, он рад и счастлив.

Посещая «вольных» в Нуре, я заметил, что почти в каждой квартире есть пятиламповый радиоаппарат «Огонек». Стоит он 300 рублей. Но на него нужно записаться, долго ждать очереди, и

приходит он не всегда в исправном состоянии из Москвы. Видал я у рабочих и фотоаппараты марки «ФЭД», подделку под «Лейку», которые стоят 900 — 1200 рублей. Тоже куплены «в затылок», т. е. Бог весть как долго ожидалась очередь. Аппарат пришел, а фильмов в магазинах нет, или есть фильм, а нет составов для проявления. Нашли их — нет бумаги для печатания. Так это ведется, и все к этому привыкли.

Всюду «блат». Всюду «туфта». По блату достают вещи, продукты. По блату устраиваются на лучшую работу. «Туфта» проводится организованно, скопом, и каждому что-то перепадает, «детишкам на молочишко». Любезности в лавках нет.

Продавцы — чиновники. Им наплевать. Но, если поймать «нитку Ариадны», т. е. «блат», снабжение происходит легко.

Для примера, маленький случай из жизни в Чурбай-Нуре. Захожу в магазин, хочу купить печенья к вечернему чаю в лагере. Разговор — типично советский. Не меняю «жаргона».

— Прошу! Дайте килограмм печенья по 8 рублей. Физиономия нелюбезная:

— У нас только по 12 рублей или мятники (пряники) по 6 рублей.

— А когда будет по 8 рублей?

— Когда привезут, тогда и будет.

— Я бы хотел знать.

— Гражданин, проходите. Не задерживайте. Вам чего?

Та же история с колбасой. Навязывать вам не навязывают, но до тех пор не пускают один сорт, пока не пройдет другой. Выбора нет. Может быть, пока одна продастся, другая заплесневеет, тогда ее вытрут тряпкой и «своевременно» пустят в продажу. Покупатель должен ее взять, т. к. другой нет.

Тогда заводишь «блат». Я обзавелся таким.

— Здрасьте, Таня!

— Здрасьте! Вам чего понадобилось заиметь?

— Конфет по 6 рублей.

За мной стоят другие покупатели.

— Нет, гражданин. Вообще, конфет нет. Будут завтра по 12 рублей. Вижу — подмигивает незаметно. Иду к двери, а Таня, как бы спохватившись, кричит:

— Николай Николаевич, вам записку тут кореши оставили. Подождите, принесу.

Уходит в склад за магазином. Возвращается. Записка в руках. Выхожу и читаю: «Завтра будут конфеты. Приходите, как будто за забытым пакетом. Раньше отвешу и дам. А у меня к вам просьба. Сделайте для дочурки такую же картинку — лес, медведь и медвежата, какую я у инженера видела».

Вот и «блат». Быстро вечером малюю масляными красками, больше по фантазии, Шишкинский лес и на следующий день прихожу. В магазине очередь Таня, увидев меня, говорит:

— Эй, там, сзади! Николай Николаевич, что ж вы вчера заплатить заплатили, а пакет взять забыли!

Вне очереди подхожу и беру конфеты. Протягиваю завернутый в бумагу «лес» и говорю:

— Прошу, если Вася забежит, передайте ему этот пакет. Он говорил, что сегодня за чаем придет. Можно?

— Ладно!

Сделка сделана. К картине прикреплено зажимкой 12 рублей. У меня конфеты к чаю, у Таниной дочки картинка, а государство не потеряло своих 12 рублей. Однако, если бы Таню поймали на том, что она вне очереди пустила человека, да еще из заключенных, и дала ему дешевый товар, пока дорогой не прошел — она бы отвечала. Арест. Суд. Лагерь. Риск, конечно, не малый!

Все то, что я видел и о чем пишу, является советским бытом отразившимся в капле воды. Широкого горизонта у меня нет, но мне говорили, что Чурбай-Нура — подобно всему незыблемо существующему по всей Сибири и по всем окраинам СССР.

Вот какое впечатление я вынес от стандартной квартиры рабочего, квартиры в две комнаты. Бывал я у многих, но все впечатления слились приблизительно в эту форму.

В одной из комнат— спальня. Комната не большая. На одной кровати брачная пара, на другой двое ребят. Обстановка сборная. Нагромождение предметов. Большинство — кустарная работа самого главы семьи. Обязательно громадный кованый сундук. Редко детская кроватка. Стол, он же и письменный, и рабочий, и обеденный. Пара табуретов, редко стульев. Этажерки. Полочки. Шкаф для одежды или вешалки, прибитые к стене и покрытые простынями. Масса фотографий. Так снимались и при царе. Те же деревянные позы, те же глупо напряженные лица. Рамки аляповатые. Русские люди любят картины и картинки. Иной раз вся стена вместо обоев облеплена цветными иллюстрациями из журналов. Если поблизости завелся «художник» вроде меня, осаждают просьбами. Нарисуешь одному «девочку с аистом» — все хотят такую же. Вторая комната почти всегда «под квартирантами». Там две — три простых кровати или топчаны. Табуретки, вместо ночных столиков. Какой-нибудь комод и вешалки на стене. Украшают ее сами квартиранты, теми же фотографиями и вырезанными иллюстрациями.

Побывал я и в таких домах, в которых две — три семьи пользуются одной кухней. Там жизнь неудобна, полна дрязг и недоразумений, и держать квартирантов просто невозможно.

Каждый, конечно, стремится жить в маленьком отдельном домике. В больших невозможно держать домашнюю птицу и другую живность. Маленький всегда имеет небольшой огородик, в котором произрастает картофель, и, при особам уходе, выращивается редиска и лук. По садику гуляет наседка с желтенькими пушками-цыплятами, громадный сибирский, горластый петух, иной раз коза и, конечно, невымирающие русские «Жучки», «Полканы» и «Арапчики».

Шахтеры, прожившие в Чурбай-Нуре пять лет, обзавелись уже и коровкой и свиньей. К этому благосостоянию стремится каждый.

Все население городка вечно мечется и чего то ищет. В дни, свободные от работы, люди обмениваются визитами, не только для того, чтобы «жахнуть 200 граммов», т. е. выпить с дружком водки под селедку или редкий в тех краях огурец. Главной причиной посещений служит «доставание» необходимого: пары гвоздей, винтиков, немного столярного клея, краски, кисти для побелки взаймы. Забот ведь много, подручного материала нет. Вот и обмениваются. Один притащит мешок угля, а другой ему за это даст гаек и винтов, чтоб скрепить новый топчан, баночку краски и электрического провода метра три.

«Достать» пожалуй, легче, чем купить. К тому же, «достают» из «дядиного» имущества, благо «он» далеко. «Достает» и полковник МВД, и только что освободившиеся бывшие заключенные. Последние — самые активные. Начинают с азов. Ни кола — ни двора. Ими управляет острый голод. Голод семейный. Голод собственника. Первая табуретка в доме так же дорога, как и первый сын. Браки между «контриками» не всегда идеальны. Вина, большей частью, лежит на женщинах. Лагерь их распустил, и обычно они очень легко смотрят на половую жизнь. Однако, я встречал семьи, слепленные из обломков двух жизней, потерпевших крушение, двух людей, отсидевших десять, бывало и больше, лет в лагерях. Они друг в друге души не чают и живут только для дома и детей.

Обычно это или сугубые интеллигенты, или совсем простые и нетребовательные колхозники, для которых какой-нибудь Чурбай-Нура — рай земной, т. к. возвращение к прежним пенатам равносильно голодной смерти и новой каторге.

Детей в Чурбай-Нуре полчища. Свою роль сыграло запрещение абортов. Правда, государство за десять лет насытило свой аппетит и было удовлетворено приростом населения, и в 1955 году мотивированные аборты опять вошли в силу. Причины — разные. На первом месте болезнь, но и бедность принимается во внимание. Довольно двух ребят, говорят там. Все же я заметил,

что бывшее заключенные считают детей действительно Божьим благословением. Все маленькие, орущие — Машки, Тольки, Жоры и Вероньки — пользуются всеобщей любовью и вниманием.

Я уже упомянул о том, что в Чурбай-Нуре я встретился с неизвестным мне до тех пор элементом, о котором я только читал, но личного знакомства не имел — с бывшими семеновцами, каппелевцами и анненковцами (были и другие «фракции»), которые попали в СССР приблизительно в наше время, т. е. в 1945 году, или немного раньше.

Хотя они, конечно, далеко не все были из Харбина, но у нас их называли «харбинцами» или «манчжурцами». Большинство из них были казаки, хорошие, крепкие мужики и ребята. Большинство кончало свой срок, а некоторые уже были «свободняками». Они в те дни переживали особые волнения.

Ехать? — Куда? В Европе их никто не примет. В красный Китай? Как я уже сказал раньше, они имели право переписки и получали от своих близких отчаянные письма. Из них мы узнали, что в начале пятидесятых годов из Харбина и Шанхая произошло массовое бегство людей в заокеанские страны. «Кто успел и кто сумел — уехали», писали им. Оставшиеся не чувствовали в Китае твердой почвы под ногами. Китайские коммунисты нажимали на них, требуя принятия советских паспортов, которые охотно и легко давались советскими чиновниками. Всюду велась пропаганда за «возвращение на Родину», в то время как китайцы гнали с квартир, переселяли в лагеря, увольняли со службы и не давали работы. Все это в крайней степени влияло на психику наших «манчжурцев». Если их десять лет тому назад привезли, как «белобандитов», в 1955 году с ними были особо ласковы и предупредительны:

— Зачем вам ехать в Китай? Оттуда никуда не выберетесь. А вот здесь, закончив свой срок, станете опять людьми. Мы вам привезем ваши семьи, на казенный счет. И мебель, если у них есть, швейные машины — все доставим аккуратно.

Наши дальневосточные друзья совсем заскучали. С одной стороны, они невольно завидовали нам, надеющимся попасть в свободную Европу и оттуда, может быть, за океан. С другой стороны, зная, как живут люди в Китае и Манчжурии, и из писем узнав о всех трудностях отъезда оттуда в Америку, Северную или Южную, они должны были искать выхода в СССР.

Мы их не осуждали, когда они с тоской в голосе, стараясь ее скрыть, говорили:

— Ну, что ж, написал своим. Пусть едут. Бог не выдаст, свинья не съест. Может быть, и здесь жизнь обоснуем. Не все же здесь коммунисты. И люди есть.

С конца 1954 года и до августа 1955 шло переселение русской дальневосточной эмиграции в СССР. Ехали они, как «обратно завербованные советские граждане», прямо в совхозы, на завоевание целинных земель. Среди людей, которые ехали действительно добровольно, веря во все, что им говорилось и обещалось, ехали и те, кому не было другого выхода (не дохнуть же с голоду в Китае) и семьи заключенных, старавшиеся попасть в те области, где находились ИТЛ.

Самый большой контингент переселенцев — репатриантов попал в Иркутскую область, в Казахстан и в район Челябинска, на Урал. Многие попадали буквально в свои когда-то насиженные, родные края, не узнавая ничего, не находя своих старых знакомых, и, мне кажется, не один крепко почесал себе затылок.

Был солнечный летний день. Жарища, какая может быть только в Казахстане. Зимой здесь морозы сильнее, чем в Заполярье, и все рвет ледяной ветер. Летом — как на экваторе, только ветер все тот же и метет, крутя маленькими водоворотами, пыль почвенную и пыль угольную.

В полдень, в обеденный перерыв (летом из-за жары он был длиннее) я торопился в Управление СМУ-3. Кое-что мне нужно было получить и успеть обратно на работу к станку.

На улице — толчея. Где-то стоит очередь. Кто-то что-то волочит в тележке. Идут домохозяйки с ребятами, повисшими на материнской юбке. Высунув язык, шныряют «Полканы» и «Букетки», отыскивая, что бы пожрать. Шел я в одной рубахе, замазанной машинным маслом, и в рабочих штанах «на выпуск» сверх кирзовых сапог. Один из многих. Такой же, как другие. На голове кепка. Лицо дня три не видело бритвы.

Внезапно я просто остолбенел, мои глаза остановились на женщине. Нет! Даме! Настоящей даме, каких я с 1941 года не видел!

Наши поселочные женщины ходили в ситцевых, выгоревших платьях, в колотушках на босую ногу, в платочке на голове. Дама была одета в шелковое, в крупных цветах платье, на руках. белые перчатки. На голове — флорентийская шляпа с огромными, спадающими полями и черной бархаткой. На ногах шелковые чулки и сандалики на невероятно высоком каблуке. Через плечо сумка из крокодиловой кожи. Тяжелый чемодан до земли оттянул ее в одну сторону — она была не молода, лет сорока. Лицо усталое. Глаза испуганные. Прохожий люд останавливался и с нескрываемым изумлением и даже насмешкой смотрел в сторону этой одинокой «павы».

Наши взгляды встретились, и почему-то, инстинктивно, она узнала во мне что-то более ей понятное и близкое, чем

окружающие прохожие.

— Простите, пожалуйста. — забормотала она, останавливаясь и опуская чемодан в пыль. — Может, вы будете так любезны. Как пройти, найти этот, ну, как его лагерь, где находятся ваши, наши ну, заключенные? Глаза налились слезами. От волнения трясутся слегка подкрашенные губы.

— Ради Бога! Конечно! забормотал и я. — С величайшим удовольствием. Дайте мне ваш чемодан. Какой он тяжелый! Как вы его несли?

— Да вот, со станции. «Боек» здесь нет, этих, носильщиков. Ни такси. «Бойки». «Носильщики». «Такси» пахнуло чем-то забытым. Каким-то архаизмом. Откуда в Чурбай-Нуре такси?

— Лагерь близко, мадам! Рукой подать. Идемте. А вы, если не секрет, к кому?

— К мужу. Десять лет не виделись. Долго о нем ничего не знала. К мужу, Коваленко, и брату Андрееву.

Я знал обоих. Хорошие хлопцы. Казаки. Крепкие. Подхватив чемодан госпожи Коваленко, быстро зашагал к лагерю. Перерыв миг кончиться, и они уйдут на работу.

Сколько раз я себе представлял, рисовал мысленно встречу с женой, Лилей. Прислонившись к косяку двери, я чувствовал, как по щекам скользят невольные слезы. Крик. Скорее стон, а затем смех счастья, слезы радости. Объятия. Несвязное лепетание. Обрывки тов. Коваленко и Андреев поочередно сжимали в своих объятиях приезжую гостью. Шляпа съехала на затылок. Сумка упала на пол. Белизна перчаток исчезла после пожатия рабочими руками ее узеньких лапок. Десять лет не виделись. Постарели. Поседели. Но для них разницы не было. В их глазах они остались теми же.

Так произошла эта «заграничная встреча», и мне хотелось бы рассказать, как бы она выглядела в переводе на советский язык, в советском масштабе.

Это выглядело бы совсем иначе. Вообразите себе ту же улицу, тот же жаркий день, но, вместо «дамы из Шанхая», бабочку — русачку, с корзиночкой в руках, платочке и в тяжелых башмаках. Навстречу — рабочий, подсоветский человек. Диалог развивался бы приблизительно так:

Она: Привет, гражданин! Ты — здешний? А где здесь лагерь? Он: Здрасьте, мамаша! Тутошний. Идите в этом же направлении, В точку на лагерь выпретесь. А к кому?

Она: К сыну, товарищ! Сыну! Десять лет не бачила. Думала — дуба даст, пропадет мой хлопчик. Уф! Корзина-то руки оттягала, гостинцы везу.

Он: А вы бы, гражданочка, через плечико перебросили —

легше бы было. Ну, прощевайте! Пока!

Она: Пока!

Немного по-иному. Правда? В этом и таился секрет, что мы, по пословице «рыбак рыбака видит издалека», невольно тянулись друг к другу.

Прибывшие «из-за границ» узнавались сразу. По походке, выражению лица, испуганным и стыдливо любопытным глазам. Одежда «манчжурцев» изумляла не только подсоветских людей, но и нас, забывших прежние блаженства чистой шелковистой рубашки, новых тонких носков, запаха настоящей парикмахерской и освежающего дорогого одеколона.

Высокие каблуки дамских туфелек, прозрачный шелк чулок, запах привезенных с собой из Китая духов, да и мужчины, чисто выбритые, в фетровых шляпах, хорошо сшитых пальто. Все, что внесло смятение в наши умы и доставило не мало неприятностей приезжим.

Приезжие «совхозники» сразу же были определены на работу. Не всюду их ожидали готовые жилища. Ютились в палатках, пока что-то строилось и приготовлялось. Как всегда, и тут советская система думала с опозданием. Сначала привезли, а потом устраивали. С некоторыми случались истерики. Не того ожидали. Не так себе представляли. Бедность. Убожество. Проза, тяжелая как олово, как свинец, серая проза жизни. Работа, которую в равной мере выполняют и мужчины и женщины. Женщины — шахтерки, в черных от угля мужских одеждах, с черными лицами, на которых таинственно и хитро поблескивают глаза. Женщина у станка. Женщина — тракторист. Женщина — водопроводчик. Бедные дамы пришли в отчаяние. По восемь и больше часов, с лопатой в руках, они должны были нагружать уголь, разгружать вагоны, засыпать зерно. Поставили их на гасильные и молотильные машины, к скоту на уборку хлевов, доярками, огородницами.

Первое время — упреки мужьям, братьям и отцам, прошедшим не то в лагерях ИТЛ в лихое, бериевское время. Слезы. Волдыри на ладонях, занозы, ожоги. Потом как-то стали привыкать.

Я не знаю, как в других местах, но у нас начальство, все еще ожидавшее пополнения с Дальнего Востока, вероятно, в виде пропаганды, пошло навстречу тем немногим, которые попали в Чурбай-Нуру. Кто из женщин был послабее, или умел что-нибудь делать, тех устроили портнихами, закройщицами, в лаборатории, в больницу, учительницами в среднюю школу, надзирательницами и воспитательницами в дет-ясли.

За год — полтора произошло известное отсеивание.

Молодежь почти всю отправили учиться, на спец-курсы и в университеты. Мужчин и женщин с дипломами из Харбина, после сдачи некоторых гос-экзаменов (география СССР, экономическая политика СССР, политучеба и русский — советский, сказал бы язык) определили по специальности. Я слышал о случаях, когда люди сразу же становились доцентами университетов, главными инженерами на предприятиях, докторами в больницах. Но это — единицы. Масса, пробывшая с Дальнего Востока, была влита в колхозы. Работала тяжело и тяжело привыкала к новым условиям. Была и смертность. Особенно страдали дети, выросшие в других условиях.

«Семеновцы» и «каппелевцы», освобождавшиеся, по отбытии срока, из нашего лагеря, получали разрешение ехать на соединение с родственниками. Будучи уже приспособленными к гораздо более тяжелым условиям жизни, они хватались за любую работу и ставили на ноги свою семью. Все иллюзии на что-либо другое они давно уже потеряли и старались ассимилироваться и стушеваться в общей толще подсоветского народа.

Я бы не хотел, чтобы кто-либо их в этом упрекнул. Красный Китай был их и их семейств врагом. Выезд за океан был более чем проблематичным, в особенности для тех, кто десять лет провел «где-то за железным занавесом». Куда им было идти и где искать кров над головой? Тем более, что новая внутренняя политика Кремля, его теория о «сосуществовании» с 58 и всем ей сущим и присным проводится неукоснительно. Никто из чиновников, представителей власти, не смеет упрекнуть приезжих с Дальнего Востока, что они были эмигрантами от коммунизма. Это строжайше запрещено.

Позже, перед отъездом в Москву, я встретился с «осевшими». Такие же бесвкусно-безличные квартиры, как и у коренных подсоветских. Старые вкусы спрятаны под спуд. В глазах застыла тоска, скрываемая за улыбкой, говорящей: — Ну, что ж! Не мы одни! Тревога за детей, которые, влившись в школы, молодежные клубы, легко, по-детски ко всему привыкали, бесследно забывая прошлое. Тяжелая проблема — «отцы и дети». Душа заперта на замок.

В каждой такой семье, если имелся «патефон», обязательно находилась и пластинка песни: «Не тревожь ты меня, не тревожь, и думы мои не разгадывай». Когда ее заводили, садились по уголкам и тяжко переживали свои такие общие и такие личные страдания.

Я упомянул о «старых вкусах». Конечно, то, что в себе привезли люди из Харбина, Шанхая и других мест, не находило питания в советской жизни. В провинции, а особенно в тех краях,

где стройка и жизнь недавно начались, каждый живет по своему желанию. Простому колхознику средних лет за глаза довольно пойти два раза в год в кино и прочесть одну — две книги. Для него важно иметь свою койку, тумбочку для вещей, пол-литра водки и хорошего дружка, с которым можно ее «раздавить», побалакать, и, в случае чего, без обид впоследствии — набить морду. Рабочий с положением уже чаще стремится в кино, он не пропустит спектакля приезжего театра и чаще захаживает в библиотеку. Книги его — технические. Он хочет научиться чему-то и на одну ступеньку подняться вверх по служебной лестнице. Интеллигенция ищет общения, любит музыку, литературные сходки. Она стремится к уюту и маленькому, допустимому строем комфорту.

Приезжие, попадавшие на положение колхозников или простых рабочих, знавшие в прошлом другие стандарты жизни и имевшие другие духовные запросы, чувствовали себя «париями»: к одним не подошли, от других отошли.

Им трудно было сразу же установить, что мастеровые на производствах имели минимум семилетку, а некоторые и десятилетку. С ними можно было интересно поговорить и многое, совершенно неожиданное, услышать. Людей ниже 40-летнего возраста безграмотных нет или почти нет. Как читают и пишут, неважно, но читать и писать умеют все. Пишу я это к тому, чтобы указать, что во всех рабоче-трудящихся слоях СССР можно всегда найти людей, с которыми можно скоротать время и чему-то от них научиться, прежде всего научиться любить русского человека, который сохранился, несмотря на почти сорокалетнюю вивисекцию его души.

Если из России элиминировать коммунизм, то она в наших понятиях окажется страной, шагнувшей вперед гигантским шагом. Не режим ведет к прогрессу, а народ тянется к нему. Прогресс же является одним из самых страшных врагов коммунизма. Имеющий очи — видит. Имеющий уши — слышит. Народ и слышит, и видит, и понимает.

Сначала в областных центрах, а затем, по желанию и стремлению народа, в каждом городке, при каждой школе открыты курсы и мастерские. Я не думаю, чтобы в любой другой стране мира, где масса развлечений, свободная и уютная жизнь, люди так стремились к самоусовершенствованию, как в СССР.

В чем искать утешения? Как убить время? Где найти тот вентиль, который даст возможность выйти накопившемуся пару-энергии? — В учении. В школе. На курсах.

В СССР Россия — это молодежь. Старые смирились и, согнув выи, тянут лямку. Молодежь заботится обо всем. Она пылает

лучшими стремлениями. Она борется с пьянством, с уголовщиной. Она следит за чистотой и гигиеной. Она читает, читает, читает. Посещает лекции научного характера. У русской молодежи в СССР растут большие и широкие крылья.

Я не знаю, поняли ли бы русские эмигранты стремления, мысли и мечтания русской молодежи, этой, подчеркиваю, России в СССР. Вероятно, нет! Молодая Россия ищет новые, чистые, особо светлые пути. Ее не тянет заграница. Она верит и стремится к лучшему будущему для своего народа.

Думаю, что пока мир, свободный мир, не заинтересуется, не заглянет, не познакомится с этой частью народа в СССР, он не поймет, какими путями нужно идти для своего собственного спасения, и где нужно искать своего потенциального союзника. Если свободный мир откроет коэффициент моральной силы подрастающей России, он поймет, что ее-то, Россию, трогать нельзя. Патриотизм и национализм развит до крайности. Этому помогла порочная политика тех, кто не хочет видеть Россию в семье народов.

Те, кто покинул СССР в военные годы, кто ее покинул после войны, но до смерти скорпионов — Сталина и Берии, с трудом могут себе представить внутренний дух народа и то положение, которое я намеренно часто повторяю — «сосуществование» ненавистного режима с его прямым внутренним врагом. Там и одни и другие набираются сил. Первые для своего укрепления, вторые — для отпора и свержения. Пусть малочисленность членов компартии не обманывает никого. Все нервные центры государства все еще в их руках, но вспоминаю слова деда, пророческие слова: народ — это Россия, и, когда рухнут современные Нероны и их сатрапы — он, народ, будет победителем.

Жизнь бесконвойных в Чурбай-Нуре протекала по определенному руслу. Большинство работало в угольных копях, меньше на заводах. Места работы были расположены не дальше радиуса 50 км от города. Утром уезжали на машинах производства и возвращались вечером. Официально мы должны были быть уже в 6 часов в лагере, но редко кто приходил раньше восьми. Шли за покупками, в клуб поесть или просто, в хорошую погоду, когда ветер не очень надоедал, в степь погулять.

Воскресенье было для нас нудным, тяжелым днем. Из лагеря не пускали, и мы маялись за проволокой, смотря, как гуляет народ, играли в шахматы и домино, реже в карты. С уголовными ушел из лагерей и азарт. Для многих воскресенье было настоящим мучением. В будний день, после работы или в полдневный перерыв, можно было пробежать на реку, выкупаться,

зайти незаметно навестить кого-нибудь из вольных, «потрепаться» в лавочке с милой продавщицей, если немного покупателей. Воскресенья, как манны небесной, ждали мы в спец-лагерях, да и то не всегда оставались в зоне, а шли на сверхурочные задания.

Праздники у нас в Нуре любили только «художники». Был у нас один поляк, резчик по дереву и гравер по металлу. Он делал разные вещицы и рамки из материала, который другим мог бы показаться щепкой для подпалки печки или ржавой планкой. Резал, гравировал, полировал все эти «предметы роскоши». За одно воскресенье он зарабатывал до 100 рублей. Работал бы сам для себя — мог бы три тысячи рублей в месяц гнать. Заказчики всегда находились. И на производствах таких специалистов-художников своего дела, мебельных столяров, обивщиков, изготовителей настольных ламп и т. д., даже если они были присланы совсем на другие работы, освобождали по «блату», «туфтили» с их нормой и давали возможность заниматься своими изделиями, платя им за это очень щедро. В СССР «золотые руки» больше ценятся, чем диплом московского или любого другого университета. В будни, работая, человек немного отвлекался. В воскресенье в голову лезли только одни мысли — когда же нас отправят, когда же поедем из СССР? Приставали к начальству, которое и так смотрело на нас, как на «отрезанный ломоть». Они только разводили руками и говорили: Как Москва прикажет. Мы вами не распоряжаемся. Разрешат — сейчас же отправим.

Среди нас, «отрезанных ломтей», не проводилась пропаганда за оставанье в СССР. Я всегда вспоминал фразу — «как волка ни корми.» Мы действительно все смотрели в «лес» за Железным Занавесом. Нас не привлекали никакие приманки и развлечения. Даже «спартакиадами» или «слетами передовиков производства» трудно было заинтересовать того, у кого мысли витали по всей Европе и даже Америке.

«Спартакиады» и «слеты» устраивались МВД в виде политпропаганды, каждые три — четыре месяца. Это было своего рода собрание и соревнование лучших рабочих. Обычно они происходили в апреле — мае, затем в августе и, наконец, в декабре. Начальство назначало день сбора и сообщало, в каком отделении он будет происходить. У нас только одна зона утопала в зелени, благодаря удачной почве и усердному старанию в ней живших. Это была зона 5 л/о. Лагерь ко дню слета украшался трафаретными «лозунгами», красной краской намалеванными на фанерах, арками с «добро пожаловать», «привет участникам слета «передовиков производства», «честь и слава лучшим работникам шахт».

В наших сердцах подобные лозунги эха не находили. Мы

были стреляные воробьи и знали, чего еще недавно стоил «самое дорогое и ценное в государстве — человек». Мы все еще помнили так недавно слышанные нами слова: «нам не труд ваш нужен, а труп».

Конечно, времена те прошли, и дай Бог, чтобы никогда не вернулись, не для нас, отбывающих, а для тех, кому жить в «рае социализма», я теперь Кремлю нужны были рабочие, сильные и здоровые руки, а не «фитильки огарков», но все же занозы сидели глубоко, и энтузиазма все это не вызывало.

Однако присутствовать на слетах мы были должны. Перед воротами лагеря располагался наш духовой оркестр, который маршами встречал подкатывавшие грузовики. Приезжали все празднично одетые, нередко со своими оркестрами. Все окрестные лагеря, удаленные на 10 и до 60 км от зоны 5 л/о, слали своих представителей.

Приезжали усталые. Летом потные, запыленные, зимой запорошенные снегом. Гостей сразу же гнали под душ. Души в СССР — самое разлюбезное дело. Кто говорит о том, что русский человек грязен — не прав. Русские обожают бани, и ничего их так не веселит, как хороший душ с большим количеством воды. Лагерные «дамы» имели свое отделение, куда удалялись «навести блеск». Спортсмены шли осмотреть футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, где после обеда должны были состояться спортивные состязания. И тут я должен приметить, что с 1954 года не было лагеря, в котором не обращали бы внимания на физкультуру.

В день слета начальство, ради пропаганды, из кожи лезло вон, и в Чурбай-нуринских магазинах можно было купить тетрадки, карандаши, конверты, книги, газеты, журналы, конфеты, халву, печенье. Внезапно появлялся сахар, который не всегда был в достаточном количестве. Смотри, мол, как мы в нашем городе живем. Приезжие, да и свои это знали и берегли деньги для слета, чтобы сделать, как можно, больше закупок.

С трибун исчез навсегда портрет Сталина. Обычно их украшало монгольское хитрое лицо Ленина, красные тряпки и очередные лозунги. Проводились микрофоны и от них громкоговорители не только по зале клуба, но и на улицу лагеря. Президиум слета составляли начальник Управления, еще кто-нибудь из МВД и заключенные. Получалась довольно забавная картинка: рядом с полковником МВД сидели доярка Маня и заключенный шахтер, «контрик» из 58. Этим МВД хотело подчеркнуть свое примирение с бывшими «врагами народа». Мы, мол, свои. Сочлись, и все в порядке!

Может быть, какой-нибудь эмвэдист так и думал, но мы

видели во всех этих «петрушках» подтверждение своих мыслей. Мы, т. е. заключенные, построили Беломорканал, наши кости составляли основание каналов Волга — Москва, Волга — Дон. Кто работал на всех строительствах во всех шахтах? Кто добывает золото Лены и Колымы? Кто прокладывал пути и строил дорогу Москва — Воркута?

Мы! Заключенные СССР. Нам он обязан. Перед нами в неоплатном долгу. Неизвестному по 58 должны быть всюду поставлены памятники. Если МВД старается замазать глаза «слетами», трибунами, на которых рабовладелец сидит рядом, с наполовину раскрепощенным рабом — мы не забыли жертв. Мы знаем, что каждая шпала — это погибший человек, угасшая жизнь. Мы все помнили смертность «контриков» на работах Котлас — Ухта — Печора — Воркута — Соликамск. Мы знаем, сколько наших, как снопы, полегло на Тайшетской трассе. Нет! Мы этого никогда не забудем.

Ни Маша — доярка, ни шахтер. Петро не чувствуют себя в своей тарелке на этой трибуне, сидя бок о бок с полковником ненавистного МВД. Он делает любезное лицо, пожимает Машину заскорузлую руку, а Маша вспоминает своего отца, раскулаченного, погибшего в Заполярье, братьев, сложивших головы во славу коммунизма, краснеет, пыжится и, кажется, вот-вот расплачется

Спец-персонал из начальства, натасканные «вольные» произносят на слетах громовые речи, клянутся, дают обещания, обязательства о «выполнении и перевыполнении», стараясь зажечь довольно инертную лагерную толпу.

Заигрывание с нами принимало иной раз просто утрированные, карикатурные формы. Начальство каялось в своих ошибках, критиковало свою работу, посыпало пеплом главу за прошлое, любезно махало руками, как на пустяк, на критику работы или поведения лагерников, если такая бывала. Их речи кончаюсь обычно словами:

— Видите, граждане, мы — люди, и нам свойственно ошибаться, мы это не скрываем и от всего сердца желаем исправить то, что не годится!

Маска. Маска на лице по заказу из Москвы. Маска с раз навсегда сделанной сладкой улыбкой. А два года тому назад? — Гад! Фашист! Контра преступная! По врагам народа — очередь из автоматов.

Нет! Мы этого не забыли, но обстоятельства заставляли и нас «сосуществовать».

Помню, на одном слете наш начальник Управления, полковник МВД, с весьма, в наших понятиях, подмоченной

репутацией, теперь из волка превратившийся в овечку, «для сближения и знакомства» рассказал с трибуны такой случай: Оказывается, в 1955 году (т. е. тогда, когда он нам рассказывал) в одном из наших лагерей произошла забастовка. Как он говорил, затеяли ее «бандиты» и подговорили остальных. Он смело поехал туда, без сопровождения, без охраны, и вызвал к себе одного из вожаков. Человек пришел настороженный, суровый, готовый на все.

— Он меня испугался, продолжал полковник. — Но теперь МВД действует иными методами. Зачем кричать? Зачем грубить? Я предложил ему сесть, закурить и поговорил с ним, как человек с человеком. Узнал его подноготную. Он был простым солдатом, заблудшим в военные дни, по простоте душевной, зла не мысля, попавший в ряды власовцев! Бандитам и блатным он не был, но после осуждения, когда попал в первый лагерь, на него налетели лагерные воры и убийцы, стали стягивать с него немецкую форму и кричать: «Держи вора и убийцу!» Парень он быт сильный. Избил воров, а одного так хлопнул, что тот умер. МВД послало его в штрафную бригаду, прибавив к личному делу характеристику «фашист, убийца и склонен к бунту».

— На основании этого идиотского (примечания одного из бериевских опричников) несчастного парня гоняли из штрафной колонны в штрафную. Ничего, кроме «строгих наручников», подвешивания, побоев и изоляторов он не видел. Конечно, озверел, да кто бы на его месте и не озверел, граждане! Выслушал его и пообещал по-человечески уладить дело! Мы, МВД, ничего с прежними преступными методами общего иметь не желаем! Из него еще можно сделать человека. Вот я и убрал его из того лагеря, перевел в новую среду, дал хорошую работу, делаю все, что могу, для его освобождения и надеюсь, что он станет полезным членом нашей здоровой, связанной общей любовью советской семьи!

Рассказ был передан в патетическом тоне, сопровождался драматическими жестами, иллюстрирующими и побои (взмахи рук!) и стальные «самостягивающиеся» наручники (он сжимал пальцами одной руки запястье другой, корча лицо, как от невыносимой боли), можно сказать «подвешивался», и нам было ясно, что он не раз присутствовал при подобных «сценках лагерного быта», да и сам принимал в них участие. Речь его покрыли очень жидкие аплодисменты. У нас был мрак на душе. Не верили, чтобы несчастный власовец забыл все, через что он прошел. Если и призабудется, то не скоро, но примирения и прощения не будет.

Правда, чужая душа — потемки. А в общем, это только

картинка к тексту о «новой политике МВД».

После дискуссий тут же в клубе раздавались награды за хорошую работу, за высокую норму и т. д. Оркестр играет туш. Барабан заглушает слова. Выдают ручные часы, женщинам отрезы на платье, бывают и денежные награды от 100–400 рублей или просто дипломы, о которых рабочие говорили — жалко, бумага твердая! Мы все знали, что награды — «блат», что нормы — «туфта», но радовались за тех, кто мог посмотреть, который час, у местной портнишки сшить ситцевое платье или купить себе что-нибудь за «сверх-деньги».

Все с нетерпением ждали конца «церемонии» и шли на обед. Давали очень прилично, по случаю праздников, «из неприкосновенных запасов МВД». Минимум три — четыре блюда, сладкое, но без спиртных напитков.

После обеда одни шли смотреть спортивные состязания, другие танцевали под лагерный «джаз», но большинство шло в клуб, где свои же люди давали концерт. Среди нас были прекрасные артисты, профессионалы, музыканты, певцы, декламаторы. Иной раз к нам заезжала эстрадная группа Московского театра «Сатира». Можно было искренне посмеяться. Их миниатюры были остроумны и часто не в бровь, а в глаз били по МВД. Конечно, завуалированным способом, но нам было достаточно намекнуть, и мы в восторге буквально ржали. Часам к девяти вечера начинался разъезд по лагерям. Мерседес-Бенцы и Кадиллаки у нас заменяли те же грузовики. Прощания. Объятия. Часто эти слеты были единственной возможностью для встречи друзей, влюбленных, мечтающих пожениться. До свидания через три — четыре месяца!

Шло время. День за днем. Терпение иссякало. Мы с горечью подтрунивали друг над другом, то декламируя «а счастье было так возможно, так близко», то распевая в ухо замечтавшемуся приятелю — «ах, дайте, дайте мне свободу!» и в этой шутке мы скрывали раздраженность, напряжение и горечь.

10 августа для меня было таким же днем, как и все другие. Отработал свою шахту, вернулся в лагерь, вымылся в бане и с мокрым полотенцем в руках, на ходу вытирая шею и волосы, направился в лагерную парикмахерскую, привести лицо в порядок. Вдруг мне навстречу бежит мой друг, Миша Невзоров. Лицо белое, как бумага, глаза горят, как плошки:

— Николай! — кричит он. — Николай! К Лиле едешь, понимаешь?

Нет. Я ничего не понял. Я только весь похолодел и почувствовал, как мои ноги становятся ватными.

Миша обнял меня, и мне передалась его дрожь.

— Ты свободен, Николай! Пойми! Свободен! Повтори это слово! Повтори!

— Но как? — лепетал я. — Куда? Как к Лиле? Я ведь не знаю, где она и жива ли?

— Свободен! — ликовал милый Невзоров. — Тебя амнистировали Указом Президиума Верховного Совета от 27 июля, как югославского подданного. Едешь в Потьму, а оттуда — домой! Только что пришла радиограмма из Москвы. Ты и некоторые другие.

Как амнистирован? Я ничего не понимал. Я отсидел своих 10 лет и пять месяцев в придачу. Почему же амнистия?

— А ты? — обратился я к другу.

— Пока ничего! Не унывай, авось и мой черед придет! Теперь давай вместе радоваться за тебя! Дорогой, дорогой Миша.

Радость моя была безгранична. Радовались со мной и другие. Все мы ждали одного — свободы. Узнали мы, что вышло несколько указов, по которым стали освобождать иностранцев. Президиум «амнистировал» в конце июня австрийцев, 27 июля югославцев, 29 июля поляков, 30 июля чехов, 2 августа французов и бельгийцев и т. д. и т. д. Я не запомнил все даты и все национальности, знаю одно: упоминались абсолютно все народности мира. Наши лагеря были настоящим интернационалом.

Нас, югославских подданных, освободилось двадцать пять человек, и мы, как и другие национальности, попали сначала в Потьму, затем в Быково под Москву и уж оттуда на свободу. До конца 1955 года почти все выехали за границу, кроме югославов, которым ставил всяческие препятствия посол Видич. Я единственный выскочил из этой группы, благодаря моей кузине в Швеции.

В СССР оставались только спец-техники, которых режим никому не хотел отдать, русские «иностранцы», чья судьба до сих пор не решена, так называемые «аллиерты» и громадное количество закрепощенных немцев. Но в мои дни Потьма и Быково пухли от радостных «репатриантов».

Путь обратно

Рассчитываться с лагерями — веселое дело. Все, что я имел, что накопил, носильные и другие вещи роздал товарищам, которые оставались в Чурбай-Нуре.

В дни пребывания в этом городке, в лагере, я делал кое-какие записки, но, подумав, перечел их несколько раз и уничтожил. Боялся обысков и последствий.

Время перед отъездом проходило, как в угаре. Я впервые стал верить в встречу с женой и матерью. Впервые я решил, что они живы, что они должны быть живы, как для них остался жить я. По ночам спать я не мог и лихорадочно перебирал в голове весь мой моральный багаж. Вспоминал, как бы укладывал в голове факты, встречи, разговоры. Мне до боли захотелось найти могилу отца, побывать в Москве и мысленно помолиться у стен Лефортовской тюрьмы о душах погибших деда, дяди и иже с ними. Я разбирался сам в себе, в своих чувствах к России, которую я обрел под красным плащом СССР, в чувстве моем к народу. Я почувствовал укол тоски. Я ехал на свободу, но на чужую свободу, к людям, говорящим на чужом языке, исповедывающим чужую религию.

Но и эти уколы ни на сотую долю секунды не рождали желания остаться. Нет! Я должен был идти туда, где я смогу, я верил, лучше служить своей родине, чем на угольных копях Казахстана. — Словом и делом! повторял я сам себе. — Словом и делом, как завещал дед, как наказывал отец.

Словом и делом, чтобы заслужить право считать себя русским.

Весть о моем освобождении разнеслась по всему городку. Многие «вольные» приходили поздравить меня. У одних глаза искрились сердечной радостью и любопытством. У других они туманились какими-то скрытыми мыслями. Была ли это затаенная, понятная, маленькая человеческая зависть или мечта самим побывать в далеком свете, увидеть, узнать?

— Куда же вы поедете, Николай Николаевич? — спросила меня одна совсем молоденькая, милая девушка, приехавшая из Центральной России в Казахстан, к отцу, недавно освобожденному «контрику».

— На свободу, Дашенька!

— На сво-бо-ду. — протянула она, не поднимая на меня глаз. — Свобода! Слово-то какое! Крылатое, широкое, большущее!

— А как вы, рожденная здесь, понимаете свободу?

— Понимаю и не понимаю. Как море, что ли. Видела его однажды. Как ветер. Вот в природе — понимаю, а для человека,

не знаю.

Бедная Дашенька, потерявшая мать во время войны, воспитанная теткой и в шестнадцать лет впервые нашедшая семью и уют в скромной квартирке своего преждевременно состарившегося, согбенного и седого отца. Уют и родственное тепло.

— А куда же? — допытывалась она. — В какую страну?

— Куда примут. Ведь я ничего не знаю о родных, Даша. Ни о матери, ни о жене. Живы ли.

— Живы! — вдруг с уверенностью и восторгом вскрикнула девушка. — Живы и ждут! — вот скажите, там куда поедете, всюду будете свободным?

Что я, после Лиенца, после своего знакомства с иностранцами, государствами и правительствами, мог ответить советской девушке Даше?

— Как вы понимаете это слово — да!

— Сможете ездить, куда хотите? Учиться, водиться с теми людьми, которые вам нравятся? Сможете работать на том, к чему вас сердце тянет?

— Да, Дашенька! — ответил я, но боюсь, что в этот момент сильно кривил душой.

— И я, если бы попала туда, на свободу, и я могла бы так жить?

— Да, Дашенька!

Я поторопился распрощаться. Мне было трудно говорить с этой честной и прямой русской девушкой, стремящейся к знанию, к развитию, к неизвестной и непонятной свободе. Мне вдруг стало душно и не по себе. Ведь я и сам не знал, что меня ждало в «свободном мире».

Много подобных разговоров пришлось мне вести перед отъездом. Много раз я мысленно разводил руками, боясь заведомо солгать и стараясь не думать о возможной правде. Помню еще, раз я говорил с «молодой Россией», когда один юноша забрасывал меня вопросами, сам торопясь отвечать на них, перебивая меня и кипятясь.

— Вот вы поедете за границу. Вы сами, говорите — русский. А я знаю, там всех русских ненавидят. Ненавидят Россию. У нас в вашем «свободном мире» нет друзей, нас бы живьем съели, всю страну огнем сожгли, на куски разрезали и по кускам уничтожали!

— Откуда у вас, тезка (Колей его звали), такие мысли?

— Что мысли! — разговаривал, встречался. И с теми, кто у немцев в лагерях от голоду дох, кого «унтерменшем» называли, и с теми, кто в оккупационных войсках побывал.

— Ну за время войн, Коля, немцы всех «унтерменшеми» считали. Я их не защищаю. Гитлер был безумец и действительно шел на расчленение России, но теперь. Это пропаганда, мой друг. Вас нарочно так воспитывают в ненависти к другим народам.

— Неправда! Мы никого не ненавидим, а нас все. Весь мир! Я знаю! Мне дед говорил. Он при царях жил. Он говорил, что весь мир всегда России на богатстве и широтах завидовал, боялся ее могущества.

Я знал, что Коля не коммунист. Он болел российской скорбью, любил свою страну и был воспитан, или сам в себе воспитал болезненно повышенное национальное самолюбие, болезненный патриотизм. И его, и Дашу, и многих Николаев и Даш терзали разнородные чувства: стремление к свободе и страх от «свобод», подобных тем, которые штыки принесли им в 1941–1944 годах.

Среднее поколение — более легкое в разговорах. У них или открытый протест, или известная, укоренившаяся резигнированность. Так уж нам придется доживать век, если как-нибудь не переменится. Молодежь же пылает и горит и в этом горении, как в кузнице, кует свое личное, молодежное мнение и, может быть, будущую судьбу нашей России.

Прощаясь, все просили им писать «на красивых открытках» из-за границы и не поминать лихом. — Власть одно, а мы, русачи, другое. Не думайте о нас плохо!

12 августа было днем моей легальной свободы. Правда, ко мне «пришили» сопровождающего, парнишку, у которого в сумке хранилось мое «дело» и два билета в спальный вагон в поезде Караганда — Москва. Поезд, которым мы ехали, не был экспрессом, а простым пассажирским. Спальные места — особая привилегия. Советские граждане едут в менее комфортабельных условиях. Заполняют диваны, затем карабкаются на вещевые полки, и когда все полно, рассаживаются на баулах, котомках и корзинках в коридорах. На всех станциях «горячий кипяток», водка, лепешки, топленое масло, яйца, отварной горячий картофель, соленые огурцы и — жареный цыпленок. Другими словами — для каждого кармана. На остановках люд выбегает, покупает водку и закуску по средствам и бежит обратно. Семечки — традиционное русское лакомство — не уступают ничему другому в популярности. Очевидно, и через века их шелуха будет разметаться ветром по всей стране от моря до моря.

Вагоны содержатся чисто. Проводники буквально не выпускают из рук маленьких метелок и совочков. Все время слышится их монотонное причитание: — Станция Челябинск. Стоим пятнадцать минут. Граждане, не бросайте шелуху на пол.

Соблюдайте чистоту. Станция Челябинск. Куда вы прете, гражданин? Дайте сначала гражданам выйти! Ваш билет. Нет! Не здесь, в следующий вагон ступайте! Гражданин, для окурков есть пепельница, чего на пол кидаетесь! Станция Челябинск.

Когда наступает ночь, плацкартные ложатся на диваны, а остальные под стук колес дремлют сидя и даже стоя, клюют носом и ругаются, когда идущие в уборную становятся им на ноги. — Ишь! Нахалы! Обратно на голову лезут! В поездах дальнего следования публика почти не меняется. Каждый «перекидывается» минимум на 600–800 км. Для коротких дистанций существуют поезда «коротких» же назначений. Это — 500 километров. Для тех масштабов пятьсот километров — близко. Можно сказать, к соседям в гости едут. В России никто расстояний не боится. На курорты едут по 7000 километров и считают это нормальным.

Мой спутник оказался незаменимым человеком. Он просто нырял в любой вагон, находил себе там компанию и мной не интересовался. Однако, зная, что я везу с собой немного денег — рабочие сбережения, на станциях выныривал и кричал: — Николай Николаевич, дорогой, можно хорошей водки достать! Жжжахнем? Ну, жжжахали по двести граммов, на быстроту закусывая, и он опять исчезал. Я был впервые предоставлен сам себе. Думаю, что только в поезде я вполне отдал себе отчет во всем происходящем. Неудержимую радость сменили раздумье и разные предчувствия. Каких только страхов я себе не рисовал! Я просто испугался того, что мне могла преподнести свобода. А вдруг, как меня никуда не примут, и придется оставаться в СССР? А вдруг я выеду заграницу и узнаю, что я совсем, как перст, один?

Стоя на площадке или высунувшись в открытое окно, я с жадностью рассматривал свою родину. От станции до станции поезд летит через степь бесконечную, куда глаз достанет, целыми часами. От большого города до другого целый день. Расстояния настолько огромные, что европейскому уму они кажутся просто невероятными. Четыре дня от Караганды до Потьмы.

Из тропической жары Казахстана поезд перенес нас к Петропавловску, где лил непрерывный дождь, затем под Златоуст, в котором следовало бы иметь хорошее пальто. Осталась за нами пустыня, и путь вился, просекая густой зеленый лес.

Спать я не мог. За все время пути я только забывался в какой-то тревожной дреме и никак не мог освободиться от физического «сжимания сердца». Первый раз между абсолютно «вольными» людьми, не знающими, кто я, не предполагающими, что я «контра», «58», «освобожденец»!

Невольно прислушивался к разговорам. Вполголоса говорили

о ценах, хлебе, угле, новых тракторах, новых «достижениях в рекордах». Видя, что я не сплю, пробуют и меня втянуть в разговор. Один дядя по солиднее, не то мастер, не то инженер, обратился ко мне, кладя руку мне на колено:

— Вот, товарищ, рассудите, где у нас здравый разум? Сопляку — школьнику ясно, что лучше использовать местные средства для постройки здания, по планам, созданным местными же силами, которые базировались на местных условиях, чем ждать по приказу Москвы новый материал, чужие планы, которые придут к нам из Архангельска или Владивостока. Откуда им, головотяпам, знать, какой тип здания и из какого материала здесь строить нужно, чтобы он всем условиям отвечал? Все у нас так, потому что у заправил «ума палата». Спички делаются в Иркутске и везутся для продажи в Караганду, потому не будь зажигалок кремневых, месяцами нечем было бы огня зажечь. В Красноярске печи топят не своим деревом, а углем из Донбасса, а наше красноярское дерево гоним в Астрахань. Кричат, что в Алма-Ате яблоки родятся, да я что-то их яблок не ел, а привозные из Эривани. Под носом добро лежит, не смей трогать: предназначено для другого края. Таскают сюда, таскают туда. Поезд — составы неделями на станциях стоят — пути заняты. Вагонов не хватает. Туфта здесь, туфта там. Ну, как вам это нравится?

— По правде сказать, я ничего не понимаю. Десять лет стараюсь разобраться и не могу.

— Да и то, я что-то по одежде предполагал, а все же стеснялся спросить. Вы что, «освобожденец»?

— Свеженький.

— Пятьдесят восьмая?

— Да!

— Ну, дай вам Бог! — похлопывая по моей коленке, искренне пожелал собеседник.

— Вам-то, конечно, трудно в делах разобраться. Десятку отхватили и горя нахлебались, да и нам было не легче. Посмотрели бы вы, что у нас в 1951 году делалось! Сумасшедший дом! Куда едете?

— Заграницу, домой.

— Так вы иностранец? То-то я слышу, по-русски говорит, да чтой-то не то. Не по-нашему. А откуда же вы будете?

— Ну, по рождению я москвич, — рассмеялся я, — но прожил жизнь в Югославии.

— И я москвич! — обрадовался «дядя». — Земляки мы с вами. Как вас звать прикажете?

— Николай Николаевич.

— Так вот, Николай Николаевич, вы-то махоньким за границу ушли? А мы остались. Горе мыкали. От войны счастья ожидали. В каждом иностранце дружка видели, а они нас в морду, в морду, почем зря. Уж не знаешь, что лучше: от своих по спине дубиной получать или от чужого в зубы. А вы, чай, у нас в лагерях всяческого насмотрелись и натерпелись? Ну, да кто старое вспомянет, тому глаз вон!

— Глаз — глазом, но годы мои мне никто не вернет.

В наш разговор вмешался второй сосед, из железнодорожников.

— Вот в этом отношении, товарищ, вы правы. Годы нам никто не вернет. Вам десять лет, а нам всю жизнь. Напортили нам они. «Он», да Берия.

— Неужели же только «он», да Берия?

— Так выходит. Вы должны были сами видеть, как вас, как псов, гоняли до смерти «вождя» и до ликвидации Берии, и как все переменилось. Переменилось не только в лагерях. Полегчало. Будет еще легче. Народ не дурак. Что ему раз дали, обратно не отберут! Сумеем отстоять. А вы, слышу, заграницу едете?

— Надеюсь!

— Чего нас американцы все войной пугают? Читаешь газеты и изумляешься. Все, кажется, имеют, а на нас глаза таращат. Нам война не нужна. Будет война, опять нам на голову сядут. Мы мира хотим. Только в мирной жизни можно по пути прогресса государство на нормальный лад перестроить.

— Так говорят ваши газеты, а иностранцы считают, что СССР агрессивную политику ведет.

— Кто? Народ не хочет. Народу дай немного жизнь устроить. Дай нам хлеба, сахару, крышу над головой, чтоб с соседями из-за кухни не ругаться. Дай мужику землю свою обрабатывать.

Спутник как бы спохватился, замолк, закрыл глаза и притворился спящим.

На следующее утро я немного освежился в умывалке и стал у окна в коридоре, рассматривая мчащиеся мимо виды. Ко мне подошел молодой человек, который тоже ехал в нашем купе, но спал всю ночь. По виду не то техник, не то студент.

— Доброе утро! — сказал он приветливо.

— Доброе утро! — ответил я так же любезно.

— Слушал я вчера ночью ваши разговоры.

— Разве вы не спали?

— Нет. Лежал с закрытыми глазами. Я к вам сначала присматривался. Манеры у вас не «наши». Заметил, как вы помогали вещи чужие раскладывать. Разрешения спрашивали окно открыть, не надует ли кому-нибудь. Ну, и одежда «первый

сорт» для освобожденных. Скажите, вот, когда за границу приедете, что вы о нас говорить будете? Коммунисты, сволочи, звери, чекисты? Всех под одну гребенку?

— Нет! Конечно, нет. Я умею делать разницу. Народ.

— Вот именно, народ. А об этом народе жуткие вещи говорят. Иной раз слушаем, что иностранные станции говорят. Многие из ребят, наших студентов, хорошо языки знают. Я сам говорю по-английски. Слушаем, и с души прет. Как нас только не называют! Варвары! Звери! Каждый будет варваром или зверем во время войны, в особенности, если с вашей родиной такое сделают, как с нашей. «Русские», «Россия», как что плохое — так русские, а как насчет дружбы — СССР! Я родился здесь. Вырос. Я люблю свою родину, как дети любят мать, даже если она. ну, не очень в порядке. Я люблю наш язык, литературу. Пушкина, Достоевского, Тургенева. Я преклоняюсь перед нашим театром, актерами, певцами. Моей душе говорит только русская музыка. Я горд грандиозными шагами нашей техники: Волга — Дон, атомной электростанцией. — и голос у юноши совсем упал.

— И я стыжусь, стыжусь до боли и страданий, многого, что у нас происходило, и что происходит. Не только я. Все мои товарищи, друзья. Мы очень больно переживаем наше недавнее прошлое. Понимаете?

— Понимаю всей душой.

— Так вы правду скажете там о нас?

— Правду!

— Спасибо.

На четвертые сутки прибыл в Потьму. Вынырнувший, как из-под земли, сопровождающий, луща по дороге семечки, доставил меня прямо в лагерь. Опять! — подумал я с тоской. Но в потьминском лагере на вышках нет часовых. Жители лагеря считаются официально свободными людьми, ожидающими репатриации.

К своему ужасу, на первых же шагах я столкнулся с отправленными из Чурбай-Нуры и других мест югославянами. Они действительно сидели и ждали у моря погоды. А я так надеялся, что они давно уже за пределами СССР и, по моей просьбе, предприняли шаги к розыску остатков моей семьи. От них я узнал, что Тито не желает принять своих репатриантов. Я тоже значился югославским подданным и не зная, где мои родные, не имея возможности указать другое государство, у правительства которого можно было просить о въезде, я упал духом. Неужели же мне придется тоже отсиживаться в Потьме и, может быть, никогда не увидать той свободы, о которой я мечтал, молился?

Уезжала партия в Австрию и Францию. Слезно просил людей постараться найти хотя бы след Красновых или кого-нибудь из друзей, которых бы заинтересовала моя судьба.

Время тянулось мучительно. Потьма была скучнейшим местом. Все мои поиски следов могилы отца остались безуспешными. Слоняние и ничегонеделание действовало мне на нервы. Я почти впал в отчаяние, когда меня вызвали к начальнику лагеря и сообщили, что меня разыскивает моя кузина Татьяна Хамильтон из Швеции и хлопочет о моем «возвращении» в эту благословенную страну. Радость просто огорошила меня. Я потерял дар слова. Значит, какие-то мои открытки дошли, и Таня откликнулась.

Офицер держал в руках какую-то бумагу и сказал мне, что это официальное отношение Шведского Красного Креста, присланное по адресу Красного Креста СССР, и что в нем сообщается адрес моих родственников в Швеции.

— Если вы желаете, — сказал он мне, — мы вас отправим в это государство. Если я желаю? Если я желаю? Да разве можно не желать, не рваться, не стремиться?

— Конечно, хочу! — буквально вскричал я. — Сделайте, пожалуйста, все, что можете!

Тут же, сейчас же, я написал заявление о моем желании ехать к моей двоюродной сестре. Дальнейшее происходило быстро и через каких-нибудь полтора месяца (что для меня значили полтора месяца!) меня отправили в Быково под Москвой, последнюю остановку перед прыжком в свободу.

Путь из Потьмы в Москву ничем не отличался от моего путешествия из Чурбай-Нуры. Спутники. Разговоры. Изумительная сердечность к «свободникам», в особенности «контрикам». Сочувствие. Расспросы о возможных общих знакомых — сосидельцах. Конечно, опять сопровождающий, но он мил и незаметен.

Привели меня в виллу, которая когда-то принадлежала купцу Морозову. В ней в дни войны и до отъезда в восточную Германию жил фельдмаршал Паулюс. Дом стоит в чудесной сосновой рощице, но окружен высоким забором и напомнил мне тюрьму. Там было все на пятачке. Обычно в ней останавливалось по 40–50 репатриантов, оставались для окончательного и полного раскрепощения 2–3 дня и ехали дальше.

Мне не повезло. Мои бумаги, по требованию СССР, были высланы из Швеции не прямо в Москву, а почему-то окружным путем, в Берлин, шведскому консулу. Тот запросил сначала германские власти, которые сообщили, что у них нет никаких сведений о каком-то Краснове и никакого разрешения на транзит

через Германию. Все вернулось обратно к кузине. Она снова написала в Москву. Бумаги были вытребованы обратно, попали в шведское посольство, затем в МИД и наконец в МВД. Эта волокита заняла три полных месяца.

Если я до некоторой степени поправил нервы в Чурбай-Нуре, то в Быкове я их снова потерял. Опять появились вести и «параши». Узнали, что немцев отправляли до октября целыми эшелонами, а потом — стоп, все замерзло, и они тоже околачивались где-то под Москвой. Тихо, как удушливые газы, ползли разные «сообщения из первых рук», о «международном положении», из-за которого нас не выпускают. Даже говорили, что нас вот-вот вернут в лагеря. Услышав подобный слух, мы бросались к эмвэдистам, но те нас уверяли, что мы свободны, никому больше не нужны, правительство СССР не имеет к нам никаких претензий, и что «вся задержка происходит из-за виз и паспортов, по обычаю западных стран».

Потерянное более десяти лет назад при выходе из аэроплана на московском аэродроме «господа» опять вернулось в вилле Морозова. Опять: Господа, просим вас! Господа, не волнуйтесь! Прямо, как в сказке!

У нас были хорошие койки с пружинными матрасами, простыни, теплые одеяла. Еда, правда, как в лагере, но готовили мы сами. У нас было пианино и, самое большое развлечение — первый в жизни телевизор. Все мы едва могли дождаться 7 часов вечера, когда начиналась передача. Нас несколько раз водили в прекрасный Большой театр. Смотрели постановки балетов «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», оперы «Травиату», «Бориса Годунова», «Ивана Сусанина» («Жизнь за Царя» Глинки), «Князя Игоря».

В СССР громадным успехом пользуются классики драмы, классики-композиторы. Народ любит Римского Корсакова, Бородина, Мусоргского, Глинку, Чайковского. Из иностранных оперных композиторов на первом месте стоит Верди. Бетховен не сходит с репертуаров концертов. Молодежь увлекается Шекспиром и Кальдероном. Островский и Чехов никогда не увянут в России.

У артистов и певцов — тысячи и тысячи обожателей. Корифеи МХАТа Пашенная, Яблочкина, Москвин, Тарханов — кумиры студентов и всей учащейся молодежи. Уланова, Плисецкая, Райзин, Михайлов — делают аншлаги в Большом Театре. В то время сильно увлекались «возвращенкой» колоратурным сопрано Гаспян, которая училась в Париже и Италии и добровольно «репатриировалась» в СССР.

Я сказал — аншлаг. Все театры, дававшие классический

репертуар, всегда полны до отказа. Нигде в мире так не любят искусство и театр, как в России. Менее охотно посещаются спектакли и оперы, созданные в угоду партии. Публика их не любит. Советские писатели и либреттисты однобоки и выхолощены. Все шаблон. Все рутина. Нет размаха. Нет струи свежего воздуха. Если по ходу пьесы захватывается знаменитый «пятый» год, то, будьте уверены, на сцене появится казачий офицер в черкеске и с нагайкой, «царский сатрап-жандарм», и против них массовые демонстрации «сознательного элемента» — железнодорожников, рабочих и войск.

1905 год вырастает на советской сцене до таких размеров, что становится совсем непонятным, как тогда, при отсутствии радиосвязи, танков и МИГов, он был удушен царским правительством. 1905 год на сцене, сопровождаемый пламенными речами агитаторов — большевиков, пышные фразы и клятвенные обещания «земли и воли» часто вызывают в публике неудержимый смех. Теперь, т. е. в послесталинские и послебериевские дни. Еще два года тому назад никто не посмел бы даже улыбнуться.

Литература, все виды художества, все созданное за последние 38 лет, грубо, тенденциозно и аляповато. В этом смысле пока еще ничего не изменилось, и творчество идет по проторенной красной дорожке.

Сейчас главным мотивом служит: СССР хочет мира, а кругом него алчно воют и тявкают разжигатели войны, агрессоры и империалисты. На этой базе работает вся киноиндустрия. Кинопропаганда является самой доходчивой, и меня часто спрашивали «вольные» люди. Скажите, почему США так стремятся к войне и захвату нашей территории. Мало им своего?

Видел я много фильмов и ни одного просто художественного, без примеси тенденциозности и пропаганды. Вспоминаю: «Депутат из народа», в котором девушка обрела высшее счастье, стала членом Верховного Совета, только благодаря тому, что всем сердцем любила партию! Прекрасно сняты и сконструированы картины «Сказание о земле Сибирской», «Сельская учительница» и др., но все настроение зрителю портит «генеральная линия» партии.

Такие фильмы, как «Кутузов», «Нахимов», «Ушаков», «Шипка», являются действительно «золотым фондом» кинопродукции. Они превосходны и в техническом, и в патриотическом смысле, но, если история в них соблюдена во внешних формах, все они все же сводятся к одному — к грядущей революции 1917 года. Меня поразили многие натяжки. Например, Нахимов, обращаясь к матросам, говорит: Ничего, ребята, придет и «наше» время! Какое

время? — Время «рабоче-крестьянской власти», конечно. Выходит, что патриот и верный своей присяге адмирал был революционером и без пяти минут коммунистом. Все эти мелочи портили не мне одному настроение. К ним критически относится каждый зритель и иной раз открыто, ехидно посмеивается.

Для ребят младшего возраста создан специальный театр ТЮЗ. Он должен был бы проводить воспитательную линию. Период свободного воспитания детей — расти как хочешь — давно отошел в забвение. Никто не хочет видеть ребят — хулиганов, вандалов, забияк и двоечников. Однако, и тут все самые лучшие и примерные дети, как их представляют авторы, пишущие для ТЮЗа — обязательно пионеры и комсомольцы. А почему же не беспартийная молодежь, дети беспартийных отцов, когда и первые и вторые составляют большинство в СССР? Хрущевская пора принесла, может быть, легкое изменение в подходе к пропаганде новой «генеральной линии». Допускается легкая критика, но не идей, а способов проведения идей. Опять получается, что правительство и его решения безгрешны. Грешат маленькие люди, которым доверено проведение в жизнь этих великих замыслов.

Как вышел призыв к комсомольцам: бросить все и ехать на целинные земли, пошли — поехали фильмы и пьесы на эту тему. Прошел год. Неудачи. Неполадки. Плохо. Пошли новые фильмы и новые пьесы. Показываются хорошие и плохие стороны этой «героической борьбы против природы», «жизни в палатках». В них проводится «здоровая» критика. Но она не затрагивает замыслов и стремлений ЦК. Виноваты Смирновы, Петровы, Мельничуки и Федоренки, т. е. те, кому государство доверило свою идею.

Прежде чем приступить к какой-нибудь «реформе социалистического порядка» или к любому новшеству, сначала выпускается пропагандная лента. Фильмы. Пьесы. Книга. Лекции. Советчики собираются лететь на Луну? Я уверен, что у них уже заготовлены все пропагандные материалы для воздействия на умы молодежи.

«Родина» выше всего. «Родина» дороже личного счастья. Я ставлю слово родина в кавычки, потому что пишется трамвай, а выговаривается конка. «Родина» это — партия.

Правительство делает все для того, чтобы народ забыл о помощи, которую Америка оказывала в годы голода, в дни войны. Америка — пугало. Жупел войны. Захватчики. Торгаши. Капиталистические акулы. Агрессоры. Хуже нацистов и фашистов. Последние отошли на задний план и постепенно забываются. СССР не хочет войны! Эти слова бросаются вам в глаза повсюду. Вы их слышите по радио каждый день. На них построены все

статьи, все произведения СССР — это голубь с пальмовой веткой мира в клюве.

Если кто там миролюбив, то только народ. Простые, широкие народные массы. Миролюбие правительства — последствие его слабости и неподготовленности. Коммунизм не готов. Коммунизм наделал массу ошибок и в странах — сателлитах и во внешней политике, какой бы она ни казалась хитроумной и ловкой. Кремлевскому синедриону нужно время и нужна опора. Год, два, даже пять лет отсрочки. Они должны укрепить тыл, усмирить народ, дать ему иллюзию безопасности со стороны своих управителей, внушить ему, что внешний мир, по ту сторону границ, кишит неприятелями, заклятыми врагами, капканами и ловушками. Двуликий Янус улыбается сегодня больше той физиономией, которая обращена к народу.

Не беру на себя риска установить, для кого были сделаны бреши в Железном Занавесе: для Запада или для русского народа. Возможно, что меры Хрущева — Булганина должны убить обоих зайцев.

37 лет Кремль был закрыт для народа и казался самым страшным пугалом. Его открыли. Ахнул внешний мир, видя в этом «эволюцию власти». Россия пожала плечами, но все же пошла смотреть на Кремль. Тридцать семь лет ни один простой гражданин СССР не мог поехать, как турист, за границу. Теперь их пускают. Может быть, под негласным контролем. Может быть, только избранных, в которых уверены, или уверены, что они должны будут вернуться, но их пускают. Пускают туристов в СССР. С известным разбором, но даже бывшие эмигранты, ставшие гражданами Франции, Америки и других стран, просачиваются в СССР, даже если они не коммунисты и не советские патриоты. Режиму это нужно. Нужно пустить пыль в глаза, нужно обмануть, закрутить, задержать движение логики истории, т. е. логического краха утопической идеи.

Вернувшись на свободу, я часто должен был отвечать на вопрос:

— Почему вас пустили? Почему именно вас, Краснова, пустили?

Нашли нужным и пустили. Новый реверанс в сторону Запада: видите, мол, какие мы хорошие, культурные и гуманные. Новый реверанс в сторону народа: видите, как все изменилось, как мы поступаем с «58», даже с теми, кому, откровенно говоря, было место на виселице еще в 1945 году!

Всех выпускают? — Нет, далеко не всех. Оправданий масса. Одним пришит новый срок за какие-то делишки. Другим не дают въездных виз. Третьим. И так далее. Пускают и испуганных, раз

навсегда потерявших свое «я», тех, кому 70 параллель сломила спинной хребет. Они приедут за границу для численности, заберутся в нору и будут молчать. Пускают и Красновых и Петровых, которые заведомо молчать не будут. Они тоже сыграли и сыграют свою роль. Они десять и больше лет работали «на стройке социализма». Все, что можно было выжать из них, выжато. Это в прошлом. А в настоящем и будущем многие колеблющиеся решат: Если таких, с таким прошлым, выпустили, почему же мне, ничего не сделавшему, не поехать, ну, хоть на время? Посмотреть и самому убедиться. Не понравится — вернусь. Теперь не задерживают.

Все это тонкая политика. Тонкая нить паука, из которой ткется повязка на глаза всему миру.

Выпущены из СССР десятки тысяч иностранцев и среди них сотня — две русских эмигрантов, немцев, австрийцев, поляков, латышей и т. д. и т. д. И никто в упоении восторгом не задумается о том, сколько сотен тысяч безымянных трупов похоронено за забором лагерей. Никто сегодня не вспомнит о миллионах возвращенных насильственным путем в 1945 — 46 и даже позднейших годах. Прошло, кануло в лету, и о судьбе этих миллионов стараются больше не думать. Были и ушли. Важен сегодняшний день. Важно только — как мы встретим «завтра».

Советы больше не боятся выпускать своих заведомых врагов. С одной стороны, это блестящий шахматный ход — вещественное доказательство их «миролюбия и склонности идти на уступки». С другой стороны — с кем встретится, с кем поговорит и кого убедит какой-то Краснов? Громадное большинство жителей свободного мира до сих пор еще не знает ни о Лиенце, ни о Платтлинге. Если и слышало — забыло. Если и знало и помнит то помнит и лозунг, под которым все происходило и в Нюрнберге и на Лубянке — выдавались «военные преступники», грабители, насильники, варвары. Выдавались страшные «власовцы», предатели своей родины, «казаки», вредное наследие царского режима, «русские гестаповцы», «русские эсэсовцы». Туда им и дорога! Собаке собачья и смерть! Почему же сегодня можно верить Красновым, Петровым и Борисовым? Ведь и они «жгли», «убивали» и «насиловали».

Наше возвращение должно было сыграть большую роль и в СССР, в среде бывших чинов РОА, бывших советских солдат — немецких военнопленных. О нашем освобождении и «репатриации» писалось в газетах. Выпустили сотню, а нашумели на сотни тысяч.

— Их, мол, не «наших», мы отпустили. Вам, своим, все простили. Были ли вы «власовцем» или военнопленным, который

не очень охотно возвращался домой — все равно. Все грехи забыты. Но ведь не забыты английские и американские штыки, резиновые палки, пулеметы и танки. Не забыты Лиенц, Дахау, Платтлинг, Торонто, Марсель и другие места выдач до Нью-Йорка включительно. Правда? И не смеете забыть. Впредь хорошая наука — не верить капиталистам. Не добра они вам желают, а зла, и предадут, как только появится нужда.

Помню длинные и мучительные разговоры в разных лагерях, с разными людьми и при разных лагерных режимах. Сколько раз люди задавали себе и другим вопрос: А когда же будет «Нюрнберг» для тех, кто стал преступником в 1945 — 47 годах? Кто и как их будет судить? Кто предъявит обвинительный акт?

На эти вопросы были разные ответы, и в каждом сквозило одно: Судить будет поздно. Повымрут или спрячутся. Но забыть — нельзя!

Текст знаменитой амнистии, появившийся в «Правде» от 25 сентября 1955 года, известен всем русским эмигрантам. Повторять его не буду, хотя мы его выучили буквально наизусть.

В свободном мире она, поскольку относилась к «прощению грехов» тех, кто не вернулся на родину, произвела отрицательное впечатление. Да в общем, как я по возвращении узнал — ей почти никто не поверил. Но в СССР она была встречена с энтузиазмом. Эта амнистия многих вернула к жизни, многим дала возможность снова стать хоть подсоветским, но человеком, в особенности тем, у кого срок наказания кончался в 1972 — 75 годах.

Правительству СССР нужно «сосуществование» с народом для укрепления тыла для войны, народу нужен мир и «воля», и он, не задумываясь, пользуясь сегодняшним днем, принимает их из кровавых лап своих «подобревших» правителей.

В Быкове никто нас не пробовал уговорить остаться в СССР. Мы были списаны со счета и, как я уже сказал, должны были так или иначе сыграть свою роль в общем аккорде «хрущевско-булганинской» политики.

Были некоторые иностранцы и «иностранцы из русских», которые хотели остаться в СССР. К ним относились очень подозрительно. Долго проверяли их мотивы, их поведение в лагерях и только после длительной процедуры, по разрешению МВД, оставляли на жительство в Союзе. В течение трех лет они не теряли своего подданства, вернее — не получали советского гражданства, вероятно, все еще находясь под присмотром и проверкой. По истечении срока, они должны были снова подавать прошение.

Оставались престарелые эмигранты, которым было некуда и не к кому ехать. Они знали, что, потеряв в СССР свою

работоспособность, ничего хорошего они «на свободе» не найдут. Оставались иностранцы, у которых было рыльце в пушку, и они боялись, что десять — одиннадцать лет не являлись сроком, когда из-за давности прощаются совершенные преступления. Это касалось, главным образом, французов и бельгийцев, когда-то служивших у немцев. В Потьме я познакомился с несколькими пожилыми француженками, которые работали во время войны у немцев переводчицами и вымолили себе возможность остаться в инвалидном доме.

Оставалась и «средняя молодежь», т. е. те, кто почти юношами попал в лагеря. Их мотивом являлась любовь. Повстречались где-нибудь с русской девушкой или женщиной, заключенной или «вольной». Вывезти ее заграницу не могли. Расставаться не хотели. Любовь бывала сильнее всех других чувств и привязывала их к тем местам, которые они должны бы были ненавидеть.

Я лично не знаю ни одного случая, чтобы кто-нибудь по политическим причинам, из восторга перед коммунизмом, после всего виденного в лагерях, всего пережитого, отказался бы от свободы и остался в СССР.

Быково похоже на железнодорожную станцию. Одни приезжают, другие отбывают. Люди встречаются, расстаются. Лица меняются. Мне было чрезвычайно тяжело переносить всю неизвестность и волокиту с моим отъездом. Каждый раз я чувствовал горечь, смотря, как другие, сияя, садятся в синий автобус, широко улыбаются и едут туда, откуда их отправят в Европу, на свободу.

Подошел день моих именин. Десять лет я их встречал без семьи, в лагерях, в переменных условиях, то «догорая», то «вспыхивая». Справлял я их молитвой, голодный и больной, в мокрой, непросыхающей одежде, или занесенный снегом в тайге на работе. На этот раз мои друзья сварганили «торт» из продуктов, полученных ими из-за границы в посылках. Принесли даже подарки: папиросы, консервы. И как это ни парадоксально, самый дорогой подарок в этот день я получил из рук МВД.

19 декабря 1955 года мне сообщили, что завтра, 20-го, я покину столицу СССР — Москву и поеду «домой».

Начальник Быкова, Градов, был со мной изысканно вежлив, сказал «господину» Краснову «сердечное» напутственное слово и просил приготовиться.

Конечно, в ту ночь я не сомкнул глаз. За одну ночь я отчетливо прошел весь проделанный мною путь. Я старался разобраться в своих чувствах. Я покидал свое отечество. Я покидал свой народ. Какой багаж я уносил в сердце и в разуме?

Озлобление? Горечь? Ненависть? Или сожаление, сострадание и любовь.

И одно и другое. Первое относилось и будет относиться к поработителям моих собратьев, вивисекторам и негодяям. Второе — к России, которую я обрел, к русским простым, незлобивым, обиженным судьбой и человечеством людям.

Я вышел во двор и вдыхал в легкие душистый, морозный воздух, набирал полные ладони русского, пушистого, пахнущего арбузом снега. Я смотрел в ясно-звездное, черным шатром висящее небо. Русское небо. Я думал о встрече с матерью, с любимой женой. Мне кажется, я плакал и смеялся.

Брезжил рассвет, а я все еще, тихо, чтобы не будить друзей, блуждал, садился на койку, курил и думал, думал, думал. Передо мной вставали образы казненных, образы умученных, деда, папы, дяди, всех, кто с ними погиб, всех, кого я видел погибшими в спец-лагерях. Я клялся. Я обещал.

Утро 20 декабря 1955 года я встретил и принял в объятия. Утро свободы! Подали автобус. Все, кто отъезжал, с грустью прощались с остающимися друзьями и от всего сердца желали им скорейшего отбытия. Сдержанно сухо мы простились с «господами» из МВД. Нас шестеро расселись по местам. Перед нами открылись ворота, и часовой, симпатичный, разрумяненный от мороза «Ванька», весело крикнул: Счастливого пути!

Едем в Москву. Последняя экскурсия освобожденных «контриков». Ведут в метро. Оно великолепно, красиво, со вкусом, но нам не терпится. Скорей на Белорусский вокзал!

Нас ведут к перрону № 7. Попыхивая, дыша паром, стоит экспресс Москва — Варшава — Берлин. Великолепные вагоны изделия Восточной Германии. Входим в спальный вагон и получаем на четырех человек четырехместное купе. Роскошь! Пахнет дорогой кожей диванов. Радио, на столике лампочка с нарядным, приятного цвета абажуром. На стенах виды. Они полны солнца и свободы. В соседнем купе два друга и два офицера МВД в штатском. Очень вежливы, изысканно корректны и предупредительны. В первый момент их присутствие вызывает невольную реакцию — а вдруг это все подвох, свирепая шутка, и нас везут не туда, куда надо! Глупости! Сам смеюсь над своими мыслями. Поезд трогается. Крещусь широким крестом. С Богом! К свободе!

«Господа из МВД» стараются сгладить наше впечатление, вынесенное от десяти лет принудительного контакта с этой «кастой». Напрасно. Мы им не дерзим, но и не поддерживаем разговора. Обедали без них в вагон-ресторане. Впервые после одиннадцати лет ели европейские кушанья, пили хорошее вино.

Прислуга выдрессирована для обслуживания иностранцев. Лакеи говорят на многих языках. Посмотрел на их физиономии и подумал: тоже агенты МВД.

Первая остановка после Москвы — Смоленск. Задерживаемся недолго и опять на всех парах мчимся к границе. Мелькают километры, проскакиваем мимо городов и сел. Давно уже стемнело, и искры из трубы паровоза фейерверком бороздят черною пустоту окон.

Мои друзья легли спать. Я не могу. Мне казалось, что я никогда в жизни не переживал такого беспокойства, как в эти последние часы пребывания в закрепощенной России. Вышел в коридор, прошелся несколько раз по мягкому, пружинящему ковру. Тихо, уютно. Вспомнились довоенные путешествия в скорых поездах по Югославии. Так же пахло кожей, паром и еще чем-то неуловимым, присущим всем комфортабельным вагонам. Прошел мимо меня вагоновожатый, раскачивая электрическим фонарем в руке. Взял под козырек. Я окончательно перестал быть «врагом народа» и «гадом фашистским». Я — пассажир экспресса Москва — Берлин.

Утром — завтрак в ресторане. Душистое кофе со сливками. Яйца с ветчиной, белые булочки, масло. Как в Вене. Вскоре прибываем в исторический Брест-Литовск.

Пограничная станция. За ней — в тумане где-то близится Польша. Таможенный осмотр наших «манатков» проходит очень быстро. Просто спрашивают: Что везете? — Пассажиры заполняют декларации, и они уходят. Одновременно пограничники проверяют визы. Наши вагоны поднимают, при помощи гидравличных прессов, и ставят на новые оси для европейских железных дорог.

Эта церемония занимает порядочно много времени. Переходим по новым путям к другой стороне вокзала. Пограничники становятся на ступеньках вагонов. Пограничник, возвращая визы, улыбается во все лицо и говорит: Счастливой встречи с вашими близкими! Ни пуха — ни пера! Дай вам всякого благополучия!

Трогаемся. Последний раз вижу пограничный, красно-белый столб с пятиконечной звездой. Около него, закутанный в белую шубу, отдавая честь проходящему поезду, стоит советский солдат. Летим через железнодорожный мост. Стоящий рядом со мной друг говорит: Тут проходит Железный Занавес! Задержи дыхание! Смотри. Смотри и чувствуй!

— Да что ты? — отвечаю я. — А Польша что, не за железным занавесом?

Я прав, но мы оба смеемся, как дети, обнимаемся и танцуем

какой-то замысловатый танец в такт раскачивания вагона. Мелькает в окне силуэт еще одного солдата в конфедератке. Польша!

Ночью останавливались в Варшаве, затем в Познани. Третью ночь маюсь и не сплю. Задремал перед вторым переходом границы, в Восточную Германию. Осмотр еще более короткий. Мчимся дальше. На Запад. Вот и Франкфурт на Одере, и через час нас выгружают на Шлессхэймском вокзале. Берлин.

Мы все еще в физической власти МВД. Нас ожидают легковые машины советского посольства, перебрасывают сначала в здание этого приятного учреждения и, после часа задержки, передают «нашим» консульствам. Выходя из советского автомобиля, я, наконец, широко и глубоко вздохнул. Теперь действительно Железный Занавес остался за мной.

Я в западном Берлине. Еду, как свободный гражданин, на аэродром. В кармане — билеты. Теплое утро, пахнущее весной.

Снега нет. Кипит жизнь. Берлин отстроен. Западный Берлин. Масса автомобилей. Роскошные выставки магазинов. Прохожие прекрасно одеты. Разве можно сравнить с серой, бедной толпой Москвы? У меня буквально разбегаются глаза, но составить какое-нибудь впечатление не могу. Сплошной сумбур в голове.

— Я свободен! — хочется мне кричать. — Я свободен! — хочется сказать шоферу, везущему меня на аэродром. — Я свободен! — хочу сообщить всему миру. — Чудо совершилось!

Дрожу, как лист, ожидая посадки в аэроплан. Внезапно мной овладевает слабость. Кружится голова. Липким потом покрываются лоб и ладони рук. Мне плохо от распирающего меня чувства освобождения, в которое я только теперь абсолютно верю. Мне кажется, что у меня вот-вот взорвутся легкие, и перестанет биться сердце. Медленно, как глубокий старик, прохожу по аэроплану и буквально падаю в кресло. Аэроплан разбегается, вздымается, как птица и устремляет лет на Хамбург — Копенгаген — Стокгольм.

Вспоминаю другой полет. Вена — Москва. Закрываю глаза, потому что мне кажется, что со мной опять летят папа, дед, дядя и все те, кто ушел из жизни, верно идя по пути чести. Десять слишком лет вырваны из жизни, но сама жизнь сохранена, и я невольно вспоминаю «страницы никогда не написанного мной дневника».

Гудят моторы. Пассажиры сосредоточенно читают книги, журналы, газеты. Мой сосед внимательно штудирует биржевые ведомости, острым карандашом делая вычисления на полях газеты. Рядом, через проход, нарядная, молоденькая мать уговаривает раскапризничавшуюся девочку съесть бутерброд и

банан. Дочка хнычет, отталкивает еду, которую бы каждый советский ребенок принял с наслаждением. Хорошенькая стюардесса предлагает журналы и газеты. Беру свежий номер и читаю: «Опять Жуков в тени?», «Россия усиливает свой флот в Пацифике», «Женевский дух рассеивается», «Булганин верит в прочный мир», «Советская политика дальнего прицела», «СССР идет на уступки». Читаю и вспоминаю слова молодого студента в поезде: Когда ругают, тогда «Россия» и «русские». Когда создается возможность «сосуществования», тогда — СССР!

Вдруг сделалось безнадежно тяжело. Ничего не переменилось в мире? Все та же косность и закрывание глаз на истину? Бросаю газету и смотрю в окно. Далеко внизу жалкая и ничтожная планета, Земля, неизмеримо малая часть Вселенной. Сколько на ней зла, зависти, тупоумия, кровожадности и — равнодушия.

Заключение

Умом Россию не понять, аршином общим не измерить;
У ней особенная стать! В Россию можно только верить!
Ф.Тютчев

Оставив границы СССР, я увез в сердце громадную, глубокую, неизмеримую любовь к России, к ее народу, терзающую тревогу за нее и за ее будущее.

Партия, МВД, чекисты — это негодяи, выплывшие на поверхность, преступники как и их спутники — оппортунисты, которыми кишит и свободный мир, но в котором им еще не удалось показать свое звериное рыло. Но тень, отбрасываемая Кремлем, не может в моей душе затмить блеск ума русского человека, сияние его души и доброту его сердца.

Разрешу себе перефразировать известное стихотворение «Россию взглядом не объять, ее страданья не измерить». Заключенному ИТЛ не дана возможность описать все виденное «с орлиного полета». Как муравей, бегающий по земле и изредка взлезающий на былинку, скорее даже как червь, раздавленный режимом, отбыв свой срок в лагерях, ползая по русской земле я видел российский мир отраженным в капле слезы.

Сегодня 28 января 1956 года. Сегодня месяц, как я на свободе, в свободном мире, в Стокгольме. За этот месяц я написал свои воспоминания. Я торопился и работал каждую ночь. Мне казалось, что каждый лишний день, отдаляющий меня от столба, покрашенного красной и белой краской с пятиконечной звездой — пограничного столба, может стереть в памяти, затмить новыми впечатлениями все то, что я мысленно писал в СССР. Сегодня я закончил мою книгу. Не знаю, когда и при каких условиях она выйдет, кто возьмется ее печатать, но я исполнил обещание, данное мною деду в подвальной бане Лубянки.

Я не мог вложить в эти страницы все виденное и слышанное, и я старался как можно больше сократить все личное. Я видел российский мир отраженным в капле слезы и не могу выносить свои заключения.

Передо мной лежат десять с лишним лет моей и других, мне подобных миллионов заключенных, жизней, вложенных в несколько сот страниц. Во всечеловеческом масштабе всему тому, что на них написано, одна оценка — писал ли я правду? Да! Только правду. Может быть, неумело, не выпукло, не ярко, но я писал так как мне наказал Петр Николаевич.

Может быть, найдутся люди, которые скажут: Зачем бередить старые раны? Зачем разжигать ненависть к тем, кто ошибался в

1945 году?

Не бередить старые раны и не разжигать ненависть хотел я, а правдой предотвратить возможное повторение роковых и непоправимых ошибок, которые тогда были ловко продиктованы и подсунуты свободному миру, вернее Западу, хитрым и порочным, как само это — Сталиным, тех ошибок, в которые хотят вовлечь Запад и сегодня коммунистические заправилы и их попутчики.

Мне невозможно с общеполитической точки зрения рассматривать Ялту, Тегеран и Потсдам, но подходя к ним, как одна миллионная часть жертвы принесенной Сталину, я вижу, что Макиавелли был младенцем по сравнению с «рябым усачом» и его подручными.

До 2-й мировой войны подсоветский народ, порабощенные россияне, двадцать пять лет были отрезаны от всего мира. Младенцы, родившиеся по окончании гражданской войны, стали мужами, солдатами, защитниками своей Родины. Этот закрепощенный люд вылился, в числе многих миллионов, за пределы Железного Занавеса. Будь он пленный, или «ост-арбейтер», будь он завоеватель и победитель, он встретился с новым миром и увидел всю ложь творимой коммунистами пропаганды.

Сталин видел все это и не мог с этим не считаться. Ему нужно было вернуть к себе тех, кто осмелился уйти, тех, кто был насильно уведен немцами, но, прозрев на Западе, не захотел вернуться в СССР. Сталину нужно было поставить русских людей в такое положение по отношению к Западу и свободному миру вообще, чтобы в будущем «неповадно было», чтобы умерла вера в человеколюбие, правду, уважение к законам Божиим и человеческим.

Ялта была действительно «политическим актом дальнего прицела» и, играя «во банк», Сталин выиграл. Как нам рассказывали в лагерях, до конца 1947 года западные «союзники» СССР выдавали задержавшихся, возвращали бежавших после войны. Советы не казнили этих людей. Не расстреливали. Зачем! Их помещали в тюрьму, их переводили из одной в другую, их отправляли в лагеря, дав 25-летний срок. Им нужна была жизнь этих людей и их язык. Эти люди должны были рассказывать как за ними охотились, как за дикими зверями, как их «гладили» танками, выуживали из воды, после жуткого прыжка с палубы парохода, как возвращали к жизни повесившихся, отхаживали отравившихся, для того чтобы их предать, убить в них веру и вернуть рабовладельцу.

Если об этом должны были рассказывать в СССР, в интересах

кремлевских заправил, и, таким образом, подготовлять отпор русского человека против чужой силы, русского человека, обманутого немецким нацизмом и западным цинизмом — не является ли долгом тех, кто пережил не только два предательства и обмана, но и вынес всю тяжесть давления, под которым живет народ за Железным Занавесом, рассказать все то, что не могут рассказать те, кто погиб в концлагерях, и кто, оставшись в СССР не может сказать людям в свободном мире.

Жуткая эпопея выдач должна быть освещена в мировой печати, и не раз. Будущее может поставить западный мир лицом к лицу не только с правителями СССР, а именно с Россией и ее народом.

В интересах всего человечества — завоевать опять доверие тех, чьи почти сорокалетние муки не трогали сердца, доверие тех, кто не раз был обманут и кто воспитан в пропаганде, что у него за границами Родины нет друзей.

Как это ни невероятно, но даже в лагерях заключенные слушали, правда изредка, тайком и с громадным риском «Голос Америки». Рассказывали нам прибывающие из Центральной России, что слушали «Би-Би-Си» и другие антикоммунистические радиостанции из Западной Германии. Все утверждают, что передачи «недоходчивы», не отвечают ни моменту, ни менталитету сегодняшнего русского народа. Масса фанфар, помпы, напыщенности, а существенного ничего нет. Переливают из пустого в порожнее.

Те, кто слушал обычные иностранные станции, поражался ненавистью ко всему русскому. Повторяю слова уже написанные мною — все что плохо — русское, все из чего можно вытянуть выгоду (для себя, для своей страны, конечно) — советское.

Когда русские люди, подъяремные рабы коммунизма слушают о «русских» злодеяниях, о «русском коммунизме», о «русском империализме», они начинают раздражаться и закаляться в своем недоверии к свободному миру. В СССР, я смею утверждать, все считают коммунизм интернациональной заразой и «русским» его признать никто не пожелает.

Многое, о чем пишут и вещают иностранные газеты и радио, напоминает русскому человеку в СССР о том, что он пережил в дни войны от немцев. Ему опять мерещится политика пресловутого Розенберга и Ко, он опять думает о том, как его, своего верного, верного союзника, русского человека, а не его правителей предал Запад.

Пусть русская эмиграция, рассеянная по всему миру не думает, что в СССР народ не знает о ней и о ее деяниях, делениях, чаяниях и ссорах. О русской эмиграции ничего или почти ничего

не знали люди в СССР до 1941 года. Война и послевоенное время на многое открыли глаза.

Оккупационные солдаты и офицеры, за срок своего пребывания в восточной Германии, в Берлине, в странах — сателлитах, получают в свои руки эмигрантские газеты, слушают разные радиопередачи и даже встречаются и разговаривают с самими эмигрантами.

Матросы торгового и военного флота умудряются провозить в СССР и газеты и листовки и книги. Они все потом охотно делятся всем виденным и насколько они приходят в восторг от стандарта жизни по ту сторону Железного Занавеса, настолько они болеют душой за все, что касается России по эту, т. е. советскую сторону.

Все разделения русской эмиграции на крайне, средне и просто правых, на «левеющих» и левых, на «сепаратистов», «свободных украинцев», «казакийцев» или «вольных сибирцев» вызывает «там» ожесточенное негодование.

Россия, закрепощенная в проволоках СССР, осталась Россией и никто там разрываться на части, дробиться и делиться не собирается.

Партийные подразделения эмиграции, принесенные и рассказанные не только самими подсоветскими, но и той частью эмиграции, которая насильно или добровольно попала в пределы СССР, вызывают сначала недоумение, затем ожесточенное негодование. Счастливые братья, избежавшие судьбы всего народа, вместо помощи оказывают медвежью услугу, стараются убедить свободный мир в своих утопических и ни на чем не основанных идеях о том, «что думает и чего желает русский народ в СССР». Возможно, что эти мои слова будут встречены с не менее ожесточенным негодованием, но я не могу умолчать об этом. Реки вспять не вернуть и российская политическая эмиграция, если она хочет считать себя таковой, должна встать на общий, единый путь абсолютного антикоммунизма, отбросив раз и навсегда деление шкуры медведя, которого ей не убить, поскольку она будет мечтать о поместьях, золотом шитых мундирах, шляпах с плюмажами и о губернаторских местах.

Российская эмиграция должна вести единым фронтом пропаганду защиты интересов маленьких Иванов и Петров, слитых в одно монолитное слово «русский народ».

Русский народ в СССР войны не желает. Он в своем большинстве верит в возможность победы Запада на всех фронтах «холодной войны». В этой войне должны были бы играть почетную роль именно русские эмигранты, но они этого не делают. Не атомными и не водородными бомбами будет свергнут коммунистический режим, а завоеванием доверия разучившегося

верить народа российского.

Каждое сопротивление порабощенных народов в странах — сателлитах всегда встречается с все растущим волнением, с надеждой, с сочувствием и подавление подобного сопротивления очень отрицательно действует на психику россиян.

Единственная точка соприкосновения народа с режимам возможна лишь тогда, когда народ извне ударят по патриотизму и национализму, в широком российском смысле этого слова. Тогда в противовес всякой логике народ добровольно скажет насильственно вколоченную в его моли фразу «А у нас все лучше и лучше, чем у всех».

Россия вся вспахана и перепахана кровавыми коммунистическими пахарями. Ее земля напоена русской кровью, в ее недрах неглубоко похоронены миллионы тех, кто активно или пассивно оказывал отпор коммунизму. Россия подготовлена, именно как пахать для посева мудрого и справедливого.

Ни одна страна на нашей планете не воспримет так сегодня новый, разумный, демократический режим как Россия, но к русскому народу нужно уметь подойти лицом к лицу, а не обходными путями, не ложными заверениями и обещаниями, а правдой. Не мне, Николаю Краснову, учить этому весь мир, но я хочу верить, что мой скромный труд будет кем-то прочитан и оставит хоть какой-то след.

Мне хочется верить, что уже близок рассвет, что человечество увидело последствия того маленького ветра, который оно посеяло специально для России в 1917 году и который превратился в ураган, разрушивший на своем пути многое и готовый разрушить все.

Стокгольм, 28 января 1956 года

После освобождения

Николай Краснов-младший возвратился в Европу в канун 1956 года — после десяти с половиной лет заключения в сталинских тюрьмах и лагерях. Возвратился, пройдя все круги советского ада, потеряв деда, отца и дядю. Дальние родственники, прежде всего его кузина графиня Гамильтон, смогли «вытребовать» его в Швецию.

Сегодня мы можем восстановить события последних лет жизни Николая Краснова по письмам, сохранившимся в архиве Кубанского Войскового Атамана Вячеслава Григорьевича Науменко, с которым сразу же после освобождения у Краснова-младшего завязалась переписка. Они знали друг друга еще по эмиграции в Югославии и по второй войне, теперь же знакомство переросло в теплую дружбу. Особый интерес переписка представляет еще и потому, что и подъесаул Краснов, и генерал-майор Науменко в это время готовили к изданию книги, посвященные предательской выдаче казаков — и, соответственно, обменивались в письмах информацией. Видя происходившее в 1945 году с разных сторон (кубанскому атаману удалось избежать выдачи — к 1956 году он уже обосновался в США), они поправляли и дополняли друг друга.

В первое время по возвращении из СССР Николай Краснов отдыхал: «Сплю, наслаждаюсь чудным курортным местом, ездим с кузиной в Стокгольм, вставляю себе зубы (потерянные в тюрьмах) — короче говоря, привожу себя в христианский вид. Убегаю от журналистов и фотографов, которые хуже горькой редьки».

В Швеции Николай Николаевич был одинок, шведского языка он не знал. Жил у родственников, но как сам подчеркивал — «не у русских родственников». Жил за свой счет, по своему заработку (снова пришлось тяжело работать): «Мои родственники не держат меня даром, так я вот и плачу за еду. А за комнату, белье, хлопоты о визе и прочее — я пока в долгу».

Отсюда и слова благодарности к Науменко, объясняющие ситуацию: «Глубоко тронут Вашим вниманием, и большое, большое Вам спасибо за оказанную помощь. Говорится: не дорог подарок, а дорога — любовь, вот и Ваши деньги пришлись так кстати, что Вы себе и представить не можете. Почему я в таком положении, то есть без копейки, объясню Вам, дорогой Вячеслав Григорьевич, когда приеду, а пока не хочу затрагивать этот вопрос, ибо мне очень и очень тяжело о нем говорить. У меня сейчас, так сказать, — вторая тюрьма».

Краснов работал на лесозаготовках: валил лес, пилил и т. д.: «Работа тяжелая, а оплата труда для иностранцев в Швеции (особенно в сравнении с американской) — просто смехотворна! Я в апреле заработал чистыми 270 крон или 50 долларов. А это у Вас недельный заработок».

Впрочем, сначала он зарабатывал и вполовину меньше. Зима была холодная, Николай Николаевич, практически инвалид с больным сердцем и отмороженными в Сибири руками, писал: «Я, к сожалению, не смог работать, как нужно. Да, и десять с половиной лет лагерей дают себя знать. Пилю, и вдруг — воздуха не хватает. Сердце шалит, хотя в мои годы этого не должно быть. Но, все это мелочи, дорогой Вячеслав Григорьевич! Как-нибудь вылезу и дождусь отъезда к вам».

Трудно было ему и как человеку верующему — в городке не было ни русских людей, ни православной церкви. Пасхи не праздновали, да и денег у него не было: «Я, к сожалению, и эту Пасху не буду встречать. Я уже 11 лет без кулича и сырной пасхи, ну еще и этот год потерплю. И не причащался и не говел. Бог простит мне «многогрешному». Буду сам у себя в комнате сидеть и думать о прошлом, которое сначала было светлое, а потом — чернее тучи. Ну, не буду наводить на Вас тоску».

Получив от Науменко небольшую помощь (кубанский атаман сам работал в Америке на куриной ферме и денег от казаков на личные нужды не принимал), Краснов пишет: «Христос Воскресе! Я хоть и не смогу встретить нашу Пасху по «православному», но, все же, в думах, в сердце, в этот великий Праздник я буду с вами, с теми людьми, с которыми я, когда-то, делил и добро, и зло».

В. Г. Науменко с июля 1945 года собирал свидетельства участников и жертв казачьей трагедии, издавая их в виде «Сборников о насильственных выдачах казаков в Лиенце и других местах» (впоследствии эти сборники и послужили основой его большого труда «Великое Предательство»). «Если не трудно, — писал Николай Николаевич, — то № 12 пошлите и моей супруге (в Аргентину). Она так хочет видеть, что Вы написали в «Сборнике», и страшно гордится тем, что она была в Лиенце, и, что я смог напечатать в Вашем «Сборнике» свои воспоминания. Это будет ей большой подарок к Пасхе!».

Николай Николаевич стремился воссоединиться в США с матерью, перевезти туда жену, оказавшуюся после войны в Аргентине. Визу задерживали. Генерал Науменко, сообщая, что дело переезда в Америку сложное, связанное с волокитой и что оно может сильно затянуться, отвечал Краснову: «Вы спрашиваете, скоро ли можно будет достать визу Вам для переезда в США. Полагаю, что Вас запишут на русскую квоту. Вот

если бы перебежал, хотя и подосланный большевиками, кто из советии, то его приняли бы здесь с распростертыми объятиями, а нашего с Вами брата принимают не так легко».

После визита к американскому консулу Краснова доставили домой на посольской машине — «и на них подействовала моя «история с географией» в Сибири». Просили назвать, кто его знает в США. Он назвал Науменко, считая, как написал ему, что «Ваши показания будут иметь вес в моем скором отъезде».

Тяжелая работа, формальности и «крючкотворство» чиновников с выездом в Америку добивали Краснова: «я не могу, ни есть, ни спать, ни думать! Вы с самого начала были правы, написав — к нам (в США. — П.С.) трудно и долго «попадать». Вряд ли он предполагал, что будет так тяжело на первых шагах в свободном мире: «Бог пусть будет судьей всем тем, которые довели нас до сибирских лагерей, а теперь не только не протягивают дружескую руку, а стараются даже не узнавать нас! А мы в 1941–1945 годах сражались против коммунизма, против Сталина, которого теперь «валяет в грязи» весь мир! Русская добровольческая армия первая подняла флаг борьбы с красными. Мы в 40-х годах понесли этот флаг дальше. А теперь? Запад, по-прежнему, слепой, и я никогда — никогда — больше не буду ему верить! Он может давать одной рукой фунты стерлингов, а другой толкать нас в спину в Лиенце».

И добавляет в другом письме: «Если бы я жил 10–11 лет на воле, в Европе, то многое было бы мне понятно, но я не понимаю и не могу понять такое отношение (в смысле разрешения визы) к человеку, прошедшему лагеря. Ведь мои десять лет в лагере равны 20 годам у вас! Что ж! Если это судьба, — то пусть так и будет».

Убедившись, что перебраться в США практически невозможно, Николай Николаевич решает ехать в Аргентину — благо виза от жены уже имелась. Перебравшись в страну, которую он сравнивает с Югославией («приветливые люди и тепло»), в день Покрова Пресвятой Богородицы 1956 года Краснов с женой были приглашены в донскую станицу (состояли в ней и кубанцы). «Ваше поздравление очень тронуло всех казаков», — пишет он Науменко, отмечая при этом антикоммунистические настроения аргентинцев, не сидящих, «как дядя Сэм на двух стульях».

Н.Краснов и в Южной Америке помногу работал, благодарил Науменко за «правильную оценку» своей книги, «хотел порадовать известием», что разные издательства просят «Незабываемое» для перевода на другие языки. Между тем сказывались последствия лагерей. В конце 1957 года приступ грудной жабы надолго уложил его в кровать — правда, тесть

(профессор Ф.В.Вербицкий) и другие врачи уверяли, что все пройдет без последствий, если выдержать курс лечения.

Краснов не терял оптимизма, стараясь поддерживать и Вячеслава Григорьевича: «Верю в то, что «Сборник» не прекратит свое существование, еще не было суда над виновниками Лиенца, Римини и т. д., и Ваш труд будет тяжелым обвинительным материалом этим господам». Постоянно вспоминал об освобожденных, остававшихся у советов: «Никому до нас дела нет, а бедные родственники на Западе, в большинстве случаев — те же бесподданные и живут на милость государства. У них нет ни денег, ни связей, чтобы вытянуть своих. А государства этим не хотят или боятся заниматься. Нужно им помочь, нашим людям там, но не только словами, а — визами. Пока это возможно, но может быть скоро и поздно. Вы сами знаете, что такое СССР».

Из поездки в США к матери так ничего и не вышло. Она умерла 3 марта 1958 в Нью-Йорке и была похоронена в Ново-Дивеевском монастыре. «Так мне и не удалось повидать ее перед смертью. До чего люди бывают, жестоки и нечеловечны. Бог им судья за все!».

В письмах Николай Краснов не раз вспоминает и об отце: «С папой я встретился — после 4 июня — второй раз в октябре 1945 года, когда нас вызвали в Бутырской тюрьме, чтобы подписать «приговор» на 10 лет, вынесенный ОСО. И я, и папа его не подписали. Папа был худой, но держался. Никогда не забуду, что после «зачтения приговора», нас вместе повели в камеру № 11 в Бутырке (она находилась в бывшей тюремной церкви) — и папа хотел незаметно для меня сунуть мне в брюки свой скудный кусок хлеба. Вот, что значит отец, Вячеслав Григорьевич! ведь мы там получали всего 450 граммов хлеба в день, и не имели никаких дополнительных, ни больничных, ни генеральских пайков. В камере № 11 мы встретили Вдовенко. И вот, они оба, и папа, и он, все хотели меня — кормить! Этих минут забыть нельзя. И когда нас всех втроем вызвали для переезда в пересыльную тюрьму Красная Пресня, то в ней, при переезде, папу и Вдовенко вернули назад в Бутырку, как «негодных по состоянию здоровья для дальнего этапа». Там, я папу и видел последний раз. Вот и все. Умер он 13 октября 1947 года».

На этой печальной ноте публикация завершена, так была перевёрнута очередная страничка в печальной истории нашего народа в XX веке.